Альфонс Доде

Короли в изгнании

(Парижский роман)

Эдмону де Гонкуру, историографу королев и фавориток, автору “Жермини Ласерте” и “Братьев Земганно”, посвящаю этот роман из современной жизни в знак самого искреннего восхищения.

I

Первый день

Фредерика спала с самого утра. То был сон беспокойный, нездоровый, в котором отражались все мытарства свергнутой и изгнанной королевы; сон, сквозь который ей все еще слышалась пальба; сон, наполненный тревогой и шумом двухмесячной осады; сон, населенный видениями, кровавыми и воинственными; сон, заставлявший ее то рыдать, то вздрагивать, то затихать. И вдруг она с ужасным чувством проснулась.

- Цара!.. Где Цара?.. - крикнула она.

Одна из служанок осторожно приблизилась к кровати и постаралась успокоить Фредерику: его королевское высочество сладко спит у себя в комнате; госпожа Леонора при нем.

- А король?

- В первом часу дня выехал в гостиничной карете.

- Один?

- Нет. Его величество взял с собой советника Босковича.

Слушая далматинский выговор горничной, звучный и твердый, напоминавший шорох волны, скользящей по гальке, королева чувствовала, как страхи ее улетучиваются. И немного погодя тихий номер гостиницы, который она, прибыв на рассвете, едва разглядела, номер с его светлыми обоями, высокими зеркалами, пушистой белизной ковров с бесшумно и стремительно летающими ласточками, при опущенных шторах приобретавшими сходство с крупными ночными бабочками, уже рисовался перед ней во всей своей успокоительной и роскошной банальности.

- Пять часов!.. Печа! Причеши меня скорей, скорей!.. Ай, ай, ай, что же это я так долго сплю?..

Пять часов дня - чудеснейшего из всех, какими лето 1872 года радовало парижан. Выйдя на длинный балкон гостиницы “Пирамиды”, пятнадцать окон которой, задернутые розовыми тиковыми занавесками, обращены на самую красивую часть улицы Риволи, королева замерла от восторга. Внизу по широкой мостовой, заглушая стуком колес плеск воды, поливавшей тротуары, непрерывная вереница экипажей мчалась к Булонскому лесу, и при взгляде на нее начинало рябить в глазах от мелькания спиц, лошадиной сбруи и светлых нарядов, трепетавших на ветру, поднимавшемся от быстрой езды. Оглядев толчею у золоченой решетки Тюильри, королева перевела восхищенный взор на сверкающую круговерть белых платьев, золотистых волос, ярких шелков, на веселье детских игр, на всю эту расфранченную и шаловливую кутерьму, в солнечные дни не утихающую вокруг террас громадного парижского сада, и наконец с наслаждением остановила его на куполе зелени, на необъятной круглой сплошной кровле из листьев, которую образовали растущие в центре сада каштаны, в этот час укрывающие под своей сенью военный оркестр и дрожащие каждым листиком от гама детворы и рева труб. При виде всеобщего оживления горечь, переполнявшая сердце изгнанницы, становилась менее терпкой. Королеву окутывало блаженное тепло, мягкое, плотно облегающее, точно шелковая сетка. На щеках королевы, побледневших от лишений и бессонных ночей, заиграл румянец. “Господи,

как хорошо!” - невольно подумала она.

Такое внезапное и безотчетное облегчение наступает независимо от тяжести горя. И исходит оно не от живых существ, а от разнообразия предметов, говорящих без слов. Низложенной королеве, вместе с мужем и сыном выброшенной на чужбину одним из тех народных восстаний, которые можно сравнить с землетрясениями, и притом такими, что сопровождаются разверзанием бездн, громовыми ударами, извержением вулканов; этой женщине, чей немного низкий, но все же гордый лоб прорезала морщина, казавшаяся как бы следом от одной из прекраснейших корон Европы, - этой женщине человеческое участие не могло принести утешение. Зато природа, обновленная и ликующая, представшая перед ней чудным парижским летом, хранящим в себе и тепло оранжереи, и ту приятную свежесть, которая всегда указывает на близость реки, внушала ей умиротворяющую надежду на возрождение. Нервы ее постепенно успокаивались, глаза впивались в зеленоватую даль, но вдруг изгнанница вздрогнула. Налево от нее, у входа в сад, мрачным видением высилось здание с обуглившимися стенами, с закопченными колоннами; крыша на нем обвалилась, вместо окон зияли голубые дыры, через которые открывался вид на сплошные развалины. И только у самой Сены маячил обгорелый, но почти не разрушенный павильон с почерневшими от огня балконными перилами. Вот все, что осталось от Тюильрийского дворца.

Это зрелище потрясло Фредерику: у нее было такое чувство, словно сердце ее разбилось о камни развалин. Каких-нибудь десять лет назад, да и того нет, она жила со своим мужем в Тюильрийском дворце; теперь она случайно поселилась как раз напротив его развалин, и в этой прискорбной случайности ей чудилось что-то зловещее. В Тюильри они гостили весною 1864 года. Спустя три месяца после свадьбы графиня Цара, счастливая тем, что она - молодая жена и наследная принцесса, отправилась в путешествие по дружественным странам. Все, казалось, любили ее, все так радушно ее принимали! Особенно в Тюильри: что балов, что празднеств! Она и сейчас еще словно видела их под обломками. Воображению Фредерики явились залитые светом, сверкавшие драгоценными камнями огромные великолепные галереи, бальные платья, колыхавшиеся на широких лестницах между рядами блестящих кирас, а звуки невидимого оркестра, порой доносившиеся до нее из сада, казались ей звуками оркестра Вальдтейфеля в Зале маршалов. Не тем ли горячим подвижным воздухом дышала она, танцуя со своим двоюродным братом Максимилианом за

неделю до его отъезда в Мексику?.. Да, все это было… Кадриль императоров и королей, королев и императриц, чье пышное соцветие и чьи торжественные лица восстановил в ее памяти этот мотив из “Прекрасной Елены”… Макс, озабоченно покусывающий свою рыжеватую бородку… Против него, рядом с Наполеоном, - Шарлотта, преобразившаяся от счастья быть императрицей… Где они сейчас, участники красивой кадрили? Кто умер, кто изгнан, кто сошел с ума. Траур за трауром! Несчастье за несчастьем! Видно, сам Бог отступился от королей!..

И тут она вспомнила все, что ей пришлось испытать после смерти старого Леопольда, надевшей на нее корону Иллирии и Далмации. Ее дочь - первый ее ребенок - умерла от одной из тех непонятных, не имеющих названия болезней, которые являются следствием истощения крови, следствием вырождения, - умерла во время коронации, так что пламя погребальных свечей сливалось с иллюминационными огнями, а в соборе ко времени отпевания еще не успели снять национальные флаги. В дальнейшем к этому великому горю, к тревоге, которую постоянно внушало ей слабое здоровье сына, примешались еще и другие печали, но их она никому не поверяла, - она таила их в самом укромном уголке женского самолюбия. Сердце народов - увы! - так же изменчиво, как и сердце королей. В один прекрасный день Иллирия, которая прежде воздавала столько почестей своим властителям, ни с того ни с сего разлюбила их. Начались недоразумения, возникло молчаливое сопротивление, недоверие, потом ненависть, лютая ненависть всей страны, ненависть, которая чувствовалась в воздухе, в тиши улиц, в насмешливых взглядах, в том, как дрожали от сдерживаемого бешенства склоненные головы подданных, заставляя Фредерику отшатываться от окна или забиваться в угол экипажа во время коротких прогулок. О, эти грозные крики у подножья ее замка в Любляне! Теперь, когда Фредерика смотрела на дворец французских королей, они как будто вновь раздавались у нее в ушах. Мертвенно-бледные, обезумевшие от страха министры, на последнем заседании совета молящие короля об отречении… бегство через горы, ночью, в крестьянской одежде… восставшие села, шумные, охмелевшие от свободы так же, как и города… потешные огни на вершинах… слезы умиления, несмотря на всю тяжесть переживаемой невзгоды брызнувшие из глаз Фредерики, когда в одной хижине ее сыну дали на ужин молока… внезапное решение, на которое она склонила короля, - запереться в пока еще верном Дубровнике, и там два месяца лишений и душевных мук, жизнь в осаде, под обстрелом, больной

наследник, умирающий от голода, наконец, позор капитуляции, мрачный отъезд под безмолвными взглядами усталой толпы, французский корабль, уносящий их навстречу новым бедствиям, навстречу бесприютности, навстречу неизвестности, которые ждут их в изгнании, а сзади них новенький флаг Иллирийской республики, победно реющий над развалинами королевского замка… Обо всем этом ей напомнили руины Тюильри.

- А хорош Париж, правда? - неожиданно раздался возле нее молодой веселый голос, произносивший слова в нос.

Король вынес наследника на балкон, и наследник залюбовался зеленью, кровлями и куполами цер

квей, заслонявшими горизонт, уличным движением, на которое падал свет прекрасного заката.

- Да, да, очень хорош, - сказал мальчуган лет пяти-шести, с резкими чертами осунувшегося личика, с совсем белыми, коротко, как после болезни, остриженными волосами, смотревший вокруг с улыбкой болезненной и милой; он был радостно изумлен тем, что не слышит более грохота пушек и что кругом царит веселье. Для него изгнание оборачивалось приятной стороной. Король тоже, должно быть, не падал духом. Он два часа гулял по бульвару и вернулся с довольным, сияющим лицом, составлявшим полную противоположность убитому виду королевы. Впрочем, они вообще были совсем не похожи друг на друга. Король был щупл и тонок, с матовым цветом лица, черными вьющимися волосами, с редкими усиками, которые он то и дело крутил бледной и вялой рукой, с красивыми, хотя слегка водянистыми глазами и с каким-то детски беспомощным взглядом, невольно заставлявшим думать о нем: “Какой он молодой!” - хотя ему пошло уже на четвертый десяток. У королевы были дивные волосы того по-венециански белокурого цвета, к которому Восток словно подмешал красных и рыжих оттенков хны, и очаровательная в своей прозрачности кожа, и тем не менее настоящим мужчиной казался не король, а эта пышнотелая далматинка со строгим выражением лица и скупыми жестами. Христиан испытывал при ней то чувство связанности, то чувство известной неловкости, какое должен испытывать муж, ради которого жена проявила слишком большое самопожертвование и самоотречение. Он робко осведомился о ее здоровье, о том, как ей спалось,

как она себя чувствует с дороги. Она отвечала ему неподдельным в своей мягкости, вполне благожелательным тоном, но занимал ее мысли не он, а наследник: она дотрагивалась до его носа, щек, с беспокойством наседки следила за каждым его движением.

- Ему здесь лучше, чем там, - вполголоса произнес Христиан.

- Да, он порозовел, - согласилась королева, и в голосе ее прозвучала нотка интимности, возникавшей между супругами, только когда они говорили о ребенке.

А ребенок улыбался им обоим и ласково сталкивал их лбами - он словно понимал, что его ручонки представляют собой единственно прочные узы, связывающие этих чужих друг другу людей.

Внизу, на тротуаре, подняв глаза на иллирийского короля и королеву, стояли любопытные, уже осведомленные о прибытии этой четы, которую прославила героическая оборона Дубровника, - портреты Христиана и Фредерики красовались на первых страницах иллюстрированных журналов. Постепенно толпа зевак росла, и хотя многие из них не имели ни малейшего понятия о том, почему здесь собрался народ, а все же задирали носы и глазели на изгнанников, как глазеют на голубя, прогуливающегося по крыше, или на вылетевшего из клетки попугая. Прямо против гостиницы образовалось столпотворение. Взгляды, устремленные в одну точку, привлекали все новые и новые взгляды к молодой чете в дорожном платье, над которой возвышалась белокурая головка мальчика, как бы вознесенного надеждой побежденных, вознесенного их радостью от сознания, что его не убило грозой.

- Не уйти ли нам, Фредерика? - смущенный вниманием всего этого праздного люда, предложил Христиан.

Но Фредерика движением королевы, привыкшей презирать неприязнь толпы, гордо подняла голову.

- Зачем? - возразила она. - На балконе так хорошо!

- Дело в том, что… я совсем забыл… Там Розен с сыном и невесткой… Он хочет с вами повидаться.

Фамилия Розен напомнила ей о стольких важных и ценных услугах, и глаза ее повеселели.

- Герцог, милый! А я его жду… - сказала королева и перед уходом окинула улицу надменным взглядом, но в эту минуту какой-то мужчина вскочил на цоколь дворцовой решетки и сразу стал выше толпы. Вот так же было в Любляне, когда стреляли в их окно. Фредерике померещилось новое покушение, и она невольно отпрянула. Высокий лоб, сдвинутая на затылок шляпа, волосы, развевающиеся на ветру под ярким солнцем, громкий, но спокойный голос, крикнувший: “Да здравствует король!” - и покрывший гул толпы, - таково было мимолетное впечатление Фредерики от неизвестного друга, осмелившегося в республиканском Париже, у обломков Тюильри, приветствовать низложенных государей. Выражение сочувствия, которого она так давно была лишена, подействовало на королеву, как жаркий огонь в камине на прозябшего путника. Она ощутила тепло во всем теле - от кожного покрова до глубины сердца, а встреча со стариком Розеном еще усилила это благотворное чувство.

Генерал Розен, бывший начальник военной свиты короля, выехал из Иллирии три года назад, после того как король снял его с этого ответственного поста, а на его место назначил либерала, выказав таким образом явное покровительство новым идеям и ущемив тех, кто составлял тогда в Любляне партию королевы. Герцог, разумеется, был оскорблен этим поступком Христиана, который хладнокровно принес его в жертву, не выразил ни малейшего сожаления по поводу его отъезда, даже не простился с ним - с ним, победителем в сражениях под Мостаром, под Ливно, героем великих черногорских войн! Старый вояка распродал свои замки, земли, имения, громко хлопнул дверью и, отбыв в Париж, женил здесь своего сына, а затем на протяжении долгих трех лет напрасного ожидания его возмущение королевской неблагодарностью подогревалось тоскою по родине и скукой от безделья. Тем не менее, как только до него дошла весть о прибытии королевской четы, он, не колеблясь, поспешил к ней. И вот сейчас, вытянувшись посреди комнаты во весь свой гигантский рост, почти касаясь головой люстры, он с таким волнением ожидал милостивого приема, что было видно, как дрожат его длинные ноги пандура, как вздымается под большой орденской лентой его широкая и короткая грудь в плотно облегающем ее синем, военного покроя фраке. Только его маленькая головка, похожая на головку пустельги, три стоявших дыбом седых волоса, стальной взгляд, хищно изогнутый нос и

частая сеть морщинок на лице, загрубелом в пороховом дыму, хранили спокойствие. Королю, не любившему мелодраматических сцен, было сейчас не по себе, и он, желая сгладить неловкость, взял с Розеном шутливый, дружественно-развязный тон.

- Ну вот, генерал, - подходя к Розену и протягивая ему руки, заговорил он, - вы оказались правы… Я распустил вожжи… Меня свалили в один миг!

Но тут, видя, что старый слуга хочет стать на колени, Христиан царственным движением поднял его и прижал к груди. Однако никто не мог воспрепятствовать герцогу опуститься на колени перед королевой, и почтительно-пылкое прикосновение старых усов к ее руке вызвало у Фредерики совсем особое чувство.

- Ах, милый Розен!.. Милый Розен!.. - прошептала королева и медленно закрыла глаза, чтобы не было видно ее слез.

Однако слезы, пролитые ею за последние годы, оставили след на желтоватой коже под глазами, на ее мягком, морщинистом шелке, не только слезы, но и бессонные ночи, тревога, страх - все то, что женщины прячут на самом дне души, но что все же всплывает на поверхность, подобно тому как при малейшем движении воздуха вода покрывается рябью. В одну секунду ее прекрасное лицо с правильными чертами приняло измученное, страдальческое выражение, и оно, это выражение, не укрылось от старого солдата. “Сколько ей пришлось пережить!” - глядя на нее, подумал Розен. Он был тоже взволнован и, чтобы скрыть это, быстрым движением поднялся и, обернувшись к сыну и невестке, стоявшим в другом конце комнаты, с тем же свирепым видом, с каким он, бывало, кричал на улицах Любляны: “Сабли наголо!.. В атаку на эту сволочь!..” - приказал:

- Колетта! Герберт! Подойдите и поклонитесь вашей королеве!

Князь Герберт Розен, почти такого же роста, как его отец, с лошадиной челюстью, румяными, как у младенца, щеками, и его молодая жена приблизились к Фредерике. Герберт передвигался с трудом, опираясь на палку. Восемь месяцев назад на скачках в Шантильи он сломал себе ногу и несколько ребер. Генерал не преминул заметить, что, если бы не этот

несчастный случай, едва не стоивший жизни его сыну, оба они были бы в Дубровнике.

- Я бы тоже, отец, поехала с вами! - воскликнула княгиня с пафосом, который так не шел к имени Колетта, к ее маленькому носику, к шапке взбитых кудряшек, не вязался со всем ее видом - видом умной кошечки-игруньи.

Королева не могла не улыбнуться и дружелюбно протянула ей руку. Христиан, покручивая ус, рассматривал с жадным любопытством, с живым интересом любителя эту вертлявую парижанку, всю в рюшах и воланах, эту хорошенькую модную птичку с длинными, переливчато блестевшими перьями, чья разряженная миловидность выигрывала рядом с крупными чертами и величавой осанкой Фредерики. “Где этот чертов Герберт подцепил такую игрушечку?” - подумал было Христиан; он уже втайне завидовал своему другу детства - этой дубине с глазами навыкате, с расчесанными по-русски на прямой пробор и приглаженными волосами, с низким и узким лбом, но затем ему пришло на ум, что ведь подобный тип женщин, редкий в Иллирии, в Париже встречается на каждом шагу, и это его окончательно примирило с изгнанием. Притом оно, конечно, долго не продлится. Республика скоро надоест иллирийцам. На чужбине ему придется пробыть месяца два-три, не больше, и эти королевские каникулы нужно провести как можно веселее.

- Знаете, генерал, - заговорил он со смехом, - мне уже предлагали купить здесь дом… Сегодня утром к нам заезжал какой-то англичанин… Обещал подыскать роскошный, заново отделанный особняк со всей обстановкой, с лошадьми, с экипажами, с бельем, серебром, с целым штатом прислуги, - подыскать в течение сорока восьми часов и в любом квартале.

- Я знаю вашего англичанина, государь: это Том Льюис, агент по обслуживанию иностранцев…

- Да, как будто… что-то в этом роде… Вы имели с ним дело?

- А как же! Том приезжает в своем кебе ко всем иностранцам, прибывающим в Париж… Однако я желаю вам, государь, чтобы дальше ваше знакомство не пошло…

То сосредоточенное внимание, с каким князь Герберт, едва заговорили о

Томе Льюисе, принялся рассматривать ленты на своих открытых туфлях и полоски на шелковых чулках, а также беглый взгляд, брошенный княгиней на мужа, дали понять Христиану, что в случае надобности он вполне может обратиться к ним за справками о знаменитом дельце с Королевской улицы. А впрочем, на что ему услуги агентства Льюиса? Ни дом, ни выезд ему не нужны, - на несколько месяцев, которые им предстоит пробыть в Париже, нет смысла выбираться из гостиницы.

- Вы согласны со мной, Фредерика?

- Да, конечно, так будет благоразумнее, - ответила королева, хотя в глубине души она не разделяла ни иллюзий своего супруга, ни его пристрастия к временным пристанищам.

Но тут позволил себе поделиться своими соображениями старик Розен. Жизнь на чемоданах роняла, по его мнению, достоинство иллирийского царствующего дома. Париж сейчас полон изгнанных самодержцев. И все они живут широко. У вестфальского короля на Нейбургской улице великолепный дом с пристройкой, где помещается его канцелярия. Особняк галисийской королевы на Елисейских полях - это настоящий дворец, обставленный с царской роскошью и с царским размахом. У палермского короля дом - полная чаша в Сен-Мандэ, чуть не целый конный завод и батальон адъютантов. Какой-нибудь герцог Пальма - и тот устроил в своем домике в Пасси нечто вроде королевского двора, каждый день у него за столом пять-шесть генералов.

- Ну да, ну да… - нетерпеливо повторял Христиан. - Но тут есть разница… Они уже не уедут из Парижа. Это решено окончательно, а мы… Кроме того, друг Розен, у нас есть еще одна важная причина не покупать дворца. У нас там все отняли… Несколько сот тысяч франков у Ротшильдов в Неаполе да еще наша любимая диадема, которую госпожа Сильвис провезла в картонке из-под шляпки, - вот все, что у нас осталось… Представляете себе? Маркиза шествует в изгнание пешком, едет морем, по железной дороге, в экипаже - и не расстается со своей драгоценной картонкой. Это было до того потешно, до того потешно!..

Врожденное легкомыслие взяло в Христиане верх: он смеялся над своими злоключениями так, как если бы это было в самом деле что-то необыкновенно потешное.

Но герцогу было не до смеха.

- Ваше величество! - заговорил он в таком волнении, что задрожали все его старческие морщины. - Вы только что оказали мне честь, выразив сожаление, что так надолго отстранили меня - вашего советника и наперсника… Раз вы об этом сожалеете, то я прошу вас об одной милости: на время вашего изгнания назначьте меня снова на ту должность, какую я занимал при ваших величествах в Любляне, - назначьте меня начальником вашей гражданской и военной свиты!

- Каков честолюбец! - весело воскликнул король и ласково добавил: - Да никакой свиты более не существует, милый мой генерал!.. У королевы духовник и две горничные… У Цары гувернантка… Я взял с собой Босковича, чтобы он вел мою корреспонденцию, и Лебо, чтобы он меня брил… Вот и все…

- В таком случае, ваше величество, у меня будет к вам еще одна просьба: не возьмете ли вы моего сына Герберта к себе в адъютанты, а здесь присутствующую княгиню - в лектрисы и фрейлины при королеве?..

- Я лично, герцог, ничего не имею против, - сказала королева и улыбнулась Колетте обворожительной улыбкой, а Колетта пришла в восторг от своего нового звания.

Король отнесся к назначению князя адъютантом не менее благосклонно, чем королева к назначению княгини фрейлиной, и князь в знак благодарности очаровательно заржал - эту привычку он усвоил в скаковых конюшнях.

- Завтра я представлю вам на подпись все три назначения, - заявил генерал тоном почтительным, однако властным, указывавшим на то, что он уже приступил к исполнению своих обязанностей.

В былое время король постоянно слышал этот голос и этот оборот речи, но только в иной, гораздо более торжественной обстановке, и сейчас на лице у короля появилось унылое, тоскливое выражение, однако он тут же утешился, взглянув на княгиню, сразу похорошевшую от радости, - так всегда преображаются женские личики с неопределенными чертами, вся прелесть которых в скользящей по ним и вечно меняющейся дымке. Вы только подумайте: она, Колетта Совадон, племянница богатого

виноторговца из Берси, - и вдруг фрейлина королевы Фредерики! То-то будет разговоров в аристократических салонах на улице Варен, на улице Св. Доминика, куда брак с Гербертом Розеном открыл ей доступ в дни больших приемов, но где она все же не могла бывать запросто! Ее небогатое светское воображение уже витало при некоем фантастическом королевском дворе. Она мечтала о визитных карточках, которые она закажет, о новых туалетах, о платье иллирийских национальных цветов и о таких же лентах в гривах у лошадей… Но вдруг до нее донеслись слова короля.

- Это наш первый обед на чужбине… - говорил он Розену с полушутливой высокопарностью. - Я хочу, чтобы он прошел весело, в кругу наших друзей.

Заметив, что это неожиданное приглашение озадачило герцога, он спохватился:

- Ах да, верно, этикет, приличия!.. Черт возьми! За время осады мы от всего этого отвыкли, министру нашего двора придется ввести много преобразований… Но только я прошу начать вводить их завтра, а не сегодня.

В эту минуту метрдотель, настежь распахнув двери, возвестил их величествам, что обед подан. Княгиня с торжествующим видом встала и уже собиралась взять под руку Христиана, но тот предложил руку королеве и, не обращая внимания на гостей, повел ее в столовую. Что бы он ни говорил, а придворный церемониал, как видно, не был им погребен в казематах Дубровника.

В столовой сразу почувствовался переход от солнечного света к искусственному освещению. Несмотря на люстру, канделябры, две большие лампы, стоявшие на буфетах, в комнате было темно, - дневной свет, раньше времени грубо изгнанный отсюда, как бы накинул, уходя, на предметы чуть колышущийся покров полумрака. Общее гнетущее впечатление усиливал обеденный стол, выбранный после долгих поисков, - искали по всей гостинице такой, который удовлетворял бы требованиям этикета, но его длина не соответствовала количеству приборов; на одном конце стола сели рядом король с королевой, а по бокам и напротив - никого. Маленькая княгиня Розен преисполнилась изумления и восторга.

Она вспомнила, что на обеде в Тюильри, куда она попала незадолго до краха Империи, император и императрица чинно сидели друг против друга, будто новобрачные за свадебным обедом. “Ах да! - подумала маленькая вертушка и, решительным жестом сложив веер, положила его подле себя, рядом с перчатками. - Ведь это же законные государи, а с законными государями вы не шутите!” И тогда это подобие полупустого табльдота, напоминавшее дорогой отель на Итальянской Ривьере между Монако и Сан-Ремо в начале сезона, когда туристов пока еще наперечет, мгновенно преобразилось в ее глазах. А ведь та же пестрота лиц и одежд: Христиан в куртке, королева в дорожном костюме, Герберт с женой в выходных костюмах, францисканская ряса отца Алфея, духовника королевы, и тут же рядом увешанная орденами полувоенная форма генерала. Трудно себе представить что-нибудь менее внушительное. Оттенок величественности был лишь в том, как молился духовник, призывавший благословение Божие на эту первую трапезу в изгнании.

- quae sumus sumpturi prima die in exilio… [1 - …которую мы вкусим в первый день изгнания… (лат.)] - воздевая руки, читал монах, и эти медленно произносимые слова, казалось, бесконечно удлиняли короткие каникулы короля Христиана.

- Amen! [2 - Аминь! (лат.)] - проникновенно ответил свергнутый властелин, благодаря церковной латыни как бы ощутивший наконец боль от разрыва множества уз - уз, еще не онемевших, еще трепещущих, которые волочат за собой, словно вырванные деревья - свои еще живые корни, изгнанники всех времен.

Но у этого славянина, доброжелательного и любезного, самые сильные впечатления изглаживались быстро. Как только он сел за стол, к нему сейчас же вернулись веселость и беспечность, и он принялся болтать без умолку, стараясь в угоду парижанке выговаривать по-французски как можно чище, впрочем с легким итальянским присюсюкиванием, но оно даже как-то гармонировало с его смехом. Героикомическим тоном он

рассказал несколько случаев времен осады, между прочим о том, как разместился королевский двор в крепостных казематах и как странно выглядела там гувернантка наследника - маркиза Элеонора Сильвис, в пледе и в шляпке с зеленым пером. К счастью, злополучная дама обедала в комнате своего воспитанника и не могла слышать хохот, вызванный шутками короля. Затем мишенью для насмешек послужил ему Боскович со своим гербарием. По-видимому, эти дурачества нужны были королю для того, чтобы отмахнуться от тяжких дум о своем положении. Личный советник короля Боскович, маленький человечек неопределенного возраста, боязливый и тихий, с глазами кролика, всегда глядевшими в сторону, юрист по образованию, страстно любил ботанику. В Дубровнике все суды были закрыты, и он под бомбами собирал растения в крепостных рвах: то был бессознательный героизм маньяка, который, не обращая внимания на смуту в стране, горевал только о том, что его великолепный гербарий достался либералам.

- Ты представляешь себе, мой дорогой Боскович, - поддразнивал его Христиан, - какую иллюминацию устроили они из этой уймы засушенных цветов?.. Впрочем, республика могла по бедности накроить из твоего плотного серого картона запасных шинелей для своих дружинников…

Советник смеялся вместе со всеми, но лицо у него было испуганное, и, не в силах сдержать свой детский страх, он повторял:

- Ма che… та che… [3 - Да, но… да, но… (итал.)]

”Какой милый король!.. Какой он остроумный!.. И какие у него глаза!..” - думала между тем маленькая княгиня, к которой Христиан, чтобы уменьшить установленное церемониалом расстояние, поминутно наклонялся.

Приятно было смотреть, как она расцветает под очевидной благосклонностью царственного взора, как она играет веером, слегка вскрикивает, как на нее набегают зримые и звонкие волны смеха, и она, дрожа всем своим гибким телом, откидывается на спинку кресла. Напротив, поза королевы, ее интимный разговор с соседом, старым герцогом, - все указывало на то, что она не хочет принимать участие в этом бьющем через край веселье. Когда речь шла об осаде, она время от времени вставляла несколько слов, чтобы подчеркнуть храбрость короля, его стратегические познания, а затем снова обособлялась. Генерал вполголоса расспрашивал ее о придворных, о своих бывших товарищах, которым выпало на долю счастье сопровождать королевскую семью в Дубровник. Многие остались в Дубровнике навеки. Розен называл имена, а королева мрачно отвечала: “Умер!.. Умер!..” - и это печальное слово звучало похоронным звоном над недавними утратами. Однако после обеда, когда все перешли в гостиную, Фредерика оживилась. Она усадила Колетту Розен рядом с собой на диван и заговорила с той благожелательной непринужденностью, к которой она прибегала, когда ей нужно было кого-нибудь очаровать, и которая чем-то напоминала пожатие ее красивой руки с тонкими пальцами и крепкой ладонью, словно передававшее вам ее благотворную силу. Потом вдруг она встрепенулась:

- Княгиня! Пойдемте посмотрим, уснул ли Цара.

В конце длинного, служившего подсобным помещением коридора, заставленного нагроможденными один на другой ящиками и открытыми чемоданами, откуда вылезало белье и всякая всячина, где царил тот невообразимый кавардак, какой бывает в вещах у вновь прибывших, находилась комната наследника, освещенная лампой с опущенным абажуром, свет от которой доходил только до голубоватого полога над кроваткой.

Сидя на сундуке, дремала служанка в белом чепце и в большом платке с розовой каемкой, без которого нельзя себе представить далматинку.

Слегка облокотившись на стол, держа на коленях открытую книгу, гувернантка сама испытывала усыпляющее действие своего чтения - она и во сне хранила тот сентиментально-романтический вид, над которым так потешался король. Приход королевы не разбудил ее. Зато наследник при первом же движении газового полога протянул кулачки и, открыв глазенки, с видом обреченного попытался приподняться. За последние месяцы он так привык вскакивать ночью и второпях одеваться, потому что все время надо было куда-то ехать, куда-то бежать, так привык видеть вокруг себя при пробуждении новые места и новые лица, что сон его утратил благодетельную цельность, перестал быть десятичасовым путешествием в страну грез, которое совершали дети, спокойно, ровно, почти неслышно дыша полуоткрытыми ротиками.

- Добрый вечер, мама! - прошептал он. - Нам опять надо бежать?

Он задал этот вопрос трогательным, покорным тоном ребенка, который страдал много, не по летам.

- Нет, нет, мой родной, теперь мы в безопасности… Спи, закрывай глазки!

- Да я очень рад!.. Я сейчас же вернусь с великаном Робистором на хрустальную гору… Мне там было так хорошо!

- Это госпожа Элеонора забивает ему головку своими сказками, - шепотом пояснила королева. - Бедный мальчик! У него такая тяжелая жизнь!.. Сказки - его единственное развлечение… А все-таки надо постараться занять его чем-нибудь другим.

Королева говорила с Колеттой, а сама, совсем как простая смертная, осторожно поправляла подушку, укладывала мальчика поудобнее, разрушая представление Колетты о том, что короли - это какие-то высшие существа… Когда же Фредерика наклонилась к сыну, чтобы поцеловать его, он сказал ей на ухо, что ему чудится то ли отдаленный гул канонады, то ли отдаленный рокот моря. Королева прислушалась: от смутного непрерывного шума по временам поскрипывали перегородки и дрожали стекла; он то наполнял собою дом снизу доверху, то затихал, потом возобновлялся, мгновенно усиливался и вновь замирал вдалеке.

- Ничего, ничего… Это, детка, Париж… Спи!..

При этих словах свергнутый с престола младенец, которому успели внушить, что Париж - надежное убежище, убаюканный городом революций, доверчиво уснул.

Вернувшись в гостиную, королева и княгиня увидели, что с королем стоя разговаривает молодая женщина, и женщина эта поражала своей величественной осанкой. Она беседовала с королем запросто, все же остальные держались на почтительном расстоянии: это свидетельствовало о том, что собеседница короля - особа важная. Королева в волнении крикнула:

- Мария!

- Фредерика!

Единый порыв нежности бросил их друг к другу в объятия. Отвечая на безмолвный вопрос жены, Герберт Розен назвал посетительницу. Это была палермская королева. Немного выше и тоньше своей иллирийской кузины, она выглядела несколько старше. Ее черные глаза, черные, гладко причесанные волосы, матовый цвет лица - все придавало ей вид итальянки, хотя родилась она при баварском дворе. Немецкого в ней было только прямизна ее рослого и плоскогрудого стана, высокомерная улыбка и что-то безвкусное, негармоничное в туалете, отличающее женщин, живущих по ту сторону Рейна. Фредерика рано осиротела и воспитывалась вместе со своей двоюродной сестрой в Мюнхене; потом жизнь разлучила их, но они не переставали горячо любить друг друга.

- Понимаешь, я не утерпела, - держа Фредерику за руки, говорила палермская королева. - Чекко все не возвращался… Я отправилась одна… Я не могла больше ждать!.. Я так часто вспоминала тебя, всех вас!.. Я в Венсене, а бессонными ночами мне чудится, будто я слышу, как грохочут пушки в Дубровнике…

- Это был только отголосок бомбардировки Казерты, - прервал ее Христиан, намекая на то, как мужественно держала себя несколько лет назад эта королева, низвергнутая и изгнанная, как и они.

Мария вздохнула.

- Ах да, Казерта!.. Тогда нас тоже все бросили на произвол судьбы… Как это печально! Казалось бы, все венценосцы должны быть заодно… Ну, а теперь уж ничего не поделаешь… Мир сошел с ума… - Затем она обратилась к Христиану: - Как бы то ни было, я поздравляю вас, кузен: вы пали, как подобает королю.

- О нет! Настоящий король не я, а… - начал было Христиан, указывая на Фредерику.

Фредерика жестом дала ему понять, чтобы он умолк… Христиан поклонился ей с усмешкой и сделал пируэт.

- Пойдем покурим, Герберт! - сказал он своему адъютанту.

И оба вышли на балкон.

День только что померк, растворился в голубом свечении газа, и его сменил теплый, чудесный вечер. Темный лес тюильрийских каштанов все вокруг себя опахивал веером и уярчал сияние звезд. Благодаря этому неиссякаемому источнику свежести, благодаря тому, что в нем было где растечься шуму толпы, улица Риволи казалась менее душной, чем другие улицы летнего Парижа. И, однако, здесь все время чувствовалось неустанное стремление Парижа к Елисейским полям, к концертам на открытой сцене, под снопами света. Радость жизни, зимою скрывающаяся за плотными занавесками на закрытых окнах, теперь смеялась, резвилась, пела на воле, в шляпке с цветами, в развевающейся мантилье, в холщовом платье с вырезом, благодаря которому уличный фонарь мог на мгновение выхватить из мрака белую шею, на ней черную бархотку. Кафе выплескивали на тротуары звон монет, оклики и звяканье стаканов.

- Париж - необыкновенный город, - пуская дым в темноту, говорил бывший иллирийский король Христиан. - Здесь даже воздух какой-то особенный… Он опьяняет, он животворит… Как подумаешь, что в Любляне в эту пору все уже заперто, все спит, все погрузилось во тьму… - И вдруг перешел на веселый тон: - Послушайте, господин адъютант: надеюсь, я буду приобщен к парижским развлечениям?.. У меня такое

впечатление, что ты уже все познал и всего вкусил…

- А как же, ваше величество!.. - подтвердил Герберт и польщенно заржал. - В клубе, в Опере - всюду меня зовут Королем золотой молодежи.

В то время как Герберт растолковывал по просьбе Христиана смысл этого нового выражения, королевы, чтобы им никто не мешал, уединились в комнате Фредерики и там принялись изливать душу в подробных рассказах, в горестных признаниях, и шепот их признаний был слышен сквозь приотворенные жалюзи. А в гостиной беседовали о. Алфей со старым герцогом - и тоже вполголоса.

- Он совершенно прав, - говорил капеллан, - король, настоящий король - это она… Если б вы видели, как она верхом на коне днем и ночью объезжала аванпосты!.. Форт Святого Ангела находился под ураганным огнем, так она, чтобы придать бодрости солдатам, дважды с гордо поднятой головою, одной рукой придерживая амазонку, а в другой зажав хлыст, проехалась по валу, как по аллее парка… Надо было видеть наших моряков, когда она сошла с коня!.. А он в это время таскался бог знает где… Он храбр, этого у него не отнимешь, не менее храбр, чем она, но у него нет путеводной звезды, нет веры… А вера, ваша светлость, необходима как для того, чтобы сподобиться вечного блаженства, так и для того, чтобы удержать на голове корону!

Монах воодушевился, он даже казался теперь выше ростом, чему способствовала длинная ряса. Розен счел нужным успокоить его:

- Тише, отец Алфей!.. Отец Алфей, полно, полно!..

Он боялся, что их услышит Колетта.

А Колетту между тем оставили на растерзание советнику Босковичу, занимавшему ее разговором о растениях, сыпавшему научными названиями и рассказывавшему во всех подробностях о своих ботанических экскурсиях. Вся его речь пропахла сухой травой и той пылью, какая поднимается, когда где-нибудь в усадьбе переставляют старые книги. Но, должно быть, так неотразимо обаяние величия, самый воздух вокруг него так сильно и так приятно кружит головы иным мелким натурам, вбирающим его в себя с наслаждением, что молодая княгиня Колетта, царица балов high-lif'a [4 - Высшего света (англ.).], скачек и театральных премьер, одна из тех, кто составлял авангард веселящегося Парижа, улыбалась своей самой очаровательной улыбкой, слушая пресную лекцию Босковича. Ей достаточно было подумать о том, что за балконной дверью разговаривает король, что в соседней комнате поверяют друг другу тайны две королевы, и заурядная гостиная с ее номерной обстановкой, с которой никак не сливалась элегантность княгини, тотчас же наполнялась благоуханием царственности, того безрадостного величия, от которого так грустно становится на душе в обширных залах Версаля, где блеск натертого паркета соперничает с блеском зеркал. Вне себя от восторга, княгиня могла бы просидеть тут, не шевелясь, до полуночи - и не соскучиться; она только была слегка заинтригована длительной беседой Христиана с ее мужем. Какие важные вопросы обсуждали они? Быть может, какой-нибудь широкий план восстановления монархии? Ее любопытство еще усилилось, когда они снова появились в гостиной, - у обоих от возбуждения блестели глаза, взоры были исполнены решимости.

- Я ухожу с государем, - тихо сказал ей Герберт. - Вас проводит отец.

Вслед за мужем к ней подошел король:

- Не сердитесь на меня, княгиня!.. Ваш супруг уже приступил к

исполнению своих обязанностей.

- Каждое мгновение нашей жизни принадлежит вашим величествам, - ответила молодая женщина - она была уверена, что речь идет о каком-нибудь неотложном, таинственном деле, быть может, о первой встрече заговорщиков. Ах, если бы и ей можно было присутствовать!..

Христиан направился к комнате королевы, но у дверей остановился.

- Там плачут… Слуга покорный, я туда не ходок, - сказал он, обернувшись к Герберту.

На улице Христиану сразу стало легко и весело; сделав затяжку из папиросы, которую он закурил еще в вестибюле, он взял своего адъютанта под руку.

- Ты не можешь себе представить, как хорошо идти без свиты, идти в толпе вместе со всеми, быть господином своих слов, своих движений, иметь право оглянуться на девушку, не боясь, что от этого Европа провалится… Вот в чем преимущество изгнания… Когда я приезжал сюда восемь лет назад, я видел Париж из окон Тюильри или из-за стекол роскошных карет… Теперь я хочу узнать все, побывать везде. А, черт! Что же это я?.. Иду себе, иду, - совсем забыл, что ведь ты же хромаешь, бедный мой Герберт!.. Погоди, мы сейчас возьмем фиакр.

Князь воспротивился: нога у него не болит, он отлично дойдет пешком. Христиан, однако, настаивал:

- Нет, нет, я не допущу, чтобы мой вожатый пал на ногу в первый же вечер.

К площади Согласия двигался извозчик, терзая слух скрипом ослабевших рессор и щелканьем бича, то и дело опускавшегося на костлявую спину лошади; Христиан ловко вскочил, расположился на сиденье, обтянутом старым синим сукном, и, радуясь, как ребенок, потер себе руки.

- Куда прикажете, государь мой? - осведомился извозчик, не подозревая, что нечаянно попал в точку.

На это ему бывший иллирийский король Христиан торжествующим тоном школьника, вырвавшегося на волю, ответил:

- В Мабиль!

II

Роялист

Два монаха, пояса и круглые капюшоны коих указывали на принадлежность к францисканскому ордену, с бритыми голыми головами, шли быстрым шагом вниз по гористой улице Мсье-ле-Пренс, под мелким, однако упорным декабрьским дождем, усеивавшим иглами коричневую

шерсть их ряс. В перестраивающемся Латинском квартале, среди зияющих проломов, в которые вместе с пылью от сносимых зданий улетучивается своеобразие старого Парижа и даже самая память о нем, улица Мсье-ле-Пренс сохраняет свое обличье улицы школяров. Развалы букинистических книг чередуются здесь до самого холма Св. Женевьевы с молочными, закусочными, с лавками ветошников, с “покупкой и продажей золота и серебра”, и в любое время дня меряют ее шагами студенты, но это уже не студенты Гаварни с длинными волосами, выбивающимися из-под шерстяных беретов, - это всё будущие адвокаты, запахнувшиеся в свои ульстеры, в перчатках, с громадными сафьяновыми портфелями под мышкой, вылощенные и выхоленные, уже с этих пор приучившие себя смотреть вокруг пронизывающим и холодным взглядом деловых людей, или же подающие надежды медики, несколько более развязные, у которых занятия практические, наблюдения над больными пробудили жажду чувственных наслаждений как противоядие от слишком близкого знакомства со смертью.

В этот ранний час девицы с припухшими от бессонных ночей глазами, с волосами, небрежно убранными в сетку, в капотах и ночных туфлях перебегали улицу, чтобы купить себе на завтрак молока: одни - хохоча и подпрыгивая под дождем с крупой, другие - напротив, с большим достоинством покачивая жестяными бидонами и с величавым бесстрастием сказочных королев щеголяя в обносках и в опорках. А так как, несмотря на ульстеры и сафьяновые портфели, в двадцать лет сердца у всех одинаковые, то студенты улыбались красоткам:

- А, это ты, Леа?

- Здравствуй, Клеманс!

Переговаривались через улицу, назначали вечером свидания в кафе “Медичи” или же “Людовик XIII”. Но в ответ на какую-нибудь любезность, слишком вольную или же превратно истолкованную, озадаченная девица неожиданно изливала свой гнев, причем всегда в одних и тех же выражениях:

- Пошел прочь, нахал!

Казалось бы, два чернеца должны были ежиться при столкновении с

молодежью, которая оборачивалась и, посмеиваясь, глядела им вслед, - впрочем, посмеиваясь украдкой, ибо у одного из францисканцев, худого, черного и сухого, точно стручок, из-под кустистых бровей глядели страшные, как у пирата, глаза, а его ряса, которую пояс стягивал до того, что на ней вздулись широкие складки, обрисовывала могучую спину атлета. Однако ни он, ни его спутник не замечали того, что делается на улице, - отряхая с себя его суету, они шли уторопленным шагом, глядя перед собой неподвижным, ушедшим внутрь взглядом, и помышляли, видимо, только о цели своего путешествия. Не доходя до широкой лестницы, спускающейся к Медицинскому институту, старший сделал другому знак:

- Здесь.

Это были дешевые “меблированные комнаты”, куда вела зеленая калитка с колокольчиком, зажатая между газетным киоском, пестревшим брошюрами, нотами песенок по два су, цветными картинками, на которых нелепая шляпа Базиля принимала самые разнообразные положения, и пивной в подвальном этаже, носившей обозначенное на вывеске название “Пивная Риальто”, вернее всего, потому, что прислуживавшие там девушки носили венецианские наколки.

- Господин Элизе не отлучился? - проходя на второй этаж мимо конторы, спросил один из святых отцов.

Толстая женщина, которая, должно быть, вдоволь намыкалась по чужим меблирашкам, прежде чем открыть свои собственные, лениво ответила, не вставая со стула и даже не поглядев на унылую шеренгу ключей, висевших в ящике:

- Отлучился, этакую рань!.. Вы бы лучше спросили, давно ли он возвратился!..

Но тут взгляд ее скользнул по грубошерстным рясам, и она сразу переменила тон. В крайнем замешательстве она принялась объяснять, как найти Элизе Меро:

- Шестой этаж, в конце коридора, тридцать шестой номер.

Францисканцы долго поднимались, блуждали по узким коридорам,

заваленным грязными башмаками и туфлями на высоких каблуках, то серыми, то коричневыми, то какого-то немыслимого фасона, то нарядными, то нищенскими, - по ним можно было составить себе полное представление о нраве того или иного жильца и жилицы. Но монахи, задевая обувь грубыми подолами ряс и крестами длинных четок, не обращали на нее внимания и слегка оторопели лишь при встрече с хорошенькой девушкой в красной нижней юбке и мужском пальто внакидку, с голой шеей и голыми руками; перегнувшись через перила на площадке четвертого этажа, она что-то крикнула коридорному хриплым голосом, с хриплым смехом излетавшим из ее в высшей степени вульгарного рта. Монахи многозначительно переглянулись.

- Если он правда таков, как вы о нем говорите, то странную же выбрал он себе компанию, - прошептал корсар, выговор которого обличал в нем иностранца.

Другой, постарше, с умным и тонким лицом, улыбнулся вкрадчивой, лукаво-снисходительной улыбкой священнослужителя.

- Апостол Павел среди язычников! - прошептал он в ответ.

На шестом этаже монахи снова пришли в недоумение: под низким и темным-претемным сводчатым потолком едва можно было различить номера и карточки, оповещавшие только о том, что здесь, мол, проживает некая “мадемуазель Алиса”, без указания профессии - указания, впрочем, совершенно лишнего, так как жилицы этих меблированных комнат занимались одним и тем же ремеслом. Теперь войдите в положение честных отцов: хоть стучись наудачу к любой из них!

- Ах, будь он неладен, надо его окликнуть! - сказал чернобровый монах и тут же на весь дом по-военному зычным голосом выкрикнул имя “господина Меро”. В ответ из комнаты в глубине коридора послышался не менее мощный и не менее раскатистый бас. Когда монахи отворили дверь, тот же голос радостно приветствовал их:

- А, это вы, отец Мельхиор!.. Мне не везет!.. Я думал, это денежное письмо… Входите же, входите, ваши преподобия, гостями будете!.. Присаживайтесь, если только найдете куда.

В самом деле: все сиденья были погребены под грудами книг, газет и

журналов, принаряжавших и прикрывавших убогую обстановку меблирашек восемнадцатого разряда с их облезлым полом, продавленным диваном, неизбежным письменным столом стиля ампир и тремя стульями, бархат на которых давно порыжел. На кровати, на сбившемся тонком коричневом одеяле вперемешку с оттисками и кипами корректур, которые постоялец, еще лежа в постели, все исчеркал красным карандашом, валялось платье. Этот жалкий рабочий кабинет с нетопленым камином, с пыльной наготою стен освещался отблеском хмурого неба на мокрой черепице соседних крыш. Отсвет, падавший на высокий лоб, на широкое нервное лицо хозяина, подчеркивал его умное и печальное выражение - лица с таким выражением можно встретить только в Париже.

- Как видите, отец Мельхиор, я все в своей конуре!.. Ничего не поделаешь! Я поселился здесь восемнадцать лет тому назад, как только приехал в Париж. С тех пор я отсюда никуда… Сколько замыслов, сколько надежд погребено в каждом углу этой комнаты!.. Сколько идей!.. Я вновь обнаруживаю их под густым слоем пыли… Я убежден, что, если когда-нибудь мне придется покинуть эту каморку, лучшее, что есть во мне, будет по-прежнему жить здесь… Ведь я даже оставил ее за собой, когда уезжал туда…

- Да, кстати, что же ваше путешествие? - спросил о. Мельхиор, чуть заметно подмигнув своему спутнику. - Я думал, вы туда надолго… Что случилось? Должность не подошла?

- Ну нет! Что касается должности, то лучшего и желать нельзя, - тряхнув гривой, ответил Меро. - Жалованье полномочного посла, комната во дворце, лошади, экипажи, слуги… Все были со мной очень милы: император, императрица, великие князья… А все-таки я скучал. Мне не хватало Парижа, особенно Латинского квартала, воздуха, которым здесь дышишь, - легкого, звонкого, молодого… Не хватало галереи Одеона, только что вышедшей книги, которую бегло перелистываешь стоя… Охоты за редкими книгами, наваленными вдоль набережных в виде крепостного вала, защищающего учащийся Париж от суетности и эгоизма другого Парижа… Но это еще не все, - тут в голосе Меро зазвучала суровая нотка, - вам известны мои воззрения, отец Мельхиор. Вы знаете, на что я рассчитывал, поступая на службу. Я хотел сделать из этого маленького существа короля, настоящего короля, каких теперь уже нет; хотел воспитать, вылепить, вычеканить из него человека, который был бы

достоин своего великого назначения, а то ведь оно чаще всего оказывается не по силам властителю, оно подавляет его, подобно средневековым доспехам в старинных оружейных палатах, где они служат безмолвным укором нашему узкоплечему и узкогрудому поколению… И что же вы думаете, милейший? Кого я нашел при дворе***?.. Либералов, реформаторов, поборников прогресса и новых идей… отвратительных буржуа, не понимающих, что раз монархия обречена на гибель, то пусть лучше она погибнет сражаясь, накрытая своим знаменем, чем испустит дух на кресле для недвижимых, которое катит парламент… После первого же моего урока во дворце завопили: “Откуда он взялся? Что здесь нужно этому варвару?” Всячески подслащивая пилюлю, меня попросили придерживаться основ педагогики… Репетитор, знай свое место!.. Как только я в этом убедился, так сейчас же за шляпу: “Прощайте, ваши величества!..”

Он говорил это во весь свой мощный голос, по металлическим струнам которого ударял его южный выговор, и лицо его преображалось на глазах. Голова, в состоянии покоя казавшаяся огромной и уродливой, высокий выпуклый лоб, неукротимый беспорядок курчавых волос, черноту которых оттеняла широкая седая прядь, толстый нос с горбинкой, резко очерченный рот без малейшего намека на растительность вокруг, ибо на коже у Меро, как на вулканической почве, были выжжены пространства, трещины, бесплодные пустыни, - все это чудом оживлял порыв страсти. Представьте себе разрыв покрова; внезапно отдернутую черную занавеску, за которой весело и жарко пылает огонь в очаге; вспышку красноречия, загорающегося сперва в углах глаз, в крыльях носа, в углах рта, а затем растекающегося вместе с кровью, которая вдруг прихлынет от сердца к лицу, поблекшему от постоянного душевного напряжения и от бессонных ночей. Так на земле Лангедока, родины Меро, на земле голой, неплодородной, того серого цвета, какой принимают запыленные маслины, при многоцветном закате беспощадного южного солнца пленяют взор дивные пылания с волшебно набегающей на них тенью, - это как бы угасание солнечного луча, медленное и постепенное умирание радуги.

- Так, значит, вам опротивела пышность? - спросил старый монах, глухой и вкрадчивый голос которого являл собою полнейшую противоположность громогласию Меро.

- Да!.. - твердо заявил тот.

- Однако король королю рознь… Я знаю такого, которому ваши идеи…

- Нет, нет, отец Мельхиор… Все кончено. Я не желаю вторично проделывать опыт… А то как бы мне от близкого соприкосновения с коронованными особами не растерять всей своей верноподданности…

После некоторого молчания находчивый инок переменил разговор, а затем вернулся к этой теме, но уже другим путем:

- Ваша полугодовая отлучка, верно, недешево вам обошлась, Меро?

- Нет, ничего… Во-первых, мне не изменил дядюшка Совадон… Вы его знаете: богач из Берси… Он бывает у своей племянницы княгини Розен, а там всегда много народу, ему хочется принять участие в общем разговоре, и он попросил меня три раза в неделю снабжать его, как он выражается, “взглядами на вещи”. Он славный малый, он поистине очарователен в своем простодушии и доверчивости: “Господин Меро! Что я должен думать вот об этой книге?” - “Что это дрянь”. - “А мне показалось… я слышал на днях разговор у княгини…” - “Если у вас есть на этот счет мнение, то мне нечего больше у вас делать”. - “Что вы, что вы, мой друг!.. Вы прекрасно знаете, что мнения-то как раз у меня и нет…” В самом деле, мнения у него ни о чем нет никакого; что бы я ему ни внушал, он все принимает на веру… Я - его мыслительный аппарат… Пока я был в отъезде, он молчал - за отсутствием идей… А когда я вернулся, как же он на меня набросился!.. Еще есть у меня два валаха - им я даю уроки государственного права… Потом у меня всегда кое-что в работе… Скоро, например, я выпущу “Мемориал об осаде Дубровника на основании подлинных документов”… Собственно, моего там почти ничего нет… за исключением последней главы, которой я в общем доволен… У меня есть корректурные листы. Хотите, прочту?.. Я назвал эту главу “Европа без королей”!

Пока он, все более и более воодушевляясь, волнуясь до слез, читал свой роялистский трактат, пробуждение меблированных комнат ознаменовывалось молодым смехом, весельем тайных встреч, и этот смех и веселье сливались со стуком тарелок и звоном стаканов, с деревянным звуком старого расстроенного фортепьяно, на котором играли какую-то кабацкую песенку. Этот разительный контраст францисканцы почти не улавливали - они упивались могучим, безудержным славословием

единовластию; особенно высокий: он весь дрожал, притопывал ногами и подавлял в себе изъявления восторга, с такой силой сдавливая руками грудь, точно хотел сломать себе грудную клетку. Когда чтение кончилось, он поднялся и зашагал по комнате, и тут напор слов и движений прорвал наконец плотину:

- Да, да, вот именно… Совершенно верно… Право божественное, законное, неограниченное (он выговаривал: “бозественное”, “неограниценное”)… Долой парламенты!.. Долой адвокатов!.. Сжечь всю эту клику!

И глаза его метали искры и горели, точно костры Санта Эрмандад. О. Мельхиор в более спокойных выражениях хвалил автора.

- Надеюсь, на этой книге вы поставите свое имя?

- Нет, и на этот раз не поставлю… Вы прекрасно знаете, отец Мельхиор, что мои идеи мне дороже славы… За книгу мне заплатят: дядюшка Совадон нежданно-негаданно дал мне возможность заработать, но я с не меньшим удовольствием написал бы ее и даром. Это моя отрада - составлять летопись последних дней королевской власти, прислушиваться к слабеющему дыханию старого мира, который сражается и умирает вместе с гибнущей монархией… По крайней мере вот король, который всем подал пример, как можно и в падении не утратить величия… Христиан - герой… В этом дневнике есть рассказ о том, как он под бомбами совершал прогулку в форт Святого Ангела… Вот это, я понимаю, смелость!..

Один из отцов опустил глаза. Он лучше, чем кто-либо, знал цену этому проявлению героизма и этой еще более героической выдумке… Но что-то сильнее его самого заставляло его молчать. Он только сделал знак своему спутнику - тот встал и, обратившись к Меро, неожиданно заявил:

- Ну так вот, ради сына этого героя я и пришел к вам… вместе с отцом Алфеем, капелланом иллирийского двора… Не хотите ли заняться воспитанием наследника?

- Там вас не ожидают ни дворец, ни роскошные кареты… ни царские милости двора***, - с печальным видом продолжал о. Алфей. - Вы будете служить у низложенных государей, их изгнание длится уже более года и

грозит продлиться еще, и оттого все вокруг них полно уныния и одиночества… но зато вы найдете в нас единомышленников… У короля появились было либеральные замашки, но после своего несчастья он понял, что заблуждался. Ну, а королева… королева - существо необыкновенное… Вы ее увидите.

- Когда? - спросил фанатик, вновь загоревшись несбыточной мечтой создать проникнутого его идеями короля, как писатель создает художественное произведение.

И они тут же условились о встрече.

Когда Элизе Меро вспоминал свое детство, - а вспоминал он его часто, так как все самые сильные впечатления он получил именно тогда, - ему неизменно представлялось вот что: большая комната в три окна на солнечную сторону; у окон жаккардовы ткацкие станы; в их сплетенных крест-накрест и прикрепленных к высоким стержням ячейках, как сквозь подвижные шторы, мелькает сияющая даль, а вдали - беспорядочное нагромождение крыш, дома, один за другим ползущие на гору, во всех решительно окнах такие же точно станки, и у каждого станка сидят двое в одних жилетках и, точно играющие в четыре руки пианисты, сообразуют свои движения над утком. Меж домов не проулки - меж домов лепятся по косогорам садики, южные садики, чахлые, высохшие, душные, изобилующие маслоносными растениями, тыквами с ползущими стеблями и высокими подсолнухами, тянущимися к свету, поворачивающими свои широко раскрытые венчики вслед за солнцем и полнящими воздух приторным запахом спеющих семян - тем запахом, который и по прошествии тридцати лет Элизе все еще ощущал при воспоминании о родной окраине. Над этим рабочим кварталом, тесным и жужжащим, как пчельник, высился каменистый холм, а на холме заброшенные ветряные мельницы, в прошлом - кормилицы города, не снесенные лишь во внимание к их многолетней службе и постепенно разрушавшиеся под действием ветра, солнца и едкой южной пыли, вздымали остовы крыльев, похожие на огромные сломанные реи. Древние мельницы блюли старинные нравы и предания. Весь этот пригород, именуемый Королевским заповедником, с давних пор населяли, да населяют и теперь, ярые роялисты. В каждой мастерской висел на стене в рамке портрет во

вкусе сороковых годов; на портрете был изображен белокурый, румяный, пухлый человек с длинными подвитыми, напомаженными волосами, на локоны которого были искусно положены световые пятна, - жители предместья называли его просто Хромой. У отца Элизе над этим портретом висела другая рамка, поменьше, в которой на голубом листе писчей бумаги выделялась большая красная сургучная печать в виде креста Андрея Первозванного с надписью вокруг креста, состоявшей из двух слов: Fides, spes. Мастеру Меро, следившему за челноком, виден был портрет, и, когда он читал слова девиза: “Вера, надежда”, его широкое скульптурное лицо, напоминавшее старинную, вычеканенную еще при Антонинах медаль, лицо, которому орлиный нос и округлые линии придавали сходство со столь дорогими его сердцу Бурбонами, от сильного волнения надувалось и багровело.

В голосе у мастера Меро, привыкшего покрывать грохот батанов, слышались удары и раскаты грома. Его жена представляла собой полную ему противоположность: робкая, незаметная, с молоком матери всосавшая такую покорность, которая превращает южанок старого закала в настоящих восточных рабынь, она взяла себе за правило упорно молчать. Вот в какой среде вырос Меро, хотя, впрочем, его держали не в такой строгости, как братьев, потому что он был последний и самый слабый. Вместо того чтобы с восьми лет засадить его за станок, ему предоставили некоторую свободу - а как эта милая свобода необходима детям! - и он целыми днями носился по Заповеднику или играл в войну на холме, где стояли ветряные мельницы, - войну белых с красными, католиков с гугенотами. Кстати сказать, вражда между ними все еще не утихает в этой части Лангедока! Дети делились на два лагеря, каждый лагерь выбирал себе мельницу, ее осыпавшиеся камни служили детям снарядами. Начиналось со взаимных оскорблений, потом свистели пращи и завязывалась многочасовая гомерическая битва, оканчивавшаяся неизменно трагически: кровоточащей ссадиной на лбу у какого-нибудь десятилетнего мальчугана или же одной из тех ранок в шелковистой путанице волос, от которых на нежной детской коже остаются отметины на всю жизнь, как остались они у Элизе на виске и в углу рта.

Ох уж эти ветряные мельницы! Мать проклинала их от всего сердца, когда ее малыш под вечер возвращался домой - весь в крови и в изодранной одежде. Отец бранился только для вида, по привычке, чтобы в голосе у него не ржавел металл, а за столом заставлял сына подробно

излагать весь ход сражения и называть фамилии участников.

- Толозан!.. Толозан!.. Стало быть, этот род еще не вымер!.. Ах негодяй! В тысяча восемьсот пятнадцатом году я взял его отца на мушку. Жаль, что не ухлопал.

За этим следовала длинная история на образном и грубом лангедокском наречии, не пощадившем ни одного французского слова, ни единого слога, действие же ее происходило в те времена, когда он, Меро, вступил в войска герцога Ангулемского, знаменитого полководца, святого человека…

Эти рассказы, которые отец разнообразил по вдохновению, Элизе слышал сто раз, и они оставили в его душе не менее глубокий след, чем камни с мельниц на его лице. Он жил роялистскими преданиями, а в преданиях день св. Генриха и 21 января числились поминальными днями; он с малолетства привык чтить государей-мучеников - словно облеченные епископской властью, они благословляли перед смертью народ; чтить бесстрашных государынь - ради победы правого дела они вскакивали на коней, за ними гнались, их предавали и в конце концов обнаруживали под закоптелой вьюшкой камина на каком-нибудь старом бретонском постоялом дворе. А чтобы несколько рассеять мрак, сгущавшийся в голове у мальчика от бесконечных повестей о бедствиях и изгнаниях, к воспоминаниям о славных днях старой Франции и об ее удальцах прибавлялись изречение о курице в горшке у каждого крестьянина и песня “Про Волокиту”. О, то была “Марсельеза” Королевского заповедника! По воскресеньям, после вечерни, с большим трудом установив стол на склоне садика, семейство Меро обедало, как там говорят, “на вольном воздухе”, в удушливой предзакатной атмосфере, когда от нагретой земли, от раскаленных стен пышет еще более сильным, еще более душным жаром, чем от палящего солнца, и старый житель окраины запевал своим знаменитым на весь околоток голосом:

Да здравствует Генрих Четвертый,

Да здравствует храбрый король!.. -

а весь Королевский заповедник тогда притихал. Слышны были только сухой треск лопавшихся от жары стеблей тростника, составлявшего живую изгородь сада, запоздалый стрекот кузнечика, да еще слышно было, как величаво плыла старинная роялистская песня, и в напеве ее звучал ритм паваны, приспособленный к неповоротливости штанов с буфами и юбок с фижмами.

Припев пели хором:

За здоровье короля все мы пьем!

С чистопробным Генрихом мы свое возьмем.

Он заботится о благе и твоем и моем.

Это “и твоем и моем”, четко ритмизованное, фугированное, очень забавляло Элизе и его братьев: они это пели, толкаясь, пихаясь, за что неизменно получали от отца оплеуху, но песня из-за такой безделицы не прерывалась, - она лилась и среди колотушек, всхлипываний и смеха, как духовный гимн одержимых на могиле дьякона Париса.

Слово “король” было окружено особым ореолом не только в волшебных сказках и в “Истории для детей”, оно не сходило с уст в доме Меро на каждом семейном празднике, - вот почему Элизе ощущал между королем и собой некую родственную близость. Чувство близости еще усиливали таинственные письма на тонкой бумаге, приходившие к обитателям Заповедника из Фросдорфа два-три раза в год: в письмах этих король просил свой народ запастись терпением… В такие дни мастер Меро с особой торжественностью пускал в ход свой челнок, а вечером, плотно затворив двери, принимался за чтение послания, представлявшего собой очередное слащавое воззвание, составленное в выражениях неясных, как надежда: “Французы! Они сами заблуждаются и вводят в заблуждение вас…” И все та же неизменная печать: Fides, spes. Бедняги! Чего-чего, а веры и надежды у них было вполне достаточно.

- Когда король вернется, я куплю себе хорошее кресло, - говорил мастер

Меро. - Когда король вернется, мы переменим обои.

Позднее, после путешествия во Фросдорф, этот привычный оборот речи был заменен другим.

- Когда я имел честь видеть короля… - кстати и некстати говорил старик.

Этот чудак в самом деле совершил паломничество, потратив и время, и деньги, - а для простого рабочего то была жертва немалая, - и никогда ни один хаджи, вернувшись из Мекки, не пребывал в таком упоении, как он. Между тем свидание продолжалось недолго. Претендент сказал явившимся к нему верноподданным:

- А, это вы!..

Никто не в силах был ответить на это приветствие, особенно Меро: у него захватило дух от волнения, из-за слез он даже не разглядел как следует своего кумира. Только уже перед тем, как ему уезжать, государственный секретарь герцог д’Атис долго расспрашивал его о состоянии умов во Франции. Можно себе представить, что отвечал ему восторженный ткач, никогда не покидавший пределов Королевского заповедника.

- А, да что там! Пусть только наш Генрих поторопится… пусть только он как можно скорей приезжает… Мы заждались его…

Герцог д’Атис, изъявив Меро горячую благодарность за столь добрые вести, неожиданно задал ему вопрос:

- У вас дети есть, Меро?

- У меня их трое, ваша светлость.

- Мальчики?

- Да… трое детей… - повторил старый ткач (надо заметить, что в тех краях девочки за детей не считаются).

- Хорошо… Я запишу… Когда час пробьет, государь о них вспомнит.

Тут его светлость достал записную книжку - и чирик, чирик… Это чирик, чирик, которым почтенный Меро выразил жест благодетеля, записывавшего имена трех его сыновей, составляло неотъемлемую часть рассказа, приобщенного к семейным преданиям, трогательным именно тем, что в них не полагалось опускать малейшую подробность. С тех пор, если заработки были плохи, скудные запасы подходили к концу, а между тем мать со страхом замечала, что муж ее стареет, ответом на ее робко выраженную тревогу за судьбу детей служило все то же чирик, чирик:

- Ну, ну, не вешай голову!.. Герцог д'Атис записал…

Неожиданно в старом ткаче проснулось отцовское самолюбие: два старших сына пошли вслед за ним по его тесному и узкому пути - вот почему он все свои надежды возложил на Элизе, с ним связал свою мечту о славе. Элизе отдали в учебное заведение, которое содержал Папель, один из испанских эмигрантов, наводнивших южные города Франции после капитуляции Марото. Помещалось оно в Мясном ряду, в сыром обветшалом доме около собора, о близком соседстве которого свидетельствовали позеленевшие окошечки и потрескавшиеся от сырости стены. Путь к школе сначала лежал мимо вереницы мясных лавок с решетками и крюками, мимо висевших на крюках огромных туш, вокруг которых вечно стояло отвратительное мушиное жужжание, а затем надо было пройти целую сеть узких улиц с красными и скользкими от мясных отбросов мостовыми. Когда Элизе впоследствии вспоминал это время, ему казалось, что его детство протекло в Средние века, а протекло оно под ферулой и под плетью злобного фанатика, в темном и грязном классе, где склонение латинских существительных шло под звон соборных колоколов - под звон то благостный, то гневный, низвергавшийся на своды старого храма, на его стены, на его ветвистый орнамент, на безобразные рыльца его водосточных труб. Коротышка Папель с широким лоснящимся лицом, в надвинутом на глаза грязном белом берете, прикрывавшем синюю вздутую жилу, которая пересекала ему лоб до самых бровей, напоминал карлика с картины Веласкеса, только без сверкающей туники и без того налета, который неумолимое время оставляет на красках. В довершение всего он был груб и жесток, но его широкая черепная коробка вмещала богатый запас мыслей, живую, блестящую энциклопедию знаний, запертую, если можно так выразиться, посреди лба на засов упрямого роялизма, который символизировало странное, непонятное вздутие жилы.

В городе поговаривали, что под именем Папеля скрывается другое, гораздо более известное имя одного из Дон-Карлосовых cabecillas [5 - Cabecilla - буквально: главарь; здесь - в смысле приспешник (исп.).], знаменитого своим бесчеловечным способом вести войну и разнообразить орудия смерти. Отсюда было рукой подать до испанской границы, и постыдная слава Папеля могла быть для него опасна - вот почему он предпочитал жить под чужим именем. Что было достоверного во всей этой истории? Элизе несколько лет находился в непосредственной близости к своему учителю, он был его любимчиком, но он никогда не слыхал от страшного карлика ни единого слова, не видел у него ни одного посетителя и ни единого письма, которые могли бы подтвердить эти подозрения. Когда ребенок вырос и окончил школу, когда стало совершенно ясно, что Королевский заповедник не дает простора для пожинания лавров, для получения дипломов и для утоления отцовского самолюбия, то зашла речь об отправке Элизе в Париж, и вот тут-то г-н Папель снабдил его рекомендательными письмами к главарям легитимистских партий - тяжелыми пакетами, которые были скреплены печатями в виде каких-то таинственных гербов: только это обстоятельство и указывало отчасти на достоверность легенды о переодетом cabecilla.

Старик Меро настаивал на отъезде сына - он находил, что король что-то уж очень мешкает. Он расшибся в лепешку, продал не только свои золотые часы и женино серебряное кольцо для ключей, но и виноградник, а между тем у каждого жителя окраины был свой виноградник, и все это он делал незаметно, самоотверженно, и все - ради той партии, к которой он принадлежал.

- Поезжай, погляди, что они там, - говорил он своему младшему сыну. - Чего они ждут? Наш Заповедник теряет терпение.

В Париж двадцатилетний Элизе Меро прибыл весь во власти своих пылких убеждений, - нерассуждающую преданность отца укрепил в нем воинствующий фанатизм испанца. Легитимисты встретили его как путешественника, который на одной из промежуточных станций садится ночью в спальный вагон, где все уже расположились ко сну. Новичок только что прошелся по морозному воздуху, это подействовало на него освежающе, и он входит в вагон с заразительным желанием двигаться, говорить, словом, продолжать бодрствовать в пути, и видит перед собой хмурых, заспанных пассажиров, накрывшихся шубами, убаюкиваемых

стуком колес, спустивших на лампочках голубые абажуры, потных, разомлевших и оттого больше всего на свете боящихся, чтобы их не продуло и чтобы кто-нибудь их не потревожил. Такой вид имел при Империи легитимистский клан, но только вагон его был отцеплен и стоял на заброшенном пути.

Этот одержимый с черными глазами, с головой отощавшего льва, отчеканивавший каждый слог, подчеркивавший жестом каждый период, обладавший неиссякаемым вдохновением Сюло и беззаветной храбростью Кадудаля, вызвал у легитимистов изумление, смешанное со страхом. Его сочли беспокойным и опасным. В свою очередь, Элизе с присущей ему проницательностью, которая не изменяет уроженцам Юга Франции даже в разгар увлечений, под преувеличенной любезностью, под притворными знаками внимания, которых требовал хороший тон, скоро разглядел весь эгоизм и малодушие этих людей. Они утверждали, что сейчас ничего не следует делать; нужно ждать, а главное - нужно сохранять спокойствие, ибо нет ничего опаснее юношеской горячности и опрометчивости: “Берите пример с государя!..” Эта проповедь благоразумия и умеренности так хорошо гармонировала со старыми домами Сен-Жерменского предместья, зашитыми в плющ, глухими к уличному шуму, проконопаченными уютом и ленью, с массивными дверьми, отяжелевшими от груза веков и традиций! Его только из вежливости пригласили на два-три собрания, окружавшиеся непроницаемой тайной, происходившие в одном из этих гнездилищ злопамятства, и каких только опасений при этом не возникало, каких только предосторожностей не принималось! Он увидел там знаменитых участников вандейских боев и киберонской резни и попавших в скорбные списки Поля мучеников: то были добродушные старички, гладко выбритые, шившие себе платья из того добротного сукна, которое с давних пор облюбовали духовные лица; старички, отличавшиеся плавностью речи, приторность которой усиливалась оттого, что во рту у них всегда были отхаркивающие леденцы. Являлись они с видом заговорщиков, за которыми установлена слежка; на самом же деле эти платонические встречи только смешили полицию. При мягком свете больших свечей с колпачками идет игра в вист; склоненные над картами лысины блестят, как медали; кто-нибудь сообщает, что нового во Фросдорфе; игроки восхищаются неистощимым терпением изгнанников и призывают друг друга подражать им. Шепотом - тсс! тсс! - передают друг другу последний каламбур г-на де Барентена об императрице, мурлыкают песенку:

Когда придет Наполеон,

Он мигом весь ваш пыл утишит.

Штаны с вас живо спустит он

И плетью задницы распишет…

Но тут же, устрашенные собственной дерзостью, заговорщики по одному выходят на широкую и безлюдную улицу Варен и, пугаясь шума своих шагов в гулкой ее тишине, крадутся вдоль стен.

Элизе увидел ясно, что для этих призраков старой Франции он слишком юн и слишком деятелен. Да к тому же еще то было время торжества Империи, время, когда по бульварам, под окнами, из которых свешивались флаги, печатали шаг войска, возвращавшиеся из итальянских походов, а над ними реяли целые стаи победоносных орлов. Наш провинциал легко мог убедиться, что у жителей Королевского заповедника единомышленников не слишком много и что возвращение законного короля последует далеко не так скоро, как там предполагали. Роялизм Элизе от этого не поколебался, но действовать оказалось невозможно, и Элизе вознесся в умозрительную высь и ширь. Он задумал книгу, в которой ему хотелось выразить все, во что он верил, все, что он исповедовал, все, что ему не терпелось высказать и в чем он испытывал потребность убедить других, - высказать для того, чтобы покорить Париж. План у него был такой: жить уроками, и уроки он скоро нашел; писать книгу в промежутках между уроками, и вот на книгу потребовалось гораздо больше времени, чем на приискание заработка.

Как все южане, Элизе Меро шел от слова и от жеста. Идея являлась к нему внезапно, на звук его голоса, - так привлекает молнию дрожащий гул колокольного звона. Вскормленная чтением, фактами, неустанными раздумьями, мысль изливалась из его уст бурной волной звучного красноречия, и на этой волне одно слово неудержимо влекло за собой другое, но зато с его пера мысль стекала медленно, по капельке: сосуд был слишком велик, он не подходил для такой строго размеренной фильтрации

и для стилистических тонкостей. Высказывать свои убеждения стало для Элизе насущной потребностью - иного способа распространять свои взгляды он не находил. И он говорил на собраниях, в харчевнях, но чаще всего - в кафе, в кафе Латинского квартала, а в Париже, придавленном Второй империей, когда и на книги, и на газеты был надет намордник, отдушиной служили только одни кафе. В каждом кабачке был свой оратор, свой великий человек. Тогда говорили так: “Уж на что молодец Пекиду из “Вольтера”, а Лармина из “Прокопа” еще лучше”. В самом деле: там собиралась вся образованная, красноречивая молодежь, и увлекалась она предметами возвышенными и вела блестящие политические и философские споры с еще большей страстностью, чем их когда-то вели в пивных Бонна и Гейдельберга.

В таких вот кузницах мысли, дымных и шумных, где лихо драли глотку и еще лише пили, самобытный ораторский дар долговязого гасконца, умевшего всегда быть в ударе, некурящего, хмелевшего без вина, его образная, резкая манера выражать мысли, так же давно вышедшие из моды, как фижмы или пудреные парики, и так же не соответствовавшие обстановке, в которой они высказывались, как не гармонирует какая-нибудь старинная вещь с современными парижскими безделушками, - этот его дар очень скоро доставил ему известность и слушателей. Когда на пороге переполненного, бурлившего кафе, при свете только что зажегшегося газа вырастала его длинная нескладная фигура и он, непременно держа под мышкой растрепанную книгу или журнал, откуда торчал огромный разрезной нож, слегка растерянно щурил свои близорукие глаза, а волосы у него топорщились и шляпа съезжала на затылок, казалось, именно оттого, что он напрягает зрение, - все вскакивали и кричали: “Меро пришел!” И все жались друг к другу, чтобы ему было просторнее, чтобы не стеснять его движений. Он сразу же приходил в волнение от этих криков, от приема, который ему устраивала молодежь, ну, а потом от жары и от света - от света газовых ламп, возбуждающего и опьяняющего… Он мог начать с чего угодно: с сегодняшней газеты или с книги, которая попалась ему на глаза у Одеона, затем переходил на что-нибудь другое, то садился, то вскакивал, держал кафе в напряжении силою своего голоса, притягивал, собирал вокруг себя слушателей выразительностью жеста. Партии в домино прекращались, игроки на бильярде с трубками в зубах, с длинными, слоновой кости киями в руках перевешивались через перила лестницы, спускавшейся с антресолей. Стекла окон, кружки, блюдца дрожали так, как будто мимо

проезжала почтовая карета, а сидевшая за стойкой женщина с гордым видом говорила входившим: “Скорей, скорей!.. У нас Меро!” Уж на что были молодцы Пекиду и Лармина, а он и их забивал. Он стал знаменитостью квартала. Он не гнался за славой оратора, но она вполне его удовлетворяла, и он на этом успокоился. Такова была в то время участь многих Лармина: то ли из-за беспорядка, то ли по нерадению, то ли оттого, что руль повернут был не в ту сторону, но только рычаги и двигатели со страшным шумом выпускали бесполезный пар, и недюжинные силы растрачивались впустую. У Элизе дело обстояло еще сложнее: этот южанин, воспринявший у родного края только его горячность, свободный от тщеславных побуждений, не прибегавший к интригам, смотрел на себя как на миссионера своей веры, и в самом деле, он обнаруживал все качества миссионера: неутомимый прозелитизм, независимый нрав, твердость духа и бескорыстие, в силу которого он жертвовал доходами случайными и постоянными, жертвовал даже жизнью, подвергая ее наигрознейшим опасностям, сопряженным с его призванием.

Разумеется, за те восемнадцать лет, в течение которых он бросал семена своих идей в умы парижской молодежи, многие из его слушателей достигли высокого положения, и теперь они уже с презрением говорили: “Кто? Меро?.. Ах да, этот вечный студент!” - однако блеском своей славы они были обязаны тем крохам, какие этот оригинал небрежно разбрасывал по всему столу, за который ему случалось присесть. Элизе это знал, и, когда он встречал какого-нибудь ученого сановника и под его зеленым сюртуком с “академическими пальмами” обнаруживал свою мечту, в красиво закругленной академической фразе державшуюся на прочных основаниях здравого смысла, он был счастлив бескорыстным счастьем отца, который, не имея никаких прав на ласку своих любимых дочерей, радуется тому, что они замужем и живут в довольстве. То было рыцарственное самоотречение старого ткача из Королевского заповедника, но только еще более глубокое, ибо у сына уже не было веры в успех - той несокрушимой веры, которой честный старик Меро не утратил до последнего вздоха. Еще за день до смерти - он умер почти внезапно, от солнечного удара, после обеда “на вольном воздухе” - старик распевал во все горло: “Да здравствует Генрих Четвертый!” Умирая, уже с затуманенным взором, он коснеющим языком в последний раз напомнил жене: “За детей не беспокойся: герцог д’Атис записал…” И слабеющей

рукой попытался изобразить на простыне чирик, чирик.

Когда Элизе, слишком поздно узнавший о несчастье, поразившем его как громом, приехал утром из Парижа, отец, скрестив руки, неподвижный и изжелта-белый, лежал на кровати, стоявшей изголовьем к стене, которая так и не дождалась новых обоев. Смерть, проходя по дому, оставила дверь в мастерскую открытой, ибо смерть все вокруг себя раздвигает, высвобождает, расширяет, и отсюда видны были отдыхавшие станки и среди них покинутый станок отца - он напоминал рангоут севшего на мель корабля, на который никогда больше не подует ветер; еще были видны отсюда портрет короля и красная печать, направлявшие всю жизнь ткача, исполненную труда и чувства преданности, а там, на холме, в верхней части Королевского заповедника, старые мельницы, одна над другой, с глухим стуком воздевали в отчаянии руки к ясному небу. В памяти Элизе неизгладимо запечатлелось зрелище этой спокойной смерти, застигшей труженика в его жилище и навеки заслонившей от него знакомый вид, открывавшийся из окон. Элизе был неукротимым мечтателем, жаждавшим борьбы, стремившимся осуществить все, чем бредил отец, но сейчас он испытывал невольное чувство зависти к славному старику, уснувшему непробудным сном.

Как только он вернулся из печального путешествия, ему предложили место воспитателя при дворе ***. Однако разочарование его было так сильно, воронка мелких гадостей, происков, наветов зависти, в которую он был втянут, а равно и пышная декорация монархии, которую ему привелось увидеть вблизи, из-за кулис, столь удручающе на него подействовали, что теперь, едва монахи ушли и первая волна увлечения спала, он, несмотря на свое восхищение иллирийским королем, пожалел, что так скоро дал согласие. Он припоминал все неприятности, которые у него там были, подумал о том, что придется пожертвовать своей свободой, своими привычками… А тут еще книга, пресловутая книга, замысел которой зрел у него в голове. Одним словом, после долгой внутренней борьбы он решил отказаться, и в Рождественский сочельник, перед самой встречей, уведомил о своем решении о. Мельхиора. Монах не стал возражать. Он только написал ему в ответ:

”Сегодня вечером, улица Фурно, за всенощной… Я еще не утратил

надежды убедить Вас".

Францисканский монастырь на улице Фурно, где о. Мельхиор исполнял обязанности эконома, - это один из наиболее любопытных и в то же время наименее известных уголков католического Парижа. Сей оплот знаменитого ордена, таящийся за Монпарнасским вокзалом, в грязном предместье, именуется также Подворьем Гроба Господня. Сюда чернецы с экзотической внешностью, в дешевеньких дорожных рясах, еще усугубляющих общий вид вопиющей бедности, какой являет собою этот квартал, приносят на продажу святыни: кусочки подлинного Креста Господня, четки из косточек олив Гефсиманского сада, розы Иерихона, увядшие и засохшие, чающие окропления святой водой, - словом, всякую чудотворную всячину, которая в бездонных монашеских карманах превращается в денежки, а эти безгласные и полновесные денежки текут в Иерусалим на содержание Гроба Господня. Элизе впервые попал на улицу Фурно благодаря своему приятелю Дрё, бедному скульптору, который тогда только что закончил по заказу монастыря статую св. Маргариты Осунской и всем, кому не лень, показывал свою работу. Место было до того любопытное, до того живописное и до того оно отвечало миросозерцанию южанина, уводя его от современной трезвости в глубину веков, в мир преданий, что потом он туда зачастил, к великой радости своего приятеля скульптора Дрё, гордившегося успехом "Маргариты".

Было уже около полуночи, когда Элизе Меро ради условленной встречи покинул рокочущий Латинский квартал, где жарким закусочным, разукрашенным колбасным, съестным лавчонкам, пивным с женщинами, меблированным комнатам для студентов и всей мелочной продаже на улице Расина и на "Буль-Миш" [6 - Бульваре Сен-Мишель.] предстояло до самого утра пламенеть и благоухать по случаю всесветного пира. Не постепенно, а вдруг объяла Элизе печаль пустынных улиц, где редкий прохожий, на которого падет свет от газового рожка, словно уменьшается в росте и как будто ползет, а не идет. Из-за стен монастырей, над которыми возвышались остовы деревьев, доносился жидкий колокольный звон; из огромных запертых скотных дворов исходили тепло и шуршанье соломы - тепло и шуршанье спящего хлева. Нападавший за день снег не таял - на широкой улице смутно белела его усеянная следами ног пелена, и сыну ткача, жившему мечтами, рожденными его пламенной верой, казалось,

будто среди горевших в небесной вышине звезд, отточенных морозом, он узнает ту, что вела волхвов в Вифлеем. Глядя на эту звезду, он вспоминал Рождество прежних лет, белое Рождество своего детства, праздновавшееся в соборе, вспоминал возвращение по ночным, волшебно преображенным улицам Мясного ряда, с точно вырезанными в лунном свету кровлями, на окраину, в родной дом, где его ждал семейный праздничный ужин: традиционные три свечи в зелени остролиста, перевязанного пунцовой лентой, эстевеноны (рождественские хлебцы), приятно пахнущие горячим тестом и жареным салом. Элизе так углубился в воспоминания детства, что принял фонарь тряпичника, двигавшегося по тротуару, за тот самый фонарь, который покачивался в руке у старика Меро, шедшего впереди своей семьи, возвращавшейся от всенощной.

Бедный отец! Элизе никогда больше его не увидит…

Так, тихо беседуя с милыми призраками, Элизе очутился на улице Фурно, в еще мало застроенном пригороде, освещенном одним-единственным фонарем, с длинными фабричными зданиями, над которыми высились стройные трубы, с дощатыми заборами, с каменной оградой, сложенной из обломков. Ветер выл здесь с той яростью, с какой он всегда кружится над просторами окраины. С ближней бойни несся жалобный визг, глухие удары, позывающий на тошноту запах крови и жира - здесь, будто на празднестве в честь Тевтата, кололи свиней в жертву Рождеству.

Францисканский монастырь стоял посреди улицы; в проеме растворенных настежь монастырских ворот Меро с удивлением увидел, что на дворе стоят экипажи с богатой упряжью. Служба началась. Всплески органа и пение порой долетали из безлюдной и темной церкви, освещаемой лишь светильниками алтаря и матовым отблеском зимней ночи, игравшим на фантасмагории витражей. То был почти круглый неф, убранство которого составляли прикрепленные к стенам большие иерусалимские хоругви с красными крестами и аляповатые раскрашенные статуи, среди которых мраморная Маргарита Осунская безжалостно бичевала свои белые

плечи, ибо, как не без кокетства замечали монахи: “Маргарита была в нашем ордене великою грешницей”. Потолок из расписного дерева, с косыми крестами поперечных балок, престол в главном приделе под чем-то вроде балдахина, который поддерживали колонны, расположенный полукругом пустой клирос с деревянными сиденьями, развернутые ноты, по которым скользил лунный луч, - все это не различалось явственно, а лишь угадывалось. По широкой лестнице, устроенной под клиросом, вы спускались в подземную церковь, где - вероятно, в память катакомб - и совершалось богослужение.

В самом конце подземелья, под белым каменным навесом, державшимся на громадных романских колоннах, был воссоздан Гроб Господень в Иерусалиме: такая же низенькая дверца и такой же узкий склеп, где множество лампад из глубины своих каменных лунок бросало мерцающий свет на Христа, сделанного из раскрашенного воска, в человеческий рост, с кровоточащими язвами ярко-розового цвета, видными там, где загибался покров. В противоположном конце подземелья, как некая странная антитеза, заключавшая в себе весь смысл христианской эпопеи, находилось детски наивное изображение Рождества: эти ясли, животные, младенец, увитые нежных тонов цветами и зеленью из гофрированной бумаги, ежегодно вынимаются из ящика легенд такими, какими их сотворила когда-то фантазия некоего духовидца, с той разницей, что у него они вышли грубее, зато гораздо больших размеров. Как и в былые времена, вокруг яслей теснились дети и старухи, жаждавшие умиления, жаждавшие чуда, теснились бедняки, которых так любил Иисус, и среди них, в первом ряду обездоленных верующих, Элизе, к своему изумлению, заметил двух великосветского вида мужчин, двух элегантных, одетых во все черное женщин, благоговейно преклонивших колена на голом полу, и мальчика, которого одна из этих женщин обвила руками, скрестив их у него на груди: она как бы защищала мальчика и в то же время молилась за него.

- Это королевы! - прерывающимся от восторга шепотом сказала Элизе одна из старух.

Элизе вздрогнул. Он приблизился к молящимся и по тонкому профилю и аристократическим манерам сразу узнал Христиана Иллирийского, а по костистой черноволосой голове и еще молодому открытому лбу - стоявшего рядом с ним палермского короля. У одной из женщин видны были только ее черные волосы, у другой - волосы русые и поза боготворящей матери. Ах, как хорошо знал этот хитрый иеромонах его, Элизе Меро! Как удачно он, если можно так выразиться, инсценировал первое свидание малолетнего наследника и его будущего воспитателя! Свергнутые короли, пришедшие поклониться Богу, который, для того чтобы выслушать их моления, тоже как будто должен был прятаться в подземелье; сочетание низложенного королевского величия и религии в упадке; печальная звезда изгнания, приведшая в Вифлеем парижского предместья жалких, оскудевших волхвов, явившихся без свиты и с пустыми руками, - все это надрывало душу Элизе Меро. Но особенно - особенно ребенок, с трогательным, чисто детским любопытством, умерявшимся болезненной сдержанностью, повернувший головку к животным у яслей… Глядя на эту шестилетнюю головку, в которой будущее уже дремало, точно бабочка в белом коконе, Элизе подумал о том, сколько потребуется знаний и нежных забот для того, чтобы это будущее расцвело пышным цветом.

III

Двор в Сен-Мандэ

Временное проживание в гостинице “Пирамиды” длится три месяца, длится шесть месяцев, вещи из чемоданов до сих пор как следует не разобраны, саки не расстегнуты, всюду беспорядок, во всем сквозит та неуверенность, какою бывает полна жизнь на стойбищах. Из Иллирии ежедневно приходят радостные вести. Будто бы лишенная корней, не имеющая ни прошлого, ни своих героев, республика не принимается на новой почве. Народ устал, он якобы уже сожалеет о своих государях, безошибочно верный расчет подсказывает изгнанникам: “Будьте

наготове… Не нынче - завтра…” Каждый гвоздь вбивается, каждая вещь переставляется со словами, проникнутыми верой в будущее: “Это мы уже напрасно”.

А изгнание между тем продолжалось, и королева скоро почувствовала, что пребывание в гостинице, в этом водовороте иностранцев, на этой остановке перелетных птиц всевозможных пород, роняет их королевское достоинство. Наконец они снялись с лагеря, купили себе дом, расположились. Из кочевого изгнание превратилось в оседлое.

Поселились они в Сен-Мандэ, на авеню Доменила, идущей параллельно улице Эрбильона; эта часть авеню тянется вдоль леса, по обеим ее сторонам - изящной архитектуры дома и кокетливые решетки, сквозь которые видны усыпанные песком дорожки, круглое крыльцо и английский газон: все это очень похоже на авеню Булонского леса. В одном из таких особняков уже укрылись палермский король с королевой: люди небогатые, они сочли за благо быть как можно дальше от роскошных кварталов и от соблазнов high-lif’a. Герцогиня Малинская, сестра палермской королевы, поселилась тоже в Сен-Мандэ, и им обеим не составило большого труда уговорить кузину последовать их примеру. Фредерику тянуло к подругам, а кроме того, ей хотелось стоять в стороне от развлечений веселящегося Парижа, хотелось выразить молчаливый протест против нынешнего света, против благосостояния Французской республики, хотелось избежать любопытства, которое преследует людей известных и которое она теперь воспринимала как издевательство над ее падением. Король сначала возражал - уж очень далеко они забираются, но потом усмотрел в дальности расстояния благовидный предлог для долгих отлучек и поздних возвращений. И, наконец, самое главное: жизнь здесь была дешевле, здесь можно было многое себе позволить без особых затрат.

Разместились со всеми удобствами. Белый четырехэтажный дом с башенками по бокам был обращен лицевой стороной к лесу, проглядывавшему меж деревьев небольшого сада, а широкий, круглый, обстроенный службами и оранжереями двор, усыпанный песком до самого крыльца под навесом в виде шатра, поддерживаемого двумя длинными наклоненными копьями, выходил на улицу Эрбильона. Десять лошадей в конюшне, упряжных и верховых (королева каждый день ездила верхом); ливреи иллирийских национальных цветов и пудреные букли париков у прислуги, а равно и алебарда, и зеленая с золотом перевязь швейцара,

сделавшиеся в Сен-Мандэ и Венсене не менее легендарными, чем деревяшка старика Доменила, - все это носило на себе печать ничем не оскорблявшей глаза, еще не вылинявшей роскоши. В самом деле, не прошло и года, как Том Льюис при помощи всей этой декорации и бутафории воздвиг по вдохновению придворную сцену, на которой и разыгрывается излагаемая нами историческая драма.

Да, да, увы - Том Льюис… Преодолевая недоверие, преодолевая отвращение, пришлось-таки обратиться к нему. Этот карапуз отличался цепкостью и гибкостью необычайной. В запасе у него было столько разных хитроумных приспособлений, столько всяких ключей и отмычек, чтобы открывать и взламывать неподатливые запоры, не считая ему одному известных способов покорять сердца поставщиков, лакеев и горничных! “Только не Том Льюис!” - так обыкновенно говорили вначале. И все не ладилось. Поставщики не доставляли вовремя товаров, прислуга бунтовала, и так продолжалось до тех пор, пока наконец к вам не подъезжал в кебе человечек в золотых очках и с брелоками на груди, и тогда ткани сами собой развешивались по стенам, стлались по паркету, сшивались, превращались в портьеры, занавески, гобелены, ковры. Нагревались калориферы, в оранжереях расцветали камелии, и владельцам, в одну минуту устроившимся на новом месте, оставалось только жить да радоваться и, сидя в покойных креслах, поджидать накладных со всех концов Парижа. На улице Эрбильона принимал счета, платил прислуге, распоряжался небольшим состоянием короля начальник его гражданской и военной свиты старик Розен, и распоряжался так удачно, что Христиан и Фредерика могли пока еще жить широко: их невзгода была оправлена в золото. К тому же король и королева, оба - королевские дети, не знали счету деньгам; они привыкли видеть свои изображения на золотых монетах, привыкли чеканить монеты в любом количестве, - вот почему это благоденствие их нисколько не удивляло, напротив: помимо холода пустоты, который оставляет на голове упавшая корона, они остро чувствовали малейшие изъяны своей новой жизни. Пусть неказистый снаружи, дом в Сен-Мандэ внутри был преображен в маленький дворец; пусть комната королевы с мебелью, обитой голубым шелком и украшенной старинным брюггским кружевом, в точности напоминала ее комнату в Любляне; пусть кабинет государя представлял собой копию того, который ему пришлось покинуть; пусть на лестнице стояли слепки со статуй, составлявших гордость королевской резиденции в Иллирии, а в оранжерее был устроен для уистити, которых любил Христиан, теплый, увитый

глициниями обезьянник. Что значила вся эта проявлявшаяся теперь только в мелочах тонкая предупредительность для бывших владельцев четырех исторических замков и летних дворцов у самого моря, на зеленых островах, именуемых “садами Адриатики”, где волны доплескивались до самой садовой ограды?

В Сен-Мандэ Адриатическое море уменьшилось до размеров лесного озерца, на которое Фредерика печально смотрела из окна своей комнаты, как смотрела лишившаяся отчизны Андромаха на поддельный Симоис. Впрочем, несмотря на все ограничения, Христиан, более опытный, чем Фредерика, иной раз не мог не подивиться их относительному благополучию:

- Наш герцог - поразительный человек… Право, я не могу понять, как это он так ухитряется, что при наших скромных средствах у нас все есть. - И прибавлял со смехом: - Одно можно сказать с уверенностью, что своих он не докладывает.

Дело в том, что в Иллирии имя Розен стало синонимом Гарпагона. Репутация скряги преследовала герцога и в Париже и нашла себе здесь лишнее подтверждение в женитьбе его сына, которому высватали невесту специальные агентства: брак этот, несмотря на всю миловидность маленькой Совадон, расценивался не иначе как брак неравный, брак по расчету. Между тем Розен был богат. Старый пандур, о разбойничьих, грабительских инстинктах которого красноречиво говорил его профиль, напоминавший профиль хищной птицы, воевал с турками и черногорцами не для одной лишь славы. После каждого похода его фуры возвращались с кладью - вот почему его великолепный особняк на стрелке острова Св. Людовика, совсем рядом с Домом Ламбера, был битком набит дорогими вещами: восточными коврами, средневековой утварью и оружием, трехстворчатыми складнями из чистого золота, скульптурами, ковчежцами, тканями шелковыми и парчовыми - словом, добычей, некогда захваченной в монастырях и гаремах и теперь загромождавшей анфиладу громадных приемных зал, двери которых Розен распахнул всего один раз - в день свадьбы Герберта, в день этого сказочно пышного празднества, устроенного на счет дядюшки Совадона, а потом опять запер, и, погруженные во мрак, залы по-прежнему хранили свои сокровища за спущенными шторами и запертыми ставнями, так что им не грозила даже нескромность солнечного луча. Чудак-хозяин, как настоящий маньяк,

занимал в своем огромном особняке всего один этаж и довольствовался услугами только двух лакеев, - он и в Париже установил для себя строй жизни скупца-провинциала, - а между тем в подвальном этаже обширные кухни с неподвижными вертелами и давно остывшими печами были так же наглухо заперты, как и парадные комнаты.

Назначение всех Розенов на должности при малочисленном дворе прибывших в Париж государей вынудило старого герцога несколько изменить привычный уклад. Началось с того, что молодые супруги переехали к нему, - от их помещения в парке Монсо, этой настоящей золоченой клетки, но только устроенной на современный лад, было очень далеко до Венсена. При любой погоде в девять часов утра, когда еще совсем темно от речного тумана, застилающего стрелку зимой и летом до самого полудня, подобно занавесу, за которым скрывается волшебная декорация Сены, княгиня Колетта, чтобы поспеть к утреннему выходу королевы, садилась в карету рядом с генералом. В этот час Герберт пытался хоть немного вздремнуть после тяжелой ночной службы при короле Христиане: король Христиан в течение десяти лет вел жизнь провинциала, обязанного возвращаться в лоно семьи не позднее строго определенного часа, и теперь ему хотелось наверстать упущенное, - он уже не мог обойтись без ночного Парижа, для него была особая прелесть в том, чтобы, выйдя из клуба в такое время, когда все театры и кафе закрыты, побродить по безлюдным бульварам, гулким и сухим или же блестящим от дождя, с их шеренгой фонарей, точно световой караул, выстроившихся во всю длину перспективы.

В Сен-Мандэ Колетта шла прямо к королеве. Герцог между тем отправлялся в примыкавший к службам флигель, где он отдавал распоряжения прислуге и вел переговоры с поставщиками. Трогательное впечатление производил этот высокий старик в своем так называемом интендантстве: заваленный бумагами, регистраторами, зелеными папками, сидя в молескиновом кресле, он платил по мелким счетам за всякую всячину, и это он, он, к услугам которого в королевском дворце была когда-то целая армия привратников в мундирах с галунами! Скупость герцога доходила до того, что каждый раз, когда он вынужден был платить деньги, хотя бы и не свои, лицо его кривилось, кожа нервно собиралась складками, точно ее стягивал пропущенный сквозь нее шнурок, и вся его прямая, негнущаяся фигура выражала возмущение, проявлявшееся даже в том машинальном движении, каким он отпирал несгораемую кассу.

Впрочем, он всегда был наготове, он всегда как-то умудрялся из скромных средств иллирийских государей покрыть перерасход, неизбежный при большом хозяйстве, покрыть благотворительность королевы и широту натуры короля, покрыть даже составлявшие особую статью бюджета его удовольствия, ибо Христиан II сдержал свое слово и весело проводил время изгнания. Тонкий насмешливый профиль этого постоянного посетителя парижских празднеств, принятого в высших кругах, желанного гостя салонов, профиль, замелькавший в веселой толкотне театральных лож и в шумном потоке людей, возвращавшихся со скачек, скоро поместился в галерее лиц, известных "всему Парижу", рядом со смелой прической модной актрисы и искаженными чертами бедствующего наследного принца, таскавшегося по бульварным кафе в ожидании, когда же наконец пробьет час его вступления на престол. Христиан вел праздную и насыщенную жизнь представителя золотой молодежи. После полудня - игра в мяч или ролики, потом Булонский лес, в сумерки он в каком-нибудь шикарном будуаре, который особенно прельщал его своей роскошью, а также тем, что там можно было совсем не стесняться в выражениях; вечером - театры легкого жанра, танцы, клуб, а главное - картеж: в любви к азарту и связанным с ним сильным ощущениям, по-видимому, сказывались текшая в жилах Христиана цыганская кровь. Он почти никогда не выезжал вместе с королевой, за исключением воскресных дней, когда ездил с ней в церковь Омовения ног; виделись супруги лишь за обеденным столом. Он боялся ее уравновешенной, трезвой натуры, преисполненной сознанием долга; ее презрительная холодность стесняла его, как воплощенная совесть. Она без слов взывала к его королевским обязанностям, к его самолюбию, ко все-

му, о чем он хотел бы забыть. Он был слишком слаб для того, чтобы открыто восстать против этого молчаливого насилия, и оттого предпочитал убегать, лгать, увиливать. Что же касается Фредерики, то она хорошо изучила нрав этого пылкого и слабовольного, впечатлительного и неустойчивого славянина. Этому взрослому ребенку, сохранившему в себе так много детского: не только чисто детское обаяние, детский смех, но и детскую жестокость в капризах, она столько раз прощала его заблуждения! Он так часто стоял перед ней на коленях после очередного проступка, он так часто играл ее счастьем и ее достоинством, и если она все еще верила в Христиана как в короля, то уже как в супруге и как в мужчине она разочаровалась в нем окончательно. И нелады эти длились уже лет десять, хотя Христиан и Фредерика и сейчас еще производили впечатление

дружной пары. На вершине благополучия, в огромном дворце, при многочисленной прислуге, при этикете, увеличивающем расстояние и подавляющем чувства, такая ложь еще возможна. Но изгнание рано или поздно должно было обличить ее.

Вначале Фредерика надеялась, что тяжкое испытание образумит короля, что оно совершит в нем один из тех благодетельных переломов, которые превращают человека в победителя и героя. Но увы: в глазах Христиана она видела все сильней разгоравшийся пламень увлечения праздником жизни, ее головокружительностью, ее соблазнами, доступностью ее радостей, таинственностью похождений - пламень, зажженный Парижем, адским его фосфором. Если бы она пожелала разделить его увлечение, принять участие в этой бешеной скачке, закружиться в вихре парижской суеты, заставить говорить о своей красоте, о своем выезде, о своих туалетах, употребить все свое женское кокетство, чтобы польстить легкомысленному честолюбию мужа, то сближение было бы еще возможно. Но Фредерика была теперь королевой больше, чем когда бы то ни было: она не отказалась ни от одного из своих притязаний, не утратила ни одной из своих надежд; она вела ожесточенную борьбу издали, слала письмо за письмом своим иллирийским друзьям, выражала протесты, составляла загово-

ры, доказывала всем царствующим домам Европы, что они с Христианом ничем не заслужили постигшего их несчастья. Советник Боскович писал под ее диктовку, а в полдень, когда появлялся король, она сама давала ему корреспонденцию на подпись. Он подписывал, да, черт возьми, он подписывал все, что ей было угодно, но углы его рта насмешливо подергивались. Ему передался холодно-иронический скептицизм его окружения. Первые дни он был еще полон иллюзий, потом резкая перемена, свойственная натурам, бросающимся из одной крайности в другую, - и иллюзии сменились глубоким убеждением, что изгнание продлится до бесконечности. Вот отчего он с таким скучающим, с таким усталым видом слушал Фредерику, пытавшуюся заразить его своим воодушевлением, но вместо сосредоточенного взгляда всякий раз встречавшую его отсутствующий взгляд. Он рассеянно напевал какую-нибудь глупую песенку, которая к нему привязалась, а в глазах у него все время стояло видение минувшей ночи, голова все еще пьяно и сладко кружилась от испытанных только что наслаждений. Зато как облегченно вздыхал он, вырвавшись на улицу, как он мгновенно оживлялся и молодел,

сердце же королевы все сильнее щемили грусть и одиночество.

Не считая утренних занятий, не считая отправки коротких и красноречивых писем, долженствовавших поднять слабеющий дух и укрепить слабеющую преданность, единственным развлечением Фредерики было почитать что-нибудь из ее личной библиотеки, которую составляли мемуары, переписка, летописи, духовно-нравственные книги религиозно-философского содержания, да разве еще посмотреть, как играет в саду ее сын, и прокатиться верхом, но обычно - не дальше опушки Венсенского леса: ведь туда, хотя и замирая, все же долетали отголоски парижского шума, там кончалось крайнее убожество широко раскинувшегося предместья, а между тем Париж внушал Фредерике непреодолимый страх и неприязнь. Не чаще раза в месяц объезжала она с парадными визитами изгнанных государей. Радость свидания бывала, однако, безрадостной; Фредерика возвращалась домой в угнетенном состоянии духа. Коронованные особы гордо, с сознанием собственного достоинства несли бремя своего злополучия, но под этой гордостью угадывались полнейшее безразличие, полнейшая покорность; чувствовалось, что они примирились, что они притерпелись, что они свыклись с изгнанием и что они только пытаются скрасить его: одни - причудами, другие - детскими забавами, а третьи - и кое-чем похуже.

Самый достойный, самый величественный из всех низложенных властелинов - вестфальский король, несчастный слепой старик, производивший такое же трогательное впечатление, как и его дочь - белокурая Антигона, поддерживал внешний блеск, строго следил за тем, чтобы все правила придворного этикета неукоснительно соблюдались, но занимался он только собиранием табакерок и выставлял их в залах для того, чтобы ими могли полюбоваться другие, сам же он, по иронии судьбы, лишен был возможности наслаждаться своими сокровищами. Палермским королем от всяких напастей, от тоски, от безденежья, от семейных раздоров, от утраты единственного сына и связанных с ним надежд овладела столь же вялая безучастность. Он почти не бывал дома, так что для его жены семейный очаг превратился в очаг не только изгнания, но и вдовства. Зато галисийская королева, обожавшая роскошь, жившая только ради наслаждений, ничуть не умерила и в Париже своей взбалмошности - взбалмошности государыни, управлявшей страной с совершенно особыми нравами. А герцог Пальма время от времени снимал со стены мушкет и пытался перейти границу, но всякий раз бывал жестоко отброшен к убогой

праздности своей теперешней жизни. В сущности, не столько претендент, сколько контрабандист, он воевал ради денег и ради девочек, а на долю бедной герцогини оставались тревоги женщины, имевшей несчастье выйти замуж за одного из тех пиренейских разбойников, которых, если они не успеют убраться восвояси до рассвета, приносят домой на носилках. У всех этих низложенных владык был теперь на устах только один девиз, заменивший прежние звучные девизы их царствовавших домов: “К чему?.. Зачем?..” На порывы Фредерики, на ее призывы к деятельности наиболее учтивые отвечали улыбкой, женщины заговаривали о театре, о религии, о любовных похождениях, о модах, и мало-помалу бесшумное крушение идеи, непроизводительная растрата сил начали оказывать действие и на гордую далматинку. Окружение короля Христиана, который, кстати сказать, и не желал больше быть королем, и медленно росшего Цары повергало Фредерику в холодное отчаяние. Старик Розен целыми днями сидит у себя в кабинете и ни о чем с ней не говорит; княгиня - птичка, беспрестанно чистящая перышки; Боскович - большой ребенок; маркиза - сумасшедшая. Правда, остается еще о. Алфей, но этот суровый и грубый монах не в состоянии понять с полуслова ее душевный трепет, те страхи и сомнения, которые постепенно овладевают ею. А тут еще время года. Лес в Сен-Мандэ, летом - зеленый и цветущий, подобно парку - пустынный и тихий в будни, а по воскресеньям весь пронизанный гомоном веселящегося простонародья, к зиме, повитый трауром мокрых далей, заволоченный туманом, поднимавшимся от озера, приобретал унылый и жалкий вид заброшенных увеселительных мест. Вихри воронья кружились над почерневшими кустами, над высокими корявыми деревьями, вместе с голыми верхушками которых раскачивались сорочьи гнезда и косматые шапки омелы. Фредерика жила в Париже вторую зиму. Почему же эта зима казалась ей еще длиннее и безотраднее первой? Быть может, ей недоставало гостиничной кутерьмы, недоставало движения шумного и богатого города? Нет. Но в ней умалялась королева, а зато все решительнее заявляли о себе женские слабости, страдания разлюбленной жены, тоска чужестранки, вырванной из родной почвы.

Теперь она без всякого дела проводила целые дни в примыкавшей к большой зале застекленной галерее, которую она превратила в зимний сад, - в этом прохладном уголке, удаленном от домашней сутолоки, обитом светлыми обоями и уставленном зелеными растениями, - и смотрела на овражистый сад, на переплет тонких веток, крестообразными штрихами, точно на офорте, вырезывавшихся на сером небе вперемежку со стойкой

листвой остролиста и самшита, сохранявших темную зелень и под снегом, белизну которого они прорывали остриями своих ветвей. Вода, бившая из трех поставленных одна на другую чаш фонтана, принимала холодно-серебристый оттенок. А за высокой оградой, отделявшей сад от авеню Домениля, вспугивая глухую тишину леса, растянувшегося на две мили в длину, время от времени проносились, свистя, паровые трамваи, оставляя за собой длинную струю дыма, до того неохотно таявшую в желтом воздухе, что Фредерика могла долго за ней следить, и она пропадала на ее глазах так же медленно и бесцельно, как проходила жизнь самой Фредерики.

Первый урок королевскому отпрыску Элизе Меро дождливым зимним утром дал именно здесь, в приюте грусти и мечтаний королевы, и приют ради этого превратился в классную комнату: на столе разложены книги и папки; свет - как в мастерской или же в школе; на королеве скромное черное суконное платье, облегающее ее высокую фигуру, перед ней лакированная рабочая шкатулка; учитель и ученик одинаково смущены, одинаково взволнованы первой встречей. Маленький принц смутно помнил эту огромную, блестящую, как вороново крыло, голову, которую ему показали в ночь под Рождество, в молитвенном полумраке церковного придела, и воображению мальчика, населенному волшебными сказками г-жи Сильвис, тотчас представилось, что это великан Робистор или же чародей Мерлин. Элизе был не меньшим фантазером, и в этом хилом мальчугане, болезненном и старообразном, с уже морщинистым лбом, - мальчугане, как бы прожившем вместе со своим родом все его шестьсот лет, - он предугадывал будущего властелина, вождя людей и народов, и говорил ему дрожащим от переполнявших его высоких чувств голосом:

- Ваше высочество! Со временем вы будете королем… Вам нужно знать, что такое король… Слушайте меня внимательно, смотрите на меня тоже внимательно. Что недостаточно ясно выразят мои уста, то доскажет мой почтительный взгляд.

И, приноравливаясь к младенческому разуму наследника, выбирая доступные его пониманию слова и образы, он объяснял ему догму Божественного права, объяснял, каково назначение королей на земле, внушал ему, что короли - посредники между Богом и народом, что на них с детства лежат такие обязанности и такая ответственность, каких простые смертные не знают… Трудно предположить, чтобы малолетний принц

усваивал все, о чем ему толковали, но, быть может, он ощущал то животворное тепло, которым садовники, ухаживая за редким растением, окутывают его тонкое волокно, его нежные почки. А королева, склонившись над вышиваньем, с восторженным изумлением впивала в себя каждое слово Элизе, - ведь она столько лет страстно ждала этой речи, эта речь отвечала ее заветным стремлениям, она к ним взывала, она пробуждала их. Королева так долго мечтала в одиночестве! Для многого, для многого из того, что она сама не сумела бы высказать, Элизе находил точное выражение! Она уже смотрела на него, как смотрит безвестный композитор, произведения которого до сих пор не исполнялись, на дивного истолкователя своего творения. Даже наиболее смутные чувства, которые в ней возбуждала увлекавшая ее идея монархии, облекались в плоть и кровь, изъяснялись великолепно и до того просто, что ребенок, малый ребенок, способен был бы понять эти чувства почти во всей их глубине. Королева разглядывала этого человека, разглядывала его крупные черты, одухотворенные верой и красноречием, и по контрасту ей рисовалось красивое равнодушное лицо Христиана, его нерешительная улыбка, ей слышалось неизменное “Зачем?” всех этих развенчанных королей, слышалась пустая болтовня в будуарах государынь. А этот плебей, сын ткача, - его биография была ей известна, - восстанавливал утраченную традицию, он сохранил не только самую святыню, но и ее раку, сохранил священный огонь, и отсветы этого огня трепетали в его пламенных речах и озаряли его черты. Ах, если бы Христиан был на него похож! Они сидели бы еще на престоле или по крайней мере оба погибли бы, погребенные под его обломками… Странно! Она ничего не могла поделать с этим своим состоянием завороженности, не могла отделаться от впечатления, что голос и облик Элизе ей знакомы. Из какого тайника ее памяти, из какого незримого изгиба ее души возникал этот лоб гения, возникал звук этого голоса, отзывавшийся во всем ее существе?..

Теперь учитель принялся расспрашивать своего ученика, но не для того, чтобы проверить его знания - увы! ученик ничего не знал или, вернее, знал очень мало, - а чтобы установить, с чего лучше начать преподавание. Маленький принц отвечал только: “Да, господин учитель!” или “Нет, господин учитель!”, старательно выговаривая эти слова с застенчивой приветливостью мальчика, которого воспитывают женщины и у которого из-за этого затянулось младенчество. Бедный мальчуган пытался все же

извлечь из-под груды разнообразных познаний, коими его наградила маркиза Сильвис, сведения по всеобщей истории, которые перепутались у него в голове с приключениями карликов и фей, мелькавших в его детском воображении, где все было приспособлено для феерических представлений. Королева молча поощряла, ободряла, подпирала его своей душой. Так, если к перелету ласточек самый маленький птенчик еще не научился летать, мать предоставляет ему опору в виде собственных крыльев. Когда сын запинался, искрометный взгляд аквамариновых глаз Фредерики мрачнел, как море перед грозой. Но если сын отвечал удачно, с какой ликующей улыбкой смотрела она тогда на учителя! Давно не испытывала она такого полного удовлетворения, давно не была она так счастлива. На худеньком восковом личике Цары, личике слабого ребенка, вновь заиграла краска. Перед волшебной силой этого красноречия исчезала даже грусть, которой полна была природа, - оставалось лишь то величественное и захватывающее, что есть в бескрайней наготе зимы. Воплощенное внимание, королева облокотилась на стол и всем корпусом подалась вперед, как бы навстречу будущему, в котором король-младенец грезился ей празднующим свое возвращение в Любляну, а Элизе, охваченный внутренней дрожью, очарованный тем, как на его глазах преобразился весь облик королевы, не догадываясь, что виновник преображения - он, смотрел на ее прекрасный смуглый лоб, на который крестообразно ложились теневые пятна от ее тяжелых кос, и эти туго заплетенные и уложенные вокруг головы косы представлялись ему королевской диадемой.

Во всех комнатах пробило полдень, а урок еще не кончился. В главной зале, где малочисленный двор собирался по утрам перед завтраком, слышался шепот удивления, - отчего это король и королева до сих пор не появляются? Разгулявшийся аппетит и незаполненность минут ожидания трапезы примешивали к этим перешептываниям оттенок досады. Боскович, бледный от голода и холода, битых два часа бродивший по лесу в поисках позднего цветка, отогревал руки у высокого мраморного камина, сделанного в виде церковного престола, - перед этим камином о. Алфей по воскресеньям служил иногда мессу. Маркиза, чопорная, важная, в зеленом бархатном платье, сидела на диване с краю и, изливаясь княгине Колетте, с трагическим видом покачивала головой, которую поддерживала длинная худая шея, закутанная в боа. Бедная женщина была в отчаянии, что у нее

отняли воспитанника и доверили этому… этому настоящему… Она видела его рано утром, когда он шел по двору.

- Вы бы, душенька, его испугались… Волосы длинные, вот до сих пор, вид сумасшедшего… Только отец Алфей способен на такие находки.

- Говорят, он очень образованный человек… - поглощенная своими мыслями, рассеянно заметила княгиня.

Маркиза подпрыгнула… Очень образованный. Очень образованный! Королевский сын не словарь, чтобы его набивать греческими и латинскими словами…

- Нет, нет! Видите ли, детка, такого рода воспитание требует особых знаний… У меня эти знания есть. Я специально готовилась. Я изучала трактат аббата Диге “Воспитание наследного принца”. Я знаю наперечет различные способы узнавать людей, какие он указывает в своей книге, способы избегать льстецов. Способов узнавать людей всего шесть, способов избегать льстецов он насчитывает семь. Я вам их сейчас назову по порядку…

И она тут же принялась перечислять их княгине, но княгиня не слушала ее: сидя на пуфе, которого не было видно за треном ее сшитого по последней моде бледно-голубого платья, она нервничала, злилась и с сердитой миной хорошенькой женщины, которая нарядилась для кого-то, а он не идет и не идет, все поглядывала, мигая слегка подведенными ресницами, на дверь в покои короля. Старый герцог Розен, затянутый в двубортный мундир, прямой, как палка, прохаживался по зале автоматическим, мерным, точно ход маятника, шагом, останавливаясь то у одного, то у другого окна и исподлобья озирая двор и сад, - сейчас он был

похож на вахтенного офицера, отвечающего за правильность курса и безопасность судна. И надо сказать, что наружный вид корабля не оставлял желать лучшего. Кирпичные службы, интендантский флигель - все это блестело, вымытое дождем, капли которого прыгали на сверкавших чистотой крыльцах и по гравию дорожек. Несмотря на ненастный день, от чистых строений положительно исходил свет и отражался даже в большой зале, которой придавало особый уют тепло ковров и калориферов и которую оживляла белая с золотом мебель в стиле Людовика XVI, с классическими украшениями, повторявшимися на рамах панно и зеркал, а зеркала тут были большие, и на фоне одного из них красовался державшийся на лентах небольшой золоченый герб. В углу этой поместительной комнаты на полке того же стиля, под прозрачным колпаком лежала диадема, спасенная во время крушения. Положить ее туда распорядилась Фредерика. “Пусть это служит напоминанием!” - сказала она. И, невзирая на насмешки Христиана, находившего обстановку залы старомодной, а самую залу называвшего музеем вытуренных государей, великолепная средневековая диадема с переливающимися драгоценными камнями, оправленная в старинное золото, волнистое и ажурное, сообщала кокетству XVIII века и вкусовой пестроте нашего времени оттенок рыцарской старины.

Скрип колес катившейся по песку кареты возвестил о приезде адъютанта. Кто-то, во всяком случае, приехал.

- Поздно являетесь на службу, Герберт, - строго заметил Розен.

Князь, этот громадный детина, все еще трепетавший перед отцом, покраснел и пробормотал извинения: ему, конечно, очень неприятно… но он не виноват… всю ночь на службе…

- Ах, вот почему король не идет завтракать! - сунув свой чуткий носик в разговор отца с сыном, догадалась княгиня.

Грозный взгляд герцога заставил ее прикусить язычок: поведение короля никого не касалось.

- Идите скорей. Его величество, наверное, ждет вас.

Герберт повиновался, так и не вызвав улыбки на лице его любимой Колетты, ибо его приход отнюдь не рассеял ее дурного расположения духа, заставлявшего ее, сидя на диване, поминутно встряхивать своими хорошенькими букольками, которые пришли от этого в беспорядок, и теребить своей детской ручкой голубое платье, которое от этого смялось. А между тем за последние месяцы князь Герберт стал интересным мужчиной. Его жена заявила, что, поскольку он теперь адъютант, ему необходимо отпустить усы, и усы придавали необычайно воинственное выражение его добродушному лицу, осунувшемуся и побледневшему от бессонницы и от тягот адъютантской службы… Потом, он все еще прихрамывал и опирался на тросточку, как истинный герой осады Дубровника, о которой он только что написал мемориал, сделавшийся знаменитым еще до выхода в свет: сам автор прочел его однажды вечером у палермской королевы, заслужив шумные рукоплескания света и получив твердое обещание, что ему дадут академическую премию. Вообразите себе, какое блестящее положение завоевал благодаря этому супруг Колетты, каким весом он начал пользоваться в обществе! Впрочем, это не мешало ему оставаться все таким же славным малым, простодушным и застенчивым - особенно в присутствии княгини, продолжавшей выказывать ему самое очаровательное пренебрежение. Вот лишнее доказательство, что в глазах своей жены ты никогда не будешь великим человеком.

- Ну? Что там еще? - видя, что Герберт вернулся растерянный и встревоженный, довольно резко спросила Колетта.

- Король еще не возвращался!

Эти слова Герберта подействовали на сидевших в зале как электрический разряд. Колетта, сильно побледнев, со слезами на глазах, первая нашла в себе силы заговорить:

- Как же так?

- Не возвращался!.. - отрывисто произнес герцог. - Почему же никто мне об этом не сказал?

Боа г-жи Сильвис судорожно поднималось и стягивалось вокруг ее шеи.

- Уж не случилось ли с ним чего-нибудь?.. - в чрезвычайном волнении выговорила княгиня.

Герберт успокоил ее: камердинер Лебо час тому назад выехал к королю с чемоданчиком; вернется и все расскажет.

В наступившем затем молчании реяла общая беспокойная мысль, которую внезапно выразил вслух герцог Розен:

- Что скажет королева?

- Его величество, наверно, поставил ее в известность… - дрожа от озноба, заметил Боскович.

- Я уверена, что нет, - возразила Колетта. - Королева только что говорила, что за завтраком она представит королю нового учителя. - Тут ее всю передернуло, и она добавила сквозь зубы, однако достаточно громко, чтобы ее слышали другие: - Я бы на месте королевы церемониться не стала.

Герцог, сверкая глазами, в негодовании обернулся, - он никак не мог обтесать эту мещаночку и сейчас, вероятно, собирался преподать ей хороший урок почтения к монархам, но тут вошли королева и Элизе, который вел за руку своего царственного воспитанника. Все встали. Фредерика с обворожительной улыбкой счастливой женщины, - такой улыбки давно не появлялось на ее лице, - представила господина Меро… Надо было видеть, как насмешливо и свысока поклонилась ему маркиза, - недаром она целую неделю репетировала этот поклон. А княгиня оцепенела… Из бледной она стала багровой: она узнала в новом наставнике того самого чудаковатого верзилу, рядом с которым она завтракала у дяди и который написал книгу за Герберта. Как он сюда попал: случайно или благодаря чьим-то адским козням? Какой позор для ее мужа, каким он сделается посмешищем, когда обнаружится плагиат! Элизе поклонился ей сухо, хотя узнал наверняка, и это ее несколько успокоило. “Он неглуп”, - решила она. К несчастью, все испортила наивность Герберта, его изумление при виде наставника, та фамильярность, с какою он пожал ему руку и сказал: “Здравствуйте! Как поживаете?”

- Так вы знакомы? - спросила королева и улыбнулась не без ехидства, - историю “Мемориала” она знала от своего капеллана.

Однако по своей доброте Фредерика не могла долго забавляться жестокой игрой.

- Король, по-видимому, забыл про нас… - заметила она. - Напомните ему, господин Розен.

Пришлось сказать ей всю правду, то есть что короля нет, что он ночевал не дома, пришлось сообщить и про чемоданчик. С королем это случилось впервые, - вот почему, зная горячий и гордый нрав королевы, можно было ожидать от нее вспышки, тем более что присутствие постороннего лица усугубляло вину короля. Но нет. Королева была невозмутима. Она только спросила адъютанта, когда он в последний раз видел Христиана.

Адъютант видел его в три часа утра… Его величество шел по бульвару с его высочеством принцем Аксельским.

- Ах да, правда!.. Я и забыла… Им надо было поговорить.

Спокойный тон королевы свидетельствовал как бы о том, что она окончательно овладела собой. Но это никого не обмануло. Все знали, кто такой принц Аксельский, и ясно представляли себе, о чем можно говорить с этим низко павшим высочеством, с этим зловредным кутилой.

- Пойдемте к столу, - сказала Фредерика, по-прежнему пытаясь сохранить спокойствие и царственным жестом призывая к тому же и как бы на этом объединяя узкий круг своих приближенных.

Чтобы пройти в столовую, ей нужен был кавалер. Король отсутствовал, и она заколебалась. Внезапно она обернулась к наследнику - тот своими большими, все понимающими глазами больного и не по летам наблюдательного ребенка следил за этой сценой - и с глубокой, пожалуй,

даже почтительной нежностью в голосе, улыбаясь ему торжественной улыбкой, какой он никогда прежде не замечал у матери, проговорила:

- Идемте, государь.

IV

Король прожигает жизнь

На колокольне Св. Людовика-на-Острове бьет три часа ночи.

Окутанный сумраком и тишиной, особняк Розена спит тяжким сном своих старых, грузных, осевших от времени каменных стен, своих массивных сводчатых дверей со старинным молотком. За закрытыми ставнями в потускневших зеркалах отражается сон минувших столетий, и то, что легкой кистью написано на потолке, представляется грезами этого сна, а близкий плеск воды напоминает чье-то слабое, прерывистое дыхание. Но крепче всех в доме спит князь Герберт: он вернулся из клуба всего лишь четверть часа назад, усталый, разбитый, проклиная изнурительный образ жизни гуляки поневоле, отнимающий у него то, что ему дороже всего на свете, - лошадей и жену: лошадей, потому что жизнь спортсмена, жизнь на чистом воздухе, вечно в движении, не доставляет королю ни малейшего удовольствия, а жену, потому что король и королева живут отчужденно, видятся только за обеденным столом, и этот разрыв отражается и на супружеских отношениях адъютанта и фрейлины: они разобщены, как наперсники двух врагов в трагедии. Княгиня уезжает в Сен-Мандэ задолго до того, как просыпается ее супруг; ночью, когда он возвращается домой, она уже спит, и дверь в ее спальню заперта на ключ. Если же он изъявляет по этому поводу неудовольствие, Колетта, напустив на себя важность, между тем как во всех ямочках на ее лице играет едва уловимая улыбка, изрекает: “Мы должны идти на эту жертву ради государыни и государя”. Нечего сказать, убедительная отговорка для

влюбленного в свою жену Герберта, который остается совершенно один в громадной, высотой в четыре метра, комнате на втором этаже, с простенками, расписанными Буше, с высокими, вделанными в стену зеркалами, в которых без конца повторяется его отражение.

Впрочем, иной раз, когда, как, например, сегодня, муж Колетты еле держался на ногах от усталости, ему доставляло чисто эгоистическое наслаждение без всяких объяснений с супругой вытянуться на кровати и, вернувшись к привычкам неженки-холостяка, обмотать вокруг головы шелковый, необъятных размеров платок, в который он никогда бы не отважился вырядиться в присутствии парижанки с насмешливыми глазами. Едва добравшись до постели и уронив голову на подушку с вышитым на ней гербом, адъютант, этот измученный полуночник, чувствовал, как под ним откидывается некий люк, и он падал в бездну забытья и отдохновения. Но сегодня его внезапно извлекают из бездны резкое ощущение света, которым водят у него перед глазами, и чей-то тонкий голосок, буравчиком сверлящий его слух:

- Герберт!.. Герберт!..

- А? Что?.. Кто это?

- Да тише вы, ради бога!.. Это я, Колетта.

В самом деле, у его кровати стоит Колетта в кружевном пеньюаре с открытой шеей, с разрезами на рукавах, с собранными и небрежно уложенными на затылке волосами, с буйной порослью белокурых завитков на шее, вся облитая молочно-белым светом ночника, и при этом свете резко выделяются ее глаза: их зрачки расширило торжественное выражение, но вдруг в них загораются искорки смеха при взгляде на растерянного Герберта, голова которого со встопорщенными усами, похожая на голову драчливого обывателя, разбуженного в то время, когда ему снится страшный сон, вылезает из ночной сорочки, длинной и широкой, как одежда архангела, и которому придает особенно глупый вид съехавший набок платок с грозно торчащими концами. Веселость княгини длится, однако, недолго. Сделавшись серьезной, она с решимостью женщины, которая пришла устроить сцену, ставит ночник на столик и, не обращая внимания на то, что князь еще не совсем проснулся, складывает на груди ручки, так что пальцы касаются ямочек на локтях, и начинает:

- Что же это за жизнь, а?.. Раньше четырех часов домой не являться!.. Как не стыдно?.. А еще женатый человек!..

- Но, моя дорогая… - Тут Герберт срывает с головы шелковый платок и швыряет куда попало. - Разве это моя вина?.. Я бы рад был возвращаться как можно раньше к моей маленькой Колетте, к моей ненаглядной женушке, которую я так…

Он пытается притянуть к себе пеньюар, в снежной белизне которого есть для него что-то влекущее, но Колетта весьма нелюбезно отводит его руки.

- Да речь совсем не о вас!.. Пожалуйста, не воображайте. Вас-то все знают, вас все почитают за пай-мальчика, не способного ни на какую… А если бы дело обстояло иначе, я бы вам показала!.. Но король, с его положением!.. Он так себя ведет, что скоро его имя станут трепать на всех перекрестках!.. Добро бы еще он был свободен, холост… Холостые мужчины должны развлекаться… Хотя и тут высокое достоинство, гордость изгнанника… (Надо было видеть маленькую Колетту в туфельках на высоких каблуках, рассуждавшую о гордости изгнанника!) Но ведь он женат. Я отказываюсь понимать королеву… Это не женщина, а рыба!

- Колетта!..

- Да, да, я знаю… Вы все повторяете за своим отцом… Что бы королева ни сделала… А по-моему, она виновата не меньше его… Она довела его до этого своей холодностью, своим равнодушием…

- Королева не холодна - она горда.

- Перестаньте! Разве можно быть гордым с тем, кого любишь?.. Если б она его любила, первая же ночь, которую он ночевал не дома, была бы последней. Тут надо усовещевать, грозить - словом, надо показать характер. Только не это малодушное молчание перед лицом таких поступков, которые способны разорвать вам сердце на части… А ведь король проводит все ночи на бульварах, в клубах, у принца Аксельского, бог знает с кем!

- Колетта!.. Колетта!..

Да, попробуйте остановить Колетту, когда она разошлась: ведь она

болтлива, как все мещанки, воспитывавшиеся в будоражащем Париже, где даже куклы - и те говорят.

- Эта женщина никого не любит, я вас уверяю, даже собственного сына… Иначе разве она доверила бы его этому дикарю?.. Они совсем заучат бедного мальчика!.. Он даже ночью, во сне, отвечает латинский урок, без конца говорит, говорит… Это мне маркиза рассказывала… Королева не пропускает ни одного урока… Они вдвоем насели на малыша… Все это, видите ли, необходимо будущему королю!.. Да прежде чем он станет королем, они его уморят!.. Ох, уж этот ваш Меро, я его ненавижу!

- Да нет же, он славный малый… Он мог бы мне страшно напакостить в связи с этой книгой… А он никому ни слова.

- Вы так думаете? А я клянусь, что, когда вас поздравляют при королеве, она смотрит на вас и как-то странно улыбается… Но ведь вы же известный простачок, мой милый Герберт!

По обиженному виду мужа, внезапно покрасневшего и, словно капризное дитя, надувшего губки, княгиня догадывается, что зашла слишком далеко, - так она, пожалуй, не достигнет своей цели. Но как можно выдержать характер с этой очаровательной женщиной, сидящей на кровати вполоборота к нему, в кокетливой позе, подчеркивающей изящество ее молодого, ничем не стесненного, прикрытого кружевами стана, гладкую округлость шеи, лукавство и задорность взгляда, пробивающегося сквозь ресницы! Добродушная физиономия князя вновь приобретает умиленное выражение, даже как-то особенно оживляется от теплого прикосновения маленькой ручки, которая отдана ему теперь во власть, от тонкого благоухания любимой женщины… Да, так что же интересует маленькую Колетту?.. Сущий пустяк, просто ей хочется кое о чем расспросить Герберта… Есть ли у короля любовницы?.. Что его гонит из дому: страсть картежника или самая жажда развлечений, любовь к сильным ощущениям?.. Адъютант колеблется. Сподвижник короля на полях всех битв, он не решается выдать профессиональную тайну. А между тем эта маленькая ручка так ласкова и в то же время так настойчива и так любопытна, что адъютант Христиана II в конце концов сдается:

- Ну да, у короля есть любовница.

В ту же минуту рука его чувствует, что ручка Колетты становится влажной и холодной.

- Кто же она? - резким, прерывающимся от волнения голосом произносит молодая женщина.

- Певичка из Комедии-буфф… Ами Фера.

Колетта хорошо знает Ами Фера, - этакая уродина!

- Не беспокойся! Это ненадолго, - оправдывающимся тоном говорит Герберт.

- Правда? - с явным удовлетворением в голосе спрашивает Колетта.

Тогда Герберт, окрыленный успехом, отваживается потрогать атласный бант, колышущийся у выреза пеньюара, и продолжает небрежно:

- Да, боюсь, что не сегодня завтра бедная Ами Фера получит уистити.

- Уистити?.. Что это значит?..

- Да, да, уистити! Я, как и все приближенные короля, давно уже заметил, что, когда какая-нибудь связь ему приедается, он на прощание посылает одну из своих обезьянок… Это его манера показывать язык той, которую он разлюбил…

- Не может быть! - восклицает негодующая княгиня.

- Истинная правда!.. В клубе вместо “бросить любовницу” говорят “послать ей уистити”…

Он останавливается на полуслове, оттого что княгиня неожиданно срывается с места, схватывает ночник и с гордо поднятой головой направляется к выходу.

- Куда ты?.. Колетта!.. Колетта!..

Она оборачивается с надменным видом, задыхаясь от бешенства:

- Я больше не могу… Меня тошнит от ваших гадостей.

С этими словами она скрывается за портьерой, а злосчастный король золотой молодежи, протянув руки, с сильно бьющимся от возбуждения сердцем, ошалело смотрит ей вслед, - он никак не может постичь причину этого неурочного прихода и молниеносного исчезновения. Судорожно сжимая и комкая развевающийся трен пеньюара, той стремительной походкой, какой уходят со сцены разгневанные героини, Колетта идет к себе в комнату в противоположном конце дома. На кушетке, облюбовав себе подушку с восточным узором, спит серенький, шелковистый, чудесный зверек; шерстинки у него как перышки, хвост длинный, пушистый, вокруг шеи - розовая ленточка, на ленточке серебряный бубенчик. Это прелестный уистити, которого несколько дней назад в корзине из итальянской соломы прислал ей король, и подарок короля она приняла с благодарностью. Ах, если б она догадывалась о значении подобного подношения! В порыве ярости она схватывает этот клубок живой царапающейся шерсти, в котором мгновенно вспыхивают, проснувшись, два человеческих глаза, отворяет окно на набережную и с дикой злобой вышвыривает его:

- Вот тебе!.. Мерзкая тварь!

Обезьянка падает прямо на пристань. Но не она одна исчезает и гибнет в ночи, - гибнет столь же хрупкая и прихотливая мечта бедной маленькой женщины, и женщина падает на кровать, утыкается головой в подушку и беззвучно рыдает.

Их роман длился около года, а для такого ветреного ребенка, как король, это была целая вечность. Ему стоило поманить ее пальцем. Ослепленная, очарованная, Колетта Розен упала в его объятия, хотя до той поры она вела себя безукоризненно, но не из любви к мужу и не потому, чтобы она была уж очень добродетельна, а потому, что в этом птичьем мозгу постоянно жила забота о чистоте перышек, предохранявшая ее от грязнящих падений, а еще потому, что она была настоящая француженка, из той породы женщин, по поводу которых Мольер задолго до современных психологов заметил, что темперамент заменяют им пылкое воображение и тщеславие.

Не Христиану, а королю Иллирии отдалась маленькая Совадон. Она пожертвовала собой ради некой воображаемой диадемы, которая сквозь легенды, сквозь все вычитанное в плохих романах рисовалась ей в виде ореола над себялюбивым и увлекающимся Христианом. Она же нравилась

ему до тех пор, пока он видел в ней новенькую, хитро раскрашенную игрушку, игрушку парижскую, которая должна была обучить его более пряным утехам любви. По своей бестактности она приняла положение “королевской фаворитки” всерьез. В ее честолюбивых мечтах проносились образы полулегендарных женщин, сверкали поддельные драгоценные камни, которые ярче блестят в королевских коронах, чем настоящие. Роль Дюбари при этом потерпевшем крушение Людовике XV ее не удовлетворяла, - ей хотелось быть Шатору. Планы захвата власти в Иллирии, заговоры, которые создадутся по манию ее веера, покушения, героические высадки десантов - вот о чем она часто беседовала с Христианом. Она уже представляла себе, как она подстрекает народ к мятежу, как она прячется в хлебах и на фермах, вроде одной из тех знаменитых вандейских разбойниц, о приключениях которых ее заставляли читать в монастыре Сердца Христова. Она уже придумала себе костюм пажа, - вообще костюм играл главную роль в ее фантазиях, - премилый костюмчик пажа эпохи Возрождения, благодаря которому она сможет в любое время видеться с королем, находиться в его постоянной свите. Королю претила восторженная мечтательность Колетты; его трезвый ум быстро обнаруживал в ней фальшь и бессмыслицу. Да и потом, любовница была нужна ему вовсе не для того, чтобы толковать с ней о политике, и когда маленькая Колетта с розовой мордашкой и нежными лапками, сидя у него на коленях, вдруг заводила разговор о недавних решениях люблянского сейма или о том, какое впечатление произвело на умы последнее воззвание монархистов, то его, в минуту полного самозабвения и любовного бреда, бросало в озноб: так внезапное похолодание, так апрельские заморозки убивают цвет на плодовых деревьях.

С некоторых пор его стали мучить сомнения и угрызения совести - сложные и наивные угрызения совести славянина и католика. Прихоть его была удовлетворена, и он уже начинал понимать, как постыдна эта связь почти на глазах у королевы, начинал сознавать опасность тайных, мимолетных свиданий в гостиницах, где их инкогнито легко могло быть открыто, сознавать жестокость, какую он совершил, обманув милого бедного верзилу Герберта, который всегда говорил о своей жене с неубывающей нежностью и у которого не закрадывалось никаких подозрений, когда в клубе появлялся король и глаза у него горели, щеки пылали и весь он бывал овеян благоуханием успеха - благоуханием объятий Колетты. Но особенно его стеснял герцог Розен, не веривший в нравственность своей невестки, женщины не его круга, беспокоившийся за

сына, у которого, по его мнению, была голова “рогоносца”, - он употреблял это слово не стесняясь, с бесцеремонностью старого вояки, - и считавший себя ответственным за его семейное счастье, ибо породниться с этой мещанкой герцога вынудила только его алчность. Он старался держать Колетту в поле зрения, утром отвозил ее, вечером привозил; он с удовольствием не отпускал бы ее от себя ни на шаг, но благодаря своей гибкости она выскальзывала из его больших загрубелых рук. Между ними шла молчаливая борьба. Сидя за письменным столом у себя в интендантстве, герцог часто не без досады смотрел в окно: вот его хорошенькая невестка в прелестном туалете, который она долго обдумывала со своим знаменитым портным, притулилась в карете, - сквозь запотевшее стекло видно ее розовое от холода лицо, - а вот она, если день солнечный, под зонтиком с оборкой.

- Вы уезжаете?

- По поручению королевы! - с победоносным видом отвечала ему из-под вуали маленькая Совадон, и это была правда: Фредерика избегала сливаться с парижской сутолокой и всюду охотно посылала свою фрейлину, - она была не настолько тщеславна, чтобы испытывать удовольствие, сообщая о том, что она королева такая-то, модному поставщику в присутствии угодливых приказчиков и мучительно любопытных покупательниц. Вот почему она не пользовалась известностью в свете. В салонах никто никогда не говорил о том, с каким отливом у нее волосы или глаза, о величавости ее слишком прямого стана, о той свободе, с какой она применяла парижские моды к своей фигуре.

Однажды утром перед отъездом в Сен-Мандэ герцог заметил, что Колетта при ее всегдашней возбужденности, характерной для того типа гризеток, к которому она принадлежала, как-то делано серьезна, и он инстинктивно, безотчетно, - такие внезапные предчувствия бывают у заядлых охотников, - начал за ней следить, следил долго, очень долго, и в конце концов следы привели его к известному ресторану на набережной Орсе. Благодаря своей ловкости и изобретательности княгиня отвертелась от чопорной трапезы у королевы и поехала со своим любовником завтракать в отдельном кабинете. Они сидели у низкого окна, из которого вырезывался дивный вид: Сена, позлащенная солнцем, на том берегу - каменная громада и купы деревьев Тюильри, а совсем близко - скрещенные реи учебного судна: они виднелись сквозь густую зелень деревьев, росших

на самом краю набережной, которую торговавшие здесь оптики усыпали кусочками синего стекла. Погода - как раз для свиданий: чудный жаркий день, охлаждаемый порывами ветра. Никогда еще Колетта не смеялась так от души, как в то утро, - смех представлял собою жемчужный венец ее обаяния, и Христиан, обожавший ее, когда ей нравилось быть только женщиной, созданной для веселья, - именно эту женщину он в ней и любил, - наслаждался вкусным завтраком и обществом своей любовницы. Вдруг она обратила внимание, что на той стороне мерным шагом расхаживает взад и вперед по тротуару ее свекор, видимо, приготовившийся ждать до бесконечности. Это был пост у двери, которую старик считал единственным выходом из ресторана и в которую у него на глазах входили кавалерийские офицеры, красивые, подтянутые, стройные, - неподалеку от ресторана находилась их казарма, - а между тем герцог Розен, как бывший пандурский генерал, был убежден, что один вид военного действует на женщин неотразимо, и теперь уже не сомневался, что его невестка завела интрижку со шпорами и ташкой.

Колетта и король испытывали сильнейшее беспокойство, напоминавшее страх естествоиспытателя, взобравшегося на пальму, у подножья которой разевает пасть крокодил. Зная, что прислуга здесь неподкупна и болтать не станет, они были уверены по крайней мере в том, что крокодил к ним не прыгнет. Но как отсюда выйти? Король был еще в лучшем положении: он располагал временем, чтобы досидеть до тех пор, пока у этого зверя не истощится терпение. Но Колетта!.. Королева будет ждать ее и, пожалуй, тоже заподозрит неладное. Христиан позвал ресторатора и рассказал ему все как есть; тот долго раскидывал умом, сначала не мог придумать ничего лучше, как пробить стену соседнего дома, точно дело происходило во времена революции, но в конце концов ему пришел в голову гораздо более простой способ: княгиня вырядится пирожником, свое собственное платье и юбки вынесет в корзине на голове, а переоденется у буфетчицы, проживающей на одной из ближайших улиц. Колетта решительно воспротивилась: как это она предстанет перед королем в костюме поваренка? Однако из двух зол приходилось выбирать меньшее, и только что отглаженный костюм, рассчитанный на четырнадцатилетнего мальчика, превратил княгиню Розен, урожденную Совадон, в самого очаровательного, в самого кокетливого из всех мальчишек-разносчиков, какие бегают по Парижу в часы, отведенные чревоугодию. Но как далек был этот белый полотняный колпак, туфли подростка, спадавшие с ног, и, наконец, куртка, в карманах которой звенели чаевые, от кинжала с

перламутровой рукоятью и высоких сапог - словом, от костюма пажа, в котором она мечтала сопровождать своего Лару!.. Герцог не усмотрел ничего подозрительного в двух разносчиках с корзинами на голове, от которых так вкусно пахло горячим тестом, что он сразу почувствовал первые жестокие приступы голода, - бедняга с утра ничего не ел! А наверху король, все еще осажденный, но избавившийся от тяжкой заботы, почитывал газеты, попивал редерер и время от времени выглядывал из-за занавески, не исчез ли крокодил.

Вечером, когда старик Розен вернулся в Сен-Мандэ, княгиня встретила его с самой невинной улыбкой. Он понял, что его провели, и даже не заикнулся об этом происшествии. Тем не менее оно получило огласку. Кто знает, через какие щели в гостиных или в передних, через опущенное окно какого купе, через какое эхо, отраженное глухою стеной с никогда не отворяющимися дверями, распространяется по Парижу скандальный слух, сначала втихомолку, а затем громогласно, то есть попадая на первую страницу светского листка и обращаясь уже сразу ко многим, достигая множества ушей, из забавного анекдота, рассказанного в клубе, превращаясь в великое позорище? Целую неделю весь Париж смеялся над приключением маленького разносчика. Имена в силу того, что это были имена высоких особ, произносились шепотком и так и не проникли сквозь толстую кожу Герберта. Однако до королевы, по-видимому, что-то дошло, - после тяжелого объяснения в Любляне Фредерика ни разу не позволила себе сделать королю ни одного замечания, а тут вдруг однажды по выходе из-за стола она отвела его в сторону.

- Все только и говорят об одной скандальной истории, в которой замешано ваше имя… - не глядя на него, строго заговорила Фредерика. - О, не оправдывайтесь! Я ничего больше не желаю слышать… Но только подумайте о том, что вы призваны оберегать. - Она показала ему на корону, притушенно сверкавшую под хрустальным колпаком. - Постарайтесь вести себя так, чтобы ни бесчестье, ни глумление не коснулось ее… чтобы вашему сыну не стыдно было ее носить.

Все ли ей было известно? Подписала ли она мысленно настоящее имя под женской фигурой, которую полуобнажило злословие? Фредерика была сильная женщина, и она так хорошо владела собой, что никто из ее приближенных не мог бы это сказать наверное. Но Христиан воспринял слова королевы как предупреждение, и боязнь историй и сцен, потребность

этого слабохарактерного человека постоянно видеть, что на улыбку, в которой отражается вся его беззаботность, ему тоже неизменно отвечают улыбкой, вынудили его достать из клетки самую красивую, самую ласковую из всех своих обезьянок и подарить ее княгине Колетте. Колетта написала ему, он не ответил; он как будто не замечал ни ее вздохов, ни грустных взглядов, - он продолжал говорить с ней тем небрежно-учтивым тоном, который так нравился женщинам, и наконец, избавившись от угрызений совести, мучивших его тем сильнее, чем быстрее шло на спад его увлечение, освободившись от любви Колетты, в своем роде не менее тиранической, чем любовь его жены, очертя голову кинулся в водоворот наслаждений, - выражаясь ужасным, расплывчатым, худосочным языком хлыщей, он только и делал что “прожигал жизнь”. В тот год это выражение было модным в клубах. Теперь, по всей вероятности, есть какое-нибудь другое. Слова меняются, зато неизменными и однообразными остаются знаменитые рестораны, где делаются дела, салоны, где много золота и цветов и куда публичные женщины высшего полета являются по приглашению к таким же, как и они; остается прежней раздражающая пошлость увеселений, для которых уже никогда не настанет обновление и которые вырождаются в оргии. Что не меняется, так это классическая глупость оравы хлыщишек и потаскушек, клише их жаргона и их остроумия, - их мир, несмотря на всю свою кажущуюся бесшабашность, не менее мещанский, не менее скованный условностями, чем тот, другой, не способен что-нибудь выдумать: это беспорядок в определенных рамках, это самодурство по программе сонной, одеревенелой скуки.

Король - тот по крайней мере прожигал жизнь с запалом двадцатилетнего юнца. Он утолял свою страсть удирать из дому, которая в первый же вечер по приезде в Париж погнала его в Мабиль, он удовлетворял свои желания, давно уже пробужденные в нем на расстоянии чтением некоторых парижских газет, ежедневно предлагающих вниманию читателей соблазнительное меню рассеянной жизни, пьесами, романами, рассказывающими о ней и, в расчете на провинциалов и на иностранцев, рисующими ее в розовом свете. Связь с г-жой Розен некоторое время удерживала его на обрыве доступного наслаждения, похожего на лесенки в ночных ресторанах: наверху они ярко освещены, застелены мягкими коврами; когда же настает предрассветный час - час мусорщиков и взломщиков, то чем ниже ты по ним спускаешься, тем сильнее тебя разбирает хмель, и чем ближе к открытым дверям, откуда несет холодом, тем они круче, а выводят они прямо к сточным канавам. Теперь Христиан

самозабвенно катился, летел вниз, раззадоривала же его и кружила ему голову сильнее, чем десертное вино, та малочисленная свита, та клика, которой он себя окружил: промотавшиеся дворянчики, подстерегавшие дурачков в сане королей, жуиры-газетчики, которым он платил за удовольствие прочитать о себе заметку и которые, гордясь своей близостью к знаменитому изгнаннику, водили его за кулисы, где артистки, оживленные, будившие в нем чувственность, с растекшимися румянами на эмалевых щеках, не спускали с него глаз. Легко овладев языком бульваров со всеми его словечками, с его пристрастием к преувеличениям, с его невыразительностью, он говорил как заправский пшют: “Шикарно, очень шикарно… Это гнусь… Ерундистика…”, но у него это выходило менее вульгарно благодаря иностранному акценту, который облагораживал этот жаргон, сообщал ему привкус чего-то цыганского. Особенно он любил слово “забавно”. Он употреблял его по всякому поводу, кстати и некстати. Пьеса, роман, события политические, события в частной жизни - все было забавно или незабавно. Это слово избавляло государя от необходимости думать.

Как-то ночью, в конце ужина, пьяная Ами Фера, которую это выражение раздражало, крикнула ему:

- Эй ты, Забавник, а ну-ка, скажи…

Такая фамильярность понравилась Христиану. По крайней мере хоть эта женщина вела себя с ним не как с королем. В благодарность он сделал ее своей любовницей, и, когда его связь с модной певицей кончилась, прозвище Забавника за ним все же осталось, как укрепилось за принцем Аксельским неизвестно почему данное ему прозвище Куриный Хвост.

Забавник и Куриный Хвост были друзья неразлучные; за всякого рода дичью они охотились вместе; их судьбы почти во всем, вплоть до будуарных приключений, оказались схожи: опала, которой подвергся наследный принц, была равносильна изгнанию. Принц старался проводить время изгнания как можно веселее и вот уже десять лет с бесшабашностью могильщика “прожигал жизнь” во всех бульварных кабачках. В особняке принца Аксельского на Елисейских полях иллирийскому королю была отведена комната. Сперва он там ночевал изредка, потом - столь же часто, как и в Сен-Мандэ. Эти отлучки, для которых всегда находились благовидные предлоги, ничуть не беспокоили королеву, зато княгиня

всякий раз впадала в мрачное отчаяние. Ее оскорбленное самолюбие, конечно, еще лелеяло надежду вновь завладеть непостоянным сердцем Христиана. Для этого она употребляла множество кокетливых изобретений, придумывала новые уборы, новые прически, следила за тем, чтобы сочетание фасона и цвета ее платья оттеняло игру красок на ее лице. И каково же бывало ее разочарование, когда король не появлялся к семи часам вечера, а Фредерика, с безоблачно-ясным взором объявив: “Его величество сегодня с нами не обедает”, - отдавала распоряжение поставить на почетное место высокий стульчик Цары! Возмущенная Колетта, вынужденная молчать и сдерживать досаду, ждала от королевы такой вспышки, которая отомстила бы за них обеих. Но Фредерика только чуть заметно бледнела и хранила царственное спокойствие, даже когда княгиня, со свойственной женщинам жестокой ловкостью подпуская шпильки, старалась раскрыть ей глаза на то, что делается в парижских клубах, на грубость мужских разговоров, на еще большую грубость забав, которые привлекают людей, выбившихся из колеи, отвыкших от семейного очага, на безумные проигрыши, из-за которых на игорных столах рушатся, как карточные домики, целые состояния, на сногсшибательные пари, которые записываются в особую, весьма любопытную книгу - книгу человеческой извращенности. Но все было напрасно: королеву эти колкости не трогали - она их не замечала, а может быть, просто не хотела замечать.

Она выдала себя только однажды - утром в лесу Сен-Мандэ, во время прогулки верхом.

Не сильный, но холодный, пронизывающий мартовский ветер морщил воду в озере и гнал рябь к еще неприютному, без единого цветка берегу. На голых кустах краснели оставшиеся от зимы ягоды, но уже там и сям показались первые почки. Лошади шли по тропе бок о бок, и хруст сухих веток под их копытами сливался в пустынном безмолвии леса со щеголеватым потрескиваньем новеньких ремней и звяканьем удил. Королева и Колетта, обе отличные наездницы, ехали медленно, зачарованные тишиной той переходной поры, когда обновление природы исподволь совершается и в небе, затянутом дождевыми тучами, и в земле, такой неожиданно черной после привычной белизны снегов. Впрочем, Колетта вскоре заговорила на свою любимую тему, как это она делала каждый раз, когда оставалась с королевой наедине. Она не осмеливалась открыто нападать на короля - она отыгрывалась на его окружении, на завсегдатаях Большого клуба, которых она знала и по рассказам Герберта,

и по парижской хронике, и уж разделывала их под орех, главным образом принца Аксельского… Право, она не понимает, как можно дружить с этим картежником и забулдыгой, который чувствует себя, как рыба в воде, только в дурном обществе, вечерами сидит на бульварах с девицами легкого поведения, напивается, как извозчик, с первым встречным, запанибрата с актерами на выходах. И это называется наследный принц! Очевидно, ему доставляет удовольствие унижать, позорить королевское достоинство.

Колетта все говорила, говорила, горячо, запальчиво, а королева с отсутствующим видом нарочито рассеянно трепала по холке свою лошадку и, как бы желая уйти от историй, которые ей рассказывала фрейлина, слегка подгоняла ее. Но Колетта не отставала:

- Впрочем, принцу Аксельскому есть с кого брать пример. Его дядюшка ведет себя ничуть не лучше. Подумать только: король путается с любовницами на виду у всего двора, на виду у своей жены!.. Какая жертвенная, какая рабская натура должна быть у королевы, если она способна переносить подобные оскорбления!

На этот раз удар попал в цель. Фредерика вздрогнула, глаза у нее затуманились, а ее заострившиеся черты так сразу постарели и изобразили такую муку, что Колетта была потрясена тем, как эта гордая царица, которую ей никогда не удавалось задеть за живое, унизилась сейчас до самого обыкновенного женского страдания. Но к Фредерике скоро вернулась вся ее гордость.

- Вы говорите о королеве, - живо начала она, - а судить о королеве как о всякой другой женщине - это величайшая несправедливость. Другие женщины имеют право быть открыто счастливыми или же открыто несчастными, имеют право выплакать при посторонних свои слезы или же кричать от нестерпимой боли. Но королева!.. Горе жены, горе матери - она все должна таить, все подавлять в себе… Если королева оскорблена, разве она может уйти от мужа? Разве она может требовать развода? Этим она доставит радость врагам престола… Нет, рискуя показаться жестокой, слепой, равнодушной, она должна держать голову прямо, чтобы с нее не свалилась корона. Нас поддерживает не гордыня, а сознание нашего величия. Это оно заставляет нас выезжать с ребенком и с мужем в открытом экипаже, хотя в воздухе пахнет выстрелами заговорщиков, это

оно делает для нас менее мрачным изгнание и мутное небо чужбины; наконец, это оно дает нам силы переносить тяжкие оскорбления, о которых вы, княгиня Розен, надеюсь, говорили со мной сейчас в первый и последний раз.

Воодушевленная собственной речью, к концу ее она заспешила, затем хлестнула коня властным “Пошел!”, конь, как ветер, помчал ее по лесу, и, вся отдавшись упоению бешеной скачки, теперь она слышала только, как шуршит ее голубая вуаль и как хлопает подол ее суконной амазонки.

С этого дня Колетта оставила королеву в покое, но так как ее нервам требовались отвлечение и разрядка, то она обратила свой гнев, свои отравленные стрелы против Элизе и решительно перешла на сторону маркизы. Двор разделился на два лагеря, причем за Элизе был только о. Алфей: его резкая манера выражаться, всегда готовая сорваться у него с языка грубость в нужный момент служили Элизе мощным подспорьем, но монах часто ездил в Иллирию с поручениями от цитадели францисканского ордена на улице Фурно к францисканским монастырям Цары и Дубровника. По крайней мере таков был предлог его окруженных глубочайшей тайной поездок, из которых он возвращался в еще более воинственном расположении духа и, взбираясь на лестницу, стремительно перешагивал через несколько ступенек, яростно теребил четки, а твердя молитву, разгрызал ее с таким упорством, точно это была пуля. Он надолго запирался с королевой, а потом снова отправлялся в путь, предоставляя партии маркизы объединяться против наставника. Все, от старого герцога, с его вошедшей в плоть и кровь военной и светской дисциплиной, которого коробили неряшливость в одежде и лохматые волосы Меро, и до камердинера Лебо, бессознательного врага всяческой независимости, до последнего конюха, до последнего поваренка - прихвостня вышеупомянутого Лебо, до безобидного Босковича, который тянулся за другими из малодушия, из уважения к большинству, плели вокруг нового учителя сеть заговора. Их неприязнь выражалась не столько в действиях, сколько в словах, во взглядах, в ужимках, в легких стычках, возникающих при тесном общении людей, которые терпеть друг друга не могут. Ох уж эти ужимки - специальность г-жи Сильвис! Глядя на Элизе, она придавала своему лицу то презрительное, то надменное, то насмешливое, то желчное выражение, но особенно удачно изображала она на своем лице почтительную жалость при виде маленького принца; подавляя вздохи, закатывая под лоб глаза, она обращалась к нему с вопросом:

- Вы здоровы, государь?

И она ощупывала его своими длинными костлявыми пальцами, назойливо гладила дрожащими руками. Наконец королева не выдерживала.

- Полно, маркиза! - веселым тоном произносила она. - А то Цара в самом деле подумает, что он болен.

- По-моему, у него горячие руки и лобик.

- Он только что с прогулки… Это от свежего воздуха.

И королева уводила ребенка: ее слегка раздражали замечания, которые нарочно для нее постоянно повторялись, раздражала придворная легенда о том, что принца будто бы совсем заучили; эту легенду тотчас подхватила вся парижская челядь, подхватила, не задумываясь, правда это или нет, а вот слуги, вывезенные из Иллирии, - рослая Печа, старик Греб - поверили легенде, и они бросали на Меро недобрые взгляды, преследовали его той задирающей ненавистью прислуги, которую особенно легко проявлять по отношению к людям зависимым и рассеянным… Здесь было все то же, что и при дворе***: травля, булавочные уколы, зависть, роение привыкших пресмыкаться у трона мелких душонок, на которые, видимо, ничто не действовало - ни изгнание, ни падение. Благородная, пылкая натура Элизе Меро не выносила этого упорного недоброжелательства - оно сковывало его, так же как его простую, свободную манеру держаться, повадки богемы стеснял, замораживал принужденный церемониал двора, особенно во время освещенных высокими канделябрами трапез, когда мужчины, непременно во фраках, и декольтированные женщины, сидя вокруг стола, который казался еще больше из-за почтительного расстояния, разделявшего приглашенных, отведывали кушанья только после того, как их отведывали король и королева, вступали в разговор только после того, как что-либо изрекали король и королева, и сами бывали подавлены неумолимым этикетом, за соблюдением которого начальник военной и гражданской свиты следил тем зорче, чем дольше продолжалось изгнание. Случалось, однако, что старый студент с улицы Мсье-ле-Пренс садился за стол в пестром галстуке, заговаривал, не спросив позволения, или, закусив удила, начинал одну из тех вдохновенных импровизаций, от которых все еще дрожали стены кафе “Вольтер”. В таких случаях возмущение, какое вызывали допущенные им малейшие нарушения правил маленького двора,

обращенные на него грозные взгляды рождали в нем неодолимое желание бросить все, как это он уже сделал однажды, и немедленно вернуться в Латинский квартал.

Но здесь была королева.

Находясь в непосредственной близости к Фредерике, да еще при наличии такого прочного связующего звена, как наследник, Элизе проникся к ней фанатической преданностью, в которой сочетались уважение, преклонение и нерассуждающая вера. В его глазах она воплощала в себе, она олицетворяла монархические убеждения, идеал монархии, - так для транстеверинского крестьянина вся религия - это мадонна. Только ради королевы Элизе оставался при дворе и через силу делал трудное свое дело. Да, очень трудное, требовавшее неистощимого терпения. Сколько нужно было потратить усилий, чтобы вложить малейший пустяк в головку королевского сына! Цара был прелестный ребенок, добрый, послушный. Отсутствием силы воли он не страдал. В нем угадывалась строгая и правдивая душа матери и вместе с тем что-то легкомысленное, ветреное, отчего Цара казался еще моложе своих лет. Умственное развитие шло явно замедленно в этом тщедушном, старообразном тельце, которое не соблазнялось играми, над которым тяготела мечтательность, доводившая его порой до оцепенения. В годы своего самого раннего детства - а это были для него годы длительного выздоровления - он воспитывался на всяком фантастическом вздоре, которым морочила ему голову его наставница, жизненные явления он видел словно сквозь туман, и они поражали его воображение лишь по аналогии со сказками, где феи и добрые духи принимали участие в судьбе королей и королев, выводили их из заколдованных башен и подземелий, одним взмахом волшебной палочки спасали от погони и от ловушек, устраняли с их пути всевозможные препятствия в виде ледяных скал, колючих изгородей, драконов, изрыгающих пламя, старых колдуний, превращающих человека в зверя. На уроке, когда ему объясняли что-нибудь сложное, он говорил:

- Это как в сказке о маленьком портном.

Когда ему читали рассказ о какой-нибудь великой битве, он делал замечание:

- Великан Робистор еще больше врагов перебил.

Именно это столь сильно развитое в нем чувство сверхъестественного придавало его лицу рассеянное выражение, оно же заставляло его часами сидеть неподвижно на диване, и тогда перед его мысленным взором, сменяя друг друга, проплывали видения, глаза его светились отраженным призрачным светом, - так в памяти у ребенка, возвращающегося со спектакля, словно в волшебном фонаре, вновь мелькают картины только что виденной пьесы. И это заглушало в наследнике способность рассуждать, это мешало ему серьезно заниматься.

Королева по-прежнему присутствовала на уроках, с неизменным вышиваньем в руках, которое она никак не могла закончить, и в ее красивых глазах читалось все то же, столь драгоценное для учителя внимание, отзывчивость ко всем его идеям, даже к тем, которые он не высказывал прямо. Да их больше всего и сближало невыразимое - грезы, мечты, все, что реет в воздухе как бы поверх убеждений и в то же время способствует их распространению. Королева взяла себе Элизе в советники, в поверенные, однако всякий раз подчеркивала, что говорит с ним от имени короля:

- Господин Меро! Его величество хотел бы знать по этому поводу ваше мнение.

А Элизе крайне удивляло, что сам король никогда не заговаривал с ним о вещах, столь сильно, по-видимому, его интересовавших. Христиан II относился к нему с известным уважением, говорил с ним очаровательным, дружески непринужденным тоном, но это были разговоры ни о чем. Иногда, проходя через классную, он останавливался послушать урок.

- Вы ему особенно голову не забивайте… - положив руку на плечо наследника, немного погодя произносил он, и эти его слова звучали отголоском тех пересудов, которые все время шли у его подданных. - Надеюсь, вы не собираетесь делать из него ученого…

- Я хочу сделать из него короля, - с гордостью заявляла Фредерика и, заметив, что вместо ответа ее супруг безнадежно машет рукой, добавляла: - Ведь ему рано или поздно придется занять престол.

На что следовало:

- Да, конечно, конечно…

Тут король отвешивал королеве низкий поклон, захлопывал за собой дверь в знак того, что разговор окончен, а затем в классную доносилось его пение - король напевал из популярной оперетки: “Да, он займет престол… Да, он займет престол… На то испанец он…”

Словом, Элизе все еще не мог себе уяснить, что же собой представляет этот приветливый, поверхностный, кокетливый, взбалмошный, раздушенный государь, часто в расслабленном состоянии валявшийся на диване, - неужели это тот, кого он считал героем Дубровника, неужели это тот мужественный и смелый король, которого он прославлял в своем “Мемориале”? И все же, несмотря на ловкость, с какой Фредерика прикрывала пустоту в голове венценосца, несмотря на то, что она постоянно действовала от его имени, какие-нибудь непредвиденные обстоятельства нет-нет да и показывали подлинное лицо короля и королевы.

Однажды утром, после завтрака, когда все перешли в залу, Фредерика, имевшая обыкновение читать прежде всего корреспонденцию из Иллирии, развернула газету и вдруг так громко и болезненно вскрикнула, что король, уже направлявшийся к выходу, остановился, и все тотчас обступили королеву. Королева протянула газету Босковичу:

- Прочтите.

Это был отчет о заседании люблянского сейма и о принятом на нем решении возвратить изгнанным государям стоимость их имущества, исчисляющуюся в сумме двухсот с лишним миллионов, при том, однако, непременном условии…

- Браво!.. - с характерным для него носовым произношением воскликнул Христиан. - Мне только того и надо.

- Читайте дальше, - строго сказала королева.

- ”…при том непременном условии, что Христиан Второй подпишет отречение за себя и за своих потомков от всех прав на иллирийский престол”.

Последняя фраза вызвала взрыв негодования. Старик Розен задыхался, о. Алфей побледнел как полотно, отчего борода его и глаза казались еще чернее.

- Надо ответить… Так это нельзя оставлять, - сказала королева; ее гнев искал опоры в Меро, а тот, заняв угол стола, с лихорадочной поспешностью уже водил карандашом по бумаге.

- Вот что бы я ответил, - сказал он, подойдя к королеве, и огласил составленное в форме письма к депутату-монархисту гордое послание к иллирийскому народу, в котором король, отвергая оскорбительное предложение сейма, ободрял, воодушевлял своих друзей взволнованным тоном главы семейства, разлученного с детьми.

Королева в восторге захлопала в ладоши, схватила бумагу и протянула ее Босковичу.

- Скорей, скорей, переведите и отправьте!.. Вы, разумеется, согласны? - вспомнив, что Христиан здесь и что все взоры устремлены на них обоих, обратилась она к нему.

- Без сомнения… без сомнения… - яростно грызя ногти, в состоянии полнейшей растерянности пробормотал король. - Все это, конечно, прекрасно… Но только… нужно знать наверное, сможем ли мы продержаться.

Королева, внезапно побледнев, вздрогнула, как от удара в спину.

- Продержаться!.. Сможем ли мы продержаться!.. И это говорит король?

- Когда в Дубровнике не хватило хлеба, мы при всех наших благих намерениях вынуждены были сдаться, - очень спокойно возразил король.

- Ну, а если нам и на этот раз не хватит хлеба, мы возьмем суму и будем ходить от двери к двери… [7 - Ходить от двери к двери - значит побираться. Местное выражение. (Прим. автора).] Но монархия не сдастся.

Какая незабываемая сцена разыгралась в парижском пригороде, в заставленной вещами зале, между низложенными государем и государыней, государем, уставшим от борьбы, связанным по рукам и ногам

своим же собственным безверием, и государыней, преисполненной самой восторженной, самой горячей веры! Достаточно было на них взглянуть, чтобы понять, что это два совершенно разных характера. Вот король, с тонкой, гибкой талией, в легком костюме с открытой шеей, - вся его изнеженность отчетливо проступает в женственности висящих, как плети, белых рук, в припомаженных завитках, падающих на бледный лоб, - а вот королева, величавая, стройная, в амазонке с широкими отворотами, с прямым воротничком, с простыми белыми рукавчиками, оттеняющими траурный цвет ее костюма, с которым никак не вяжутся живой румянец, блеск глаз и золотистые локоны. Перед Элизе впервые промелькнуло мгновенное и точное отражение того, что происходило в семье короля.

Христиан II неожиданно обратился к герцогу, с опущенной головой стоявшему у камина:

- Розен!

- Слушаю, ваше величество!

- Только ты можешь ответить на этот вопрос: как наши дела?.. Можем мы еще потянуть?

Начальник свиты сделал величественный жест:

- Разумеется!

- Сколько времени?.. Как ты думаешь?.. Приблизительно?..

- Пять лет. Я подсчитал.

- И так, что никто из нас не будет испытывать никаких лишений?.. Так, что никто из наших близких не пострадает и не потерпит ущерба?..

- Ни малейшего, ваше величество.

- Ты уверен?

- Уверен, - выпрямившись во весь свой гигантский рост, подтвердил старик.

- В таком случае я согласен… Меро! Дайте сюда письмо… Я подпишу его перед уходом, - сказал король и, взяв у него перо, проговорил вполголоса: - Посмотрите на госпожу Сильвис: у нее такой вид, как будто она вот сейчас запоет из “Темного леса”!

И правда, маркиза, вернувшись с наследником из сада, сразу почувствовала атмосферу драмы и, пораженная, в шляпке с зеленым пером и в бархатном спенсере, застыла в романтической позе певицы, собирающейся петь каватину из оперы.

Прочитанное в парламенте, напечатанное во всех газетах воззвание

было, кроме того, по совету Элизе литографировано и в тысячах экземпляров разослано по деревням, - о. Алфей провозил их через таможни в тюках с наклейкой: “Предметы религиозного культа”, вместе с оливковыми четками и розами Иерихона. Сторонников монархии это окрылило. Особенно сильно взбудоражило красноречивое обращение короля Далмацию, куда республиканские идеи проникали еще слабо, - во многих селах его читали с амвона, его раздавали ходившие по сбору францисканские монахи: они развязывали свои котомки у ворот ферм и платили за масло и за яйца пачками отпечатанных листов. Посыпались приветствия королю за множеством подписей и крестиков, трогательных в своем благонамеренном невежестве, началось паломничество.

Особнячок в Сен-Мандэ посещали рыбаки, дубровникские грузчики в черных плащах поверх пестрых мусульманских нарядов, морлакские крестьяне - полудикари, все, как один, обутые в подвязанные соломенными жгутами опанки из бараньей кожи. Их ярко-красные доломаны, бахромчатые кушаки, куртки с металлическими пуговицами резко выделялись на фоне унылого однообразия одеяний парижской трамвайной публики, затем они толпами высаживались из вагонов, твердым шагом проходили через двор, а в передней останавливались и, взволнованные, растерянные, тихонько переговаривались. Меро присутствовал при всех приемах, и они потрясали его до глубины души. В этих приезжавших издалека восторженных людях оживала легенда его детства. Ему вспоминалось путешествие во Фросдорф обитателей Королевского заповедника, как они ради этого путешествия во всем себе отказывали, как собирались в путь и как по приезде старались не показать своего разочарования, и вместе с тем он страдал от неискоренимого равнодушия Христиана, от его облегченных вздохов после каждой встречи. Втайне король ненавидел эти посещения - они мешали ему развлекаться, нарушали привычный строй его жизни, обрекали на долгое сидение дома. В угоду королеве он все же произносил несколько заученных фраз в ответ на приглушаемые рыданиями мольбы всего этого бедного люда, а потом мстил за то, что ему пришлось поскучать, какой-нибудь шалостью, шаржем, который он, расположившись на краю стола, набрасывал карандашом, меж тем как углы его рта оттягивала недобрая усмешка. Как-то раз он изобразил в карикатурном виде старшину браничевских рыбаков, его широкое итальянское лицо с отвислыми щеками, с вытаращенными глазами, его оторопелый взгляд - оторопелый, потому что встреча с королем и радовала его, и повергала в трепет; не были забыты и слезы,

катившиеся у него по щекам до самого подбородка. На другой день это произведение искусства ходило за столом по рукам, вызывая смех и одобрительные восклицания. Даже герцог из присущего ему презрения к народу сморщил свой старый клюв - это было у него наивысшим проявлением веселости. Наконец, пройдя сквозь шумные похвалы Босковича, рисунок дошел до Элизе. Тот долго рассматривал его, потом молча передал соседу. Король с другого конца стола крикнул ему характерным для него вызывающим тоном, произнося слова в нос:

- Вам не смешно, Меро?.. А ведь сознайтесь, что мой старшина очень мил.

- Нет, государь, мне не до смеха… - печально ответил Меро. - Это живой портрет моего отца.

Некоторое время спустя Элизе оказался невольным свидетелем сцены, которая окончательно раскрыла перед ним натуру Христиана и его отношения с королевой. Это было в воскресенье, после мессы. Особнячок, точно по случаю великого праздника, настежь распахнул свои решетчатые ворота, выходившие на улицу Эрбильона; подъезд напоминал оранжерею: он был весь в зелени; в передней выстроилась прислуга. Сегодняшнему приему придавалось огромное значение. Ожидалась депутация монархистов - членов сейма, цвет и сливки партии; депутаты собирались изъявить королю свои верноподданнические чувства и посоветоваться с ним, какие меры следует принять для восстановления монархии. Это было целое событие, к которому готовились, о котором было объявлено заранее, и в его торжественность вносило особое оживление роскошное зимнее солнце: оно утепляло пустынную обширность приемной залы, оно золотило высокое кресло, заменявшее королевский трон, и, когда его лучи проникали в затененный угол, где находилась корона, все ее сапфиры, топазы, рубины брызгали искрами.

В то время как весь дом полнился беспрестанной суетой, шуршаньем шелковых платьев, волочившихся с этажа на этаж; пока на маленького принца натягивали длинные красные чулки, надевали на него бархатный костюм и воротнички из венецианских кружев, а он повторял речь, которую его учили произносить целую неделю; меж тем как Розен в парадной форме, обвешанный бляхами, больше чем когда бы то ни было вытягиваясь в струнку, вводил в залу депутатов, Элизе, намеренно державшийся в стороне от всего этого шума, уединился в отведенной под классную галерее, и стоило ему задуматься о последствиях сегодняшнего приема, как его южная фантазия по обыкновению разыгралась: ему уже мерещилось триумфальное возвращение государей в Любляну под гром орудийных залпов и под звон колоколов, ему чудилось ликованье на усыпанных цветами улицах, ему грезились король и королева, показывающие народу как свой обет, как залог счастливого будущего страны - залог, который еще больше возвеличивал их и придавал им вид молодых предков, - его любимого ученика Цару, умного и серьезного той серьезностью, какая замечается у детей, испытавших не по возрасту сильное потрясение. И сияние чудного воскресного дня, радостное гудение колоколов, вдруг зазвонивших в солнечный полдень, усиливали в Меро надежду, что на будущих торжествах материнская любовь Фредерики, быть может, одарит и его через голову ребенка гордой и довольной улыбкой.

А на усыпанном песком “дворцовом дворе” все время слышались оглушительные звонки, возвещавшие о прибытии депутатов, и глухой стук парадных карет, которые посылались за депутатами, остановившимися в гостинице. Хлопали дверцы, шаги замирали, приглушенные коврами передней и залы, поглощенные шелестом почтительных приветствий. Потом неожиданно наступила тишина и длилась так долго, что Меро пришел в недоумение: он ждал, что сию минуту раздастся речь короля, сию минуту он услышит, как король, напрягая голос, заговорит в нос. Что же случилось? Почему вышла заминка в заранее установленном порядке церемонии?..

И вдруг Элизе увидел, что тот, кого он так ясно представлял себе сейчас

в соседней комнате, на официальном приеме, в центре внимания, идет напряженной, нетвердой походкой по промерзшему сквозистому саду, держась то за стену, то за черные стволы деревьев. По-видимому, Христиан вошел в сад со стороны авеню Доменйля, через потайную калитку, не видную за плющом, и теперь медленно, с трудом продвигался вперед. У Элизе мелькнула мысль о дуэли, о каком-нибудь несчастном случае, но немного погодя сверху до него донесся шум падения человека, который, чтобы удержаться, пытался, должно быть, ухватиться за кресло, за портьеру, - так долго и тяжело он падал, и что-то при этом валилось с грохотом на пол: все это как будто подтверждало догадки Элизе. Он бросился к королю. Полукруглой комнате Христиана, находившейся в главной части здания, комнате теплой, устланной, точно гнездышко - пухом, медвежьими и львиными шкурами, обитой красным шелком, увешанной по стенам старинным оружием, заставленной диванами и низкими креслами, придавала своеобразие, не сливаясь со всей этой почти восточной в своей изнеженности роскошью, маленькая походная кровать, на которой король спал, во-первых, в силу семейных традиций, а во-вторых, из любви к рисовке спартанской простотой, - миллионеры и властелины любят строить из себя спартанцев.

Дверь в комнату была открыта.

Христиан стоял, прислонившись к стене, в съехавшей на затылок шляпе, с бледным, искаженным лицом, в распахнутой длинной шубе, из которой выглядывали фрак с задравшимися фалдами, развязавшийся белый галстук и широкая пикейная манишка с тугими грязными складками, - весь этот беспорядок в одежде свидетельствовал о бурно проведенной, пьяной ночи, - а прямо против короля стояла разгневанная королева и, вся дрожа от неимоверных усилий, которые ей приходилось делать над собой, чтобы сдержаться, глухим, напоминавшим отдаленный громовой раскат, голосом повторяла:

- Это необходимо… Это необходимо… Идемте.

А король еле слышно, со сконфуженным видом бормотал:

- Н-не могу… Вы же видите: н-не могу… Потом… Даю слово.

С глупым смехом, каким-то детским голосом он стал оправдываться: он не пьян, нет!.. На него так подействовал свежий воздух, когда он вышел после ужина на улицу.

- Да, да… Я понимаю… Все равно!.. Сойдите вниз… Пусть они на вас взглянут, пусть только увидят вас!.. Говорить буду я… Я знаю, что нужно сказать.

Но король по-прежнему стоял не шевелясь; он даже утратил дар речи, его безобразно обмякшее лицо выражало одно желание - спать, и в конце концов Фредерику взорвало:

- Да поймите же, что сегодня решается наша судьба… Христиан! Ты рискуешь своей короной, короной твоего сына… Полно, идем!.. Прошу тебя! Наконец, я так хочу!

Королева была сейчас прекрасна своей несгибаемой волей, отблески которой в ее аквамариновых глазах явно магнетизировали короля. Благодаря этому особенному взгляду она забирала над ним власть; она старалась поддержать его, помочь ему выпрямиться, снимала с него шляпу, шубу, пропитавшиеся мерзким запахом винного перегара и дурманящим дымом сигар. Королю удалось напружинить непослушные ноги, и он,

покачиваясь, держась горячей рукой за мраморную руку королевы, сделал несколько шагов. Но вдруг, почувствовав, что еще один миг - и он рухнет, королева резким движением освободилась от его лихорадочно жарких касаний, а затем с силой, с отвращением оттолкнула его, и он растянулся во весь рост на диване. Даже не взглянув на эту помятую, неподвижную, уже храпевшую груду, королева направилась к выходу и, с полузакрытыми глазами идя прямо к двери мимо не замеченного ею Элизе, тихим голосом блуждающей скорбной сомнамбулы произнесла:

- Alla fine sono stanca di fare gesti di questo monarcaccio… [8 - В конце концов мне надоело все делать для этого горе-монарха… (итал.).]

V

Д. Том Льюис, агент по обслуживанию иностранцев

Из всех вертепов Парижа, из всех пещер Али-Бабы, которыми этот огромный город минирован и контрминирован, нет ничего более своеобразного, нет ничего более занятного, чем агентство Льюиса. Вы его видели, да его все видели, - по крайней мере снаружи. Оно помещается на углу Королевской и предместья Сент-Оноре, и стоит оно на самом бойком месте - все экипажи, которые направляются в Булонский лес или же возвращаются оттуда, проезжают мимо агентства, ни один из сидящих в экипажах при всем желании не пропустит зазывающей рекламы роскошного нижнего этажа, куда ведут восемь ступенек, не пропустит этих высоких окон из цельного стекла, на каждом из которых бросаются в глаза окрашенные киноварью, голубые и золоченые гербы наиболее мощных европейских держав, с орлами, единорогами, леопардами - со всем геральдическим зверинцем. На этой улице шириною с бульвар агентство Льюиса за тридцать метров невольно привлекает даже самые нелюбопытные взгляды. Все спрашивают: “Что там продают?” А между тем вернее было бы задать вопрос иначе: “Чего там не продают?” И правда:

на каждой витрине красивыми золотыми буквами выведено: “Вина, ликеры, деликатесы, pale-ale [9 - Светлое пиво (англ.).], кюммель, арак, икра, треска с перцем”; или “Мебель старинная и современная, обои, растения, ковры смирнские и исфаханские”; далее: “Картины известных художников, мрамор, терракота, оружие наилучших мастеров, медали, рыцарские доспехи”; в другом месте: “Размен, учет векселей, иностранная валюта”; или еще: “Всемирная библиотека, газеты всех стран, на всех языках”, и тут же рядом: “Продажа и сдача внаем участков для охоты, купаний, дач”, и наконец: “Справки по всем вопросам, сохранение тайны, быстрота исполнения”.

Странное дело: от этого роенья надписей и сверкающих гербов рябит в глазах, и вы не в состоянии как следует рассмотреть выставленные на витрине предметы. Смутно различаешь бутылки необычных форм и цветов, стулья резного дерева, картины, меха, затем - на деревянных тарелках - надорванные свертки с пиастрами, пачки кредиток. Но вместительные подвалы агентства, окна которых, вровень с тротуаром, похожи на зарешеченные иллюминаторы, служат солидной и серьезной опорой чересчур кричащей выставке этого обширного торгового заведения: напоминая ломящиеся от товаров склады лондонского Сити, они призваны дополнить зазывающий блеск витрин во вкусе бульвара Мадлены. Чего-чего только нет в этих подвалах! Ряды бочек, кипы материй, нагромождение ящиков, сундуков, консервных банок, - заглянешь в эти бездны, и у тебя начинает кружиться голова: так бывает, когда стоишь на палубе торгового судна и взгляд твой уходит в глубину зияющего трюма, который загружают перед отходом корабля.

Столь хитро сплетенные, по всем правилам рыболовного искусства расставленные в самом водовороте Парижа сети агентства улавливают видимо-невидимо рыбки, и большой и малой, даже рыбешки из департамента Сены, самой увертливой из всех рыб, и если вы пройдете там часа в три дня, то сети к этому времени почти наверное будут полны.

У стеклянной двери, выходящей на Королевскую, высокой, прозрачной, увенчанной широким фронтоном из резного дерева (вход совсем как в магазине новинок или модных товаров), стоит швейцар в одежде, обилием галунов напоминающей военную форму, - завидев вас, он тотчас нажимает ручку, а в случае дождя протянет вам зонтик, прежде чем вы успеете вылезти из экипажа. Перед вами громадная зала, перегороженная

барьерами и решетками с окошечками на множество отделений, на множество симметричных “боксов”, тянущихся справа и слева. Ослепительно яркое солнце играет на натертом паркете, на панели, на мелкой завивке и безукоризненно сшитых сюртуках служащих, а служащие все до одного элегантны, приятной наружности, но по их облику и выговору сразу можно определить, что это иностранцы. Среди них вы встретите смуглолицых, остроголовых, узкоплечих азиатов, американцев с глазами цвета голубого фаянса и с ошейниками бород, краснощеких немцев. И на каком языке ни заговорит посетитель, он может быть уверен, что его поймут: в агентстве говорят на всех языках, за исключением, впрочем, русского, но ведь уметь говорить по-русски совершенно не обязательно, потому что сами русские предпочитают говорить на всех языках, только не на своем родном. Люди то подходят, то отходят от окошечек, на венских стульях сидят в ожидании мужчины и дамы, одетые по-дорожному, - смесь каракулевых шапок, шотландских шапочек, длинных вуалей, колышущихся поверх ватерпруфов, пыльников, клетчатых плащей, в которых мужчину от женщины не отличить, саквояжей на ремнях, кожаных сумок через плечо: типично вокзальная публика, размахивающая руками, разговаривающая громко, не стесняясь, с апломбом людей, возбужденных необычностью обстановки и образующих из нескольких языков разноголосый и в то же время слитный гомон, напоминающий тот, что стоит у продавцов птиц на Жеврской набережной. Тут же взлетают пробки от бутылок с pale-al’ ем и романеей, по дереву прилавков стучит дождь золотых монет. Непрерывно раздаются звонки, свистки в переговорные трубки, слышится шуршанье плотной бумаги при развертывании плана дома, приглушенные арпеджио пробующих фортепьяно, восклицания самоедов, сгрудившихся перед громадным портретом, нарисованным углем.

А служащие, перебегая от загородки к загородке, с угодливой улыбкой дают на ходу справки, называют цифры, фамилии, адреса и вдруг становятся величественными, холодными, безучастными существами не от мира сего, когда какой-нибудь потерявший голову несчастный, которого долго гоняли от одного окошечка к другому, наклоняется к ним и таинственно шепчет о чем-то, вызывая на их лицах выражение крайнего изумления. Иногда несчастный, возмущенный тем, что на него смотрят так, как глядят на смерч или на метеорит, теряет терпение и спрашивает самого Д. Тома Льюиса, который, конечно, поймет его с полуслова. На это ему с надменной улыбкой ответят, что Д. Том Льюис занят… что у Д. Тома

Льюиса посетители!.. И не с такими пустяками, как у вас, и не такая мелкая сошка, как вы, почтеннейший!.. Да вот, посмотрите туда, дальше, дальше. Дверь отворяется. На секунду показывается сам Льюис - он величественнее всего своего персонала, вместе взятого, и величественность эта видна в его округлом брюшке, в его точно срезанном черепе, блестящем, как паркет агентства, в том, как он закидывает свою маленькую головку, в том, что он смотрит на всех свысока, во властном движении его коротенькой ручки, в той важности, какая звучит в его вопросе, который он задает нарочито громко, произнося слова с английским акцентом, "выполнен ли заказ его высочества принца Уэлского", в том, как он другой рукой плотно притворяет за собою дверь, ясно давая понять, что таких высоких особ, как та, которая находится сейчас у него в кабинете, ни в коем случае беспокоить нельзя.

Само собой разумеется, принц Уэльский сроду не бывал в агентстве и не думал ничего заказывать, но вы легко можете себе представить, какое впечатление производит это имя на толпу, заполняющую агентство, и на того заказчика, которому Том только что сказал у себя в кабинете: "Извините… Одну минутку… Я наведу справочку и сейчас вернусь".

Вранье, вранье! Нет в кабинете никакого принца Уэльского, как нет ни арака, ни кюммеля в затейливых бутылках на витрине, как нет ни английского, ни венского пива в загромождающих подвал бочках с набитыми на них обручами, и никаких товаров не развозят лакированные, раззолоченные, украшенные гербами повозки с инициалами Д. Т. Л. - подвижная, шумная реклама, развивающая бешеную деятельность, какой отличаются не только люди, но и животные, которые находятся на службе у Тома Льюиса: именно потому, что повозки совершенно пустые, они и мчатся с такой быстротой по самым лучшим кварталам Парижа. Пусть какой-нибудь бедняк, ослепленный всей этой мишурой, хватит кулаком по витрине, рекламирующей обмен денег, и запустит окровавленную руку в золото на тарелках - вытащит он оттуда всего-навсего горсть жетонов; если он захватит огромную пачку банкнотов, то при ближайшем рассмотрении окажется, что сверху лежит кредитный билет стоимостью в двадцать пять ливров, а под ним - пачка простой бумаги. Сплошная бутафория на выставках, в подвалах, везде, везде… Но откуда же, однако, берется портвейн, который дегустируют англичане? Откуда эти деньги, которые уносит русский помещик в обмен на свои рубли? Откуда эта бронзовая безделушка, упакованная для гречанки с островов?.. Ах, боже мой, все

объясняется очень просто! Английское пиво приносится из соседнего кабачка, золото берется у менялы с бульвара, безделушка - из магазина “Разные разности” на улице 4 Сентября. За всем этим живо слетают служащие, которые, сидя в подвалах, ждут приказаний, передаваемых через переговорные трубки.

Для скорости они проходят соседним двором, а несколько минут спустя уже показываются на верхней ступеньке винтовой лестницы с перилами тонкой работы, украшенными стеклянными шишечками. Вот он, требуемый предмет, с гарантией, под маркой Д. Т. Л. Не стесняйтесь, ваше сиятельство: если он вам не нравится, мы вам его обменим, - подвалы агентства набиты битком. Правда, здесь с вас за него возьмут немного дороже, всего только вдвое или втрое, но зато вам не надо бегать по магазинам, где вас никто не понимает, несмотря на многообещающие надписи: English spoken [10 - Здесь говорят по-английски (англ.).]. Man spricht deutsch [11 - Здесь говорят по-немецки (нем.).], по этим бульварным магазинам, где иностранец, затурканный, одураченный, всегда находит одни поскребыши, остатки, заваль, парижский хлам, составляющий убыток для магазина, “предметы, вышедшие из моды”, вещи с прошлогодней выставки на витрине, потускневшие не столько от пыли и солнца, сколько просто от времени. Ох, уж этот парижский лавочник, заискивающий и насмешливый, презрительный и назойливый! Конечно, иностранец больше к нему не пойдет. Он не желает, чтобы его и впредь так жестоко надувал владелец магазина; кстати сказать, не только владелец магазина, но и хозяин гостиницы, где он остановился, но и содержатель ресторана, где он обедает, но и извозчик, которого он подзывает на улице, но и барышник, который посылает его зевать в пустые театры. Зато он может быть совершенно спокоен: в торговом доме Льюиса, в этом хитроумно устроенном агентстве для иностранцев, где он найдет все, что душе угодно, его уж во всяком случае не обставят, ибо Д. Том Льюис - англичанин, а английские купцы славятся своей честностью и в Старом, и в Новом Свете.

Д. Том Льюис - англичанин в полном смысле слова, начиная с тупых носков его квакерских башмаков и кончая длинным сюртуком, прикрывающим панталоны в зеленую клетку, кончая шляпой с высоченной тульей и крошечными полями, из-под которой выглядывает его круглая, красная, добродушная физиономия. Честность Альбиона читается на румяных щеках, полнота которых вскормлена бифштексами, на широком, до ушей, рте, на шелковистых белобрысых бакенбардах, неодинаковых

вследствие привычки их обладателя в минуту душевного смятения одну из них, всегда одну и ту же, покусывать; она, эта честность, угадывается в его коротких ручках, в его пальцах, покрытых рыжим пухом и унизанных кольцами. Честным кажется и его взгляд из-под очков с широкими стеклами, в тонкой золотой оправе, до того честным, что, когда Д. Тому Льюису случается лгать - а ведь от этого трудно уберечься даже лучшим из людей, - зрачки его по причине какого-то странного нервного тика начинают вращаться вокруг своей оси, подобно кружащимся колесикам гироскопа.

Что отлично дополняет английский облик Д. Тома Льюиса, так это его кеб - первый подобного рода экипаж, появившийся в Париже, естественная раковина этого необыкновенного существа. Если ему предстоит разрешить более или менее сложный вопрос, если в его деле, как во всякой торговле, наступает минута, когда он чувствует, что припёрт к стене, что попал в переплет, Том кричит: “Подать мне кеб!” - ибо он уверен, что в кебе его осенит. Он комбинирует, он взвешивает, он соображает, а парижане окидывают взглядом прозрачную коробку на низких колесах и видят в ней силуэт озабоченного человека, яростно кусающего правую бакенбарду. Именно в кебе задумал Том самые большие свои дела, которые он делал перед крахом Империи. О, это было счастливое время! Париж был тогда наводнен чужеземцами, но не приехавшими погостить, а поселившимися здесь навсегда, вывезшими из дальних стран свои капиталы только для того, чтобы пить, есть и веселиться в Париже. Тогда у нас жили и турок Гуссейн-бей, и египтянин Мехмет-паша, фески которых примелькались на берегах озера в Булонском лесу, и княгиня Верхачева, швырявшая деньги, которые она нажила на уральских рудниках, из всех четырнадцати окон второго этажа занимаемого ею дома на бульваре Мальзерба, и американец Бергсон, получавший огромные доходы с нефтяных промыслов, - доходы, которые целиком поглощал Париж. Впрочем, впоследствии Бергсон вернул с лихвой все, что он просадил. А набобы! Тьма-тьмущая набобов всех цветов: желтые, коричневые, красные, они пестрели на гуляньях и в театрах, они горели желанием сорить деньгами и наслаждаться жизнью, точно у них было предчувствие, что надо успеть опустошить это грандиозное увеселительное заведение до страшного взрыва, который сорвет крыши, разобьет зеркала и выбьет оконные стекла.

Прибавьте к этому, что Д. Том Льюис являлся необходимым посредником во всех удовольствиях, что от каждого разменянного луидора

он хоть кусочек да отгрызал и что к его иностранной клиентуре присоединялись тогдашние парижские гуляки, любители редкой дичи, браконьеры, охотившиеся в запретных местах: они обращались к другу Тому как к самому изобретательному, самому ловкому агенту, да к тому же еще отвратительно говорившему по-французски, изъяснявшемуся с трудом, - в силу этого обстоятельства они охотнее, чем кому бы то ни было, доверяли ему свои тайны. Перед концом Империи все парижские скандальные похождения скреплялись печатью Д. Т. Л. На имя Д. Тома Льюиса, а не на чье-либо еще, была абонирована в Комической опере ложа бенуара № 9, где баронесса Мильс каждый вечер в течение часа слушала своего tenorino [12 - Теноришку (итал.).], а затем, после каватины, спрятав за кружевной корсаж его мокрый от пота, вымазанный белилами платок, уезжала домой. На имя Д. Тома Льюиса братья Сисмондо, два банкира-компаньона, которые не могли оставить контору одновременно, сами того не подозревая, снимали пополам для одной и той же дамы маленький домик на улице Клиши. А конторские книги агентства за тот период! Сколько там увлекательных романов в несколько строк!

”Дом с двумя выходами, при дороге в Сен-Клу. Плата за помещение, за меблировку, неустойка съемщику такому-то - столько-то”.

А под этим:

”За комиссию генералу такому-то - столько-то”.

”Дача в Пти-Вальтен близ Пломбьер. Сад, конюшня, два выхода, неустойка такому-то - столько-то”.

И опять:

”За комиссию генералу…” Этот генерал занимает большое место в счетах агентства!

В те времена Том наживался изрядно, зато и транжирил он также изрядно - но не на карты, не на лошадей, не на женщин, а на удовлетворение своих капризов - капризов дикаря и ребенка, на удовлетворение прихотей своей фантазии, необузданной, чудаческой, не допускавшей никакого перерыва между возникновением мечты и ее осуществлением. Однажды он возмечтал об аллее акаций при въезде в его имение в Курбвуа, но деревья растут слишком долго, а потому в течение

целой недели по берегам Сены, в тех краях совершенно голым, почерневшим от заводской копоти, тащились, лениво покачиваясь, длинные повозки с акациями, и по воде скользили трепетные тени их зеленых верхушек. Это имение, где Д. Том Льюис по обычаю крупных лондонских коммерсантов жил круглый год, некогда представляло собой обыкновенный загородный одноэтажный дом с чердаком, а теперь содержание его обходилось Тому баснословно дорого. Чем больший размах приобретала его деятельность и чем успешнее шли его дела, тем шире он распространялся - он все пристраивал и пристраивал, прикупал и прикупал: присоединил к своему имению парк, участок земли, а заодно уж и лесок, - так образовалось престранное поместье, в котором отразились его влечения, его поползновения, его чисто английская взбалмошность, которую еще больше уродовали и мельчили его буржуазные замашки и отсутствие вкуса. На крыше вполне заурядного дома с явно надстроенными верхними этажами протянулась итальянская терраса с мраморной балюстрадой, с двумя готическими башенками по бокам, - оттуда крытый переход вел в другой корпус, изображавший шале, с резными перилами балконов, с ползучим ковром плюща. Все это было выкрашено под мрамор, под кирпич, под шварцвальдскую игрушку, везде, куда ни посмотришь, башенки, зубцы, флюгера, на окнах - решетки, а в парке - топорщенье беседок и бельведеров, поблескиванье оранжерей, бассейнов, совершенно черный бастион громадного водоема, еще выше водоема - самая настоящая мельница, парусиновые крылья которой, чувствительные к малейшему дуновению ветра, кружились и хлопали под непрерывный скрежет осей.

Разумеется, на том небольшом пространстве, на котором снуют парижские дачные поезда, в окнах вагонов видениями кошмарного сна мелькает немало чудовищных вилл - этих плодов вырвавшейся на свободу и резвящейся лавочнической фантазии, но ни одна из подобных вилл не выдерживает сравнения с “Причудой” Тома Льюиса, если не считать, впрочем, виллы его соседа Шприхта, великого Шприхта, знаменитого дамского портного. Эта важная птица тоже бывает в Париже только в часы приема заказчиц, с двенадцати до четырех, когда она дает советы по части одевания к лицу в своей обширной мастерской на одном из бульваров, а потом сейчас же уезжает к себе в Курбвуа. Тайна этого вынужденного уединения заключается в следующем: “дорогой Шприхт”, “dear”, как его называют дамы, хранит в ящиках своего письменного стола вместе с чудесными образчиками материй, вырабатываемых на его лионских фабриках, образцы тонкого почерка, бисер дамских ручек, облачающихся в

самые дорогие перчатки, но этой интимной перепиской Шприхт волей-неволей и ограничивается, ибо он не принят в домах у тех, на кого он шьет, а связи в высшем свете окончательно испортили ему отношения с тем миром, к которому он принадлежит, то есть с миром коммерческим. Вот почему он живет крайне уединенно; впрочем, у него, как у всякого выскочки, полон дом бедных родственников, и он не жалеет денег на то, чтобы окружать их истинно царской роскошью. Единственное его развлечение, единственно, что вливает живую струю в существование отставного сердцееда, это соседство и соревнование с Томом Льюисом, их взаимные ненависть и презрение, неизвестно, однако, на чем основанные, что как раз и служит непреодолимым препятствием к их примирению.

Стоит Шприхту возвести башенку - а Шприхт, как всякий немец, любит романтику: замки, долины, развалины, и питает особую страсть к средневековью, - и Д. Том Льюис сейчас же берется за постройку веранды. Если Том сносит стену, Шприхт валит все свои изгороди. Павильон, который построил Том, закрывал Шприхту вид на Сен-Клу. Тогда портной приподнял вышку своей голубятни. Том Льюис ответил на это надстройкой еще одного этажа. Шприхт в долгу не остался, и оба здания с помощью изрядного количества камней и рабочих рук продолжали расти в вышину до тех пор, пока в одну прекрасную ночь эти два непрочных сооружения не рухнули при первом порыве ветра. Шприхт, съездив в Италию, привез из Венеции гондолу, настоящую гондолу, и поставил ее в своей маленькой гавани - там, где кончались его владения. Проходит неделя - пф! пф! - прелестная паровая парусная яхта подходит к пристани Тома Льюиса, всколыхнув отражающиеся в воде кровли, башенки, зубчатые стены его виллы.

Жить на такую широкую ногу можно было только при Империи, а между тем последний ее час пробил. Война, осада, отъезд иностранцев явились настоящим бедствием для обоих дельцов, особенно для Тома Льюиса: нашествие пруссаков разорило его имение, в то время как имение Шприхта все же уцелело. Однако после заключения мира борьба между двумя соперниками возгорелась с новой яростью, только силы были теперь уже неравные: к прославленному портному вернулись все его заказчицы, а

бедняга Том все еще находился в ожидании. Отдел “Справки по всем вопросам, сохранение тайны, быстрота исполнения” не приносил никакого, или почти никакого, дохода, а таинственный генерал не являлся более в контору агентства за секретным вознаграждением. Другой на месте Льюиса поостепенился бы, но это был сущий бес, а не человек: его неудержимо влекло к мотовству, что-то было у него в руках такое, что не позволяло им сжимать что-либо в горстях. А кроме того, перед глазами у Льюиса все время торчал Шприхт со своей родней: мрачные после недавних событий, предрекавшие близкий конец света, Шприхты построили в глубине парка копию развалин ратуши, ее полуразрушенных обуглившихся стен. В воскресные вечера развалины освещались бенгальскими огнями, и все Шприхты горевали вокруг них. В этом было что-то зловещее. Д. Том Льюис, напротив, назло своему сопернику, сделался республиканцем, праздновал возрождение Франции, устраивал состязания, парусные гонки, раздавал девушкам награды за добродетель, а в один из летних вечеров после очередной раздачи наград в порыве восторженной расточительности увез к себе в имение целый оркестр, игравший на Елисейских полях, - яхта шла под парусами в Курбвуа, а оркестр всю дорогу играл.

При таком образе жизни долги все росли и росли, но англичанин не унывал. Никто лучше его не умел сбивать с толку кредиторов апломбом, важностью, граничившей с наглостью. Никто - даже его на совесть вышколенные служащие не умели так, как он, с любопытством рассматривать накладные, точно это были палимпсесты, а затем небрежно совать их в ящик. Никто, кроме него, не мог придумать столько уловок, чтобы не платить, чтобы выиграть время. Да, время! Вот на что всегда рассчитывал Том Льюис; он все надеялся, что когда-нибудь да подвернется ему выгодное дельце, такое, которое на образном жаргоне денежной богемы именуется “ловким ходом”. Но как часто ни садился он в кеб, с какой лихорадочной поспешностью ни объезжал Париж, шаря глазами, скаля зубы, вынюхивая и выслеживая добычу, - годы шли, а случай для ловкого хода все не представлялся.

Как-то днем, когда в агентстве кишел всякий люд, к главному окошку

подошел молодой человек высокого роста, с томным и надменным выражением, разлитым в его чертах, с насмешливыми глазами, с тонкими усиками на бледном, одутловатом, но красивом лице, и спросил Тома Льюиса. Служащий, введенный в заблуждение властным тоном незнакомца, решил, что перед ним кредитор, и уже постарался изобразить на своем лице высшее презрение, как вдруг молодой человек резким голосом, носовые звуки которого подчеркивали его дерзкий тон, потребовал “от этого наглеца”, чтобы он немедленно довел до сведения хозяина, что его желает видеть иллирийский король.

- Ах, ваше величество!.. Ваше величество!..

В разноплеменной толпе, затопившей агентство, обозначилось движение любопытства, вызванное героем Дубровника. Из всех отделений стремительно выбегали служащие и вызывались проводить его величество к Тому Льюису, который еще не приезжал, но должен быть с минуты на минуту.

Христиан появился в агентстве впервые, так как до сих пор все дела с агентством вел старый герцог Розен. Но на сей раз дело было в высшей степени интимного, в высшей степени щекотливого свойства, и король не решился доверить его своему растяпистому адъютанту…

Речь шла о том, чтобы в течение двадцати четырех часов снять для наездницы, сменившей Ами Фера, меблированный особнячок с прислугой, с выездом и с некоторыми особыми удобствами для посетителей, а на такие фокусы способно было только агентство Льюиса.

В приемной, куда провели Христиана, стояли всего-навсего два широких молескиновых кресла, узкий и бесшумный газовый камин с рефлектором,

словно отражавшим огонь, горевший в соседней комнате, и накрытый голубой скатертью круглый столик, на котором лежал торговый адрес-календарь. Комната была разгорожена пополам высокой решеткой с висевшими по бокам драпри, тоже голубыми, за решеткой виднелась конторка, на ней в образцовом порядке вокруг гроссбуха со стальными уголками на переплете, раскрытого и придавленного пресс-папье, были разложены перочинные ножички, линейки, суконки для вытирания перьев, стояла песочница, а над всем этим возвышалась длинная полка, уставленная книгами одинакового формата - торговыми книгами агентства! - их зеленые корешки выстроились, точно пруссаки на параде. Опрятность обособленного уголка, новенький вид у заполнявших его вещей - все это делало честь старому кассиру, который в настоящее время отсутствовал, но вся кропотливая жизнь которого, видимо, проходила здесь.

Итак, король, развалившись в кресле, до того плотно укутанный в меха, что из них вылезала только его голова, все еще пребывал в ожидании, как вдруг за решеткой послышался легкий и быстрый скрип пера, хотя до этого стеклянная дверь в склады, завешенная широкой алжирской драпировкой с прорезью, как в театральном занавесе, ни разу даже не приоткрылась. Кто-то писал за конторкой, и этот “кто-то” оказался не старым служащим с головой седого волка, которому только и сидеть в такой загородке, а прелестнейшей из всех юных особ, когда-либо листавших торговые книги. Заметив удивленный жест короля, она обернулась, и, пока она обводила его ласкающим взором, в углах ее глаз медленно погасали вспыхнувшие было искорки. Вся комната просияла от этого взгляда, а воздух комнаты был зачарован музыкальностью ее голоса, чуть заметно дрожавшего от волнения.

- Как долго вам приходится ждать моего мужа, ваше величество! - молвила она.

Том Льюис - ее муж!.. Муж обворожительного существа с тонким

бледным лицом, с пышными, стройными формами, напоминающими формы статуэток Танагры… Как очутилась она в этой клетке, и притом - одна? Зачем ей понадобились эти толстые книги? Ее маленьким пальчикам нелегко переворачивать их листы, белизна которых отсвечивает на ее матовой коже. И зачем она занимается делами в такой погожий день, когда на бульваре при блеске февральского солнца сверкают туалетами, улыбками, пленяют живым очарованием гуляющие дамы? Приблизившись к ней, Христиан сказал комплимент, в котором попытался передать всю сложность своих ощущений, но ему трудно было говорить - так колотилось у него в груди сердце, возбужденное внезапным, неукротимым желанием, какого этот испорченный, избалованный ребенок еще никогда не испытывал. Дело в том, что тип этой женщины лет двадцати пяти - тридцати был для него совершенно нов и так же далек от маленькой Колетты Розен с ее непокорными локонами, от Фера, державшейся с развязностью продажной девки, нахально глядевшей на вас своими подведенными глазами, как и от королевы с ее подавляющим, благородным в своей печали величием. Ни кокетства, ни вызова, ни затаенного высокомерия - ничего похожего на то, с чем он сталкивался в настоящем свете или же в кругу проституток высокого полета. Эту красавицу, по виду спокойную и домовитую, с чудными темными волосами, гладко причесанными, как у женщин, которые причесываются один раз, утром, на целый день, в простом шерстяном платье, отливавшем лиловым, можно было принять за самую скромную из всех служащих агентства, если б не два крупных бриллианта, свисавших с ее розовых мочек, и показалась она Христиану пленницей конторки, пленницей своих обязанностей, не то кармелиткой за оградой монастыря, не то восточной рабыней, тоскующей по воле за золоченой решеткой террасы. И еще усиливали сходство с рабыней ее застенчивая покорность, ее низко опущенная головка, а янтарный отлив кожи на висках и в верхней части лба, чересчур прямые брови и полуоткрытый рот придавали этой парижанке что-то азиатское. Христиан представил себе рядом с ней ее лысого обезьяноподобного мужа. Как попала она в лапы к этому паяцу? Это ли не разбой? Это ли не вопиющая несправедливость?

А милый медлительный голос продолжал извиняющимся тоном:

- Ах, как неприятно!.. Что ж это Том не едет!.. Скажите, пожалуйста, ваше величество, что вам угодно?.. Быть может, я сумею…

Король замялся и покраснел. Как воспользоваться ее непритворной любезностью для исполнения столь двусмысленного поручения?

По ее лицу скользнула улыбка.

- О, будьте спокойны, ваше величество!.. - настаивала она. - Книги агентства веду я.

И правда, в торговом доме чувствовалась ее власть: у овального окошечка, посредством которого убежище кассирши сообщалось со складом, поминутно вырастал кто-нибудь из приказчиков и шепотом докладывал ей о самых разнообразных вещах: “Приехали за роялем для госпожи Каритидес… Господин из отеля “Бристоль” здесь…” Она, видимо, была осведомлена обо всем, отвечала каким-нибудь одним словом, одной цифрой, и король, ощущая крайнюю неловкость, невольно задал себе вопрос: неужели и впрямь этот ангел, слетевший в лавку, это воздушное создание посвящено во все плутни, во все проделки англичанина?

- Нет, сударыня, у меня дело неспешное… Во всяком случае, оно перестало быть спешным… Пока я здесь ждал, я успел передумать…

Все это он пролепетал в сильном волнении, приникнув к решетке, потом вдруг осекся и, мысленно одернув себя, нашел, что это с его стороны дерзость и что дерзость должна отступить перед невозмутимой деловитостью женщины, чьи длинные ресницы едва не касались страниц

книги и чье перо выводило такие ровные строчки. О, как хотелось ему вырвать ее из этой темницы, схватить на руки и унести далеко-далеко, утешая и убаюкивая ее, точно малого ребенка, ласковыми словами! Соблазн был так велик, что король счел за благо удалиться, внезапно откланяться, так и не повидавшись с Томом Льюисом.

Наступил вечер, мглистый и пронизывающе холодный. Король, всегда такой зябкий, сейчас не чувствовал холода - он отослал карету и по одной из тех широких улиц, что идут от Мадлены к Вандомской площади, направился в Большой клуб пешком, в приподнятом, восторженном состоянии духа, даже не замечая, что тонкие пряди волос лезут ему на глаза, перед которыми мельтешат огни города, и что он громко разговаривает сам с собой. На улице иной раз попадаются такие прохожие: они идут легкой походкой, держа голову прямо, и от них так и брызжет счастьем, - кажется, что от соприкосновения с ними ваша одежда начинает светиться. И это радостное возбуждение Христиана не охладила печальная анфилада клубных зал, где все ощутимее сгущались тени, не охладила смутная, ничем не заполненная сумеречная пора, особенно грустная в местах полуобщественных, которым недостает уюта и обжитости домашнего очага. Зажигали лампы. Слышался шум, сопровождающий игру на бильярде, - играли, должно быть, вяло, выточенные из слоновой кости шары глухо стукались о борта, - слышалось шуршанье переворачиваемых газетных листов да усталый храп спящего посетителя, разлегшегося на диване в большом зале; шаги короля разбудили его, он повернулся к нему лицом, сладко зевнул и, без конца расправляя худые руки, мрачно спросил:

- Ну что, кутнем сегодня?..

- Ах, принц, а я вас ищу! - радостно воскликнул Христиан.

Дело в том, что принц Аксельский, попросту Куриный Хвост, уже десять лет из любви к искусству трамбовавший парижские тротуары, изучил

Париж вдоль и поперек, от подъезда Тортони до сточных канав, и, конечно, мог ему дать необходимые сведения. Зная единственное средство заставить его высочество разговориться, заставить его пошевелить отупелыми, неповоротливыми мозгами, на которые уже не действовали французские вина, хотя принц и злоупотреблял ими, - так бродящий виноградный сок не может надуть и поднять на воздух, точно аэростат, тяжелую бочку, скрепленную железными обручами, - Христиан велел немедленно подать карты. Как героини Мольера становятся остроумными только с веерами в руках, так и принц Аксельский слегка оживлялся, только когда “перебрасывался” в карты. Словом, две клубные знаменитости, свергнутый государь и наследник в беде, решили сыграть перед обедом в китайский безик - в игру, как будто нарочно придуманную для хлыщей, потому что тут не надо соображать и потому что она дает возможность самому неопытному игроку без малейших усилий продуть состояние.

- Что, Том Льюис женат? - снимая карту, с небрежным видом спросил Христиан II.

Принц уставил на него тусклые гляделки с красными веками:

- А вы не знали?

- Нет… Кто его жена?

- Шифра Лееманс… знаменитость…

При имени Шифра король вздрогнул.

- Она еврейка?

- Вероятно…

Наступило молчание. Но, значит же, сильное впечатление произвела на короля Шифра; значит же, овальное матовое лицо затворницы, блестящие ее зрачки, гладкая прическа таили в себе особое очарование, раз это очарование восторжествовало над предрассудком, раз ее черты мгновенно не изгладились из памяти славянина и католика, с детства наслушавшегося рассказов о грабежах, учиняемых в Иллирии странствующими евреями, о том, что они занимаются колдовством и знаются с нечистой силой. Христиан продолжал расспрашивать. Как назло, принц проигрывал и, углубившись в игру, поварчивал в свою длинную рыжеватую бороду:

- Ах, как мне не везет!.. Как мне не везет!..

Невозможно было вытянуть из него ни единого слова.

- А!.. Вот Ватле!.. Поди сюда, Ватле… - обратился король к только что вошедшему рослому юнцу, шумному и вертлявому, как молодой пес.

Ватле, присяжный живописец Большого клуба и high-lif’а, издали довольно красивый, но с помятым лицом, отмеченным печатью крайнего переутомления, представлял собой настоящего современного художника, имеющего весьма мало общего с бурнопламенным искусством тридцатых годов. Завсегдатай салонов и кулис, он был одет и причесан

безукоризненно, а от того мазилки, каким он был когда-то, у него сохранилась под платьем светского человека виляющая, слегка развинченная походка, изящный беспорядок как в мыслях, так и в речах да еще беспечная и насмешливая складка в углах рта. Придя однажды в клуб расписывать столовую, он сумел обаять всех этих господ, они сошлись на том, что это человек незаменимый, оставили его при клубе, и ему удалось оживить отличавшиеся некоторым однообразием клубные празднества и увеселения, удалось благодаря своей нахватанности и благодаря своей выдумке живописца внести в эти удовольствия элемент неожиданности. "Милый Ватле!.. Голубчик Ватле!.."

Без него уже нельзя было обойтись. Он был на дружеской ноге со всеми членами клуба, с их женами, с их любовницами, рисовал эскиз костюма герцогини В. для предстоящего бала в посольстве, а на обороте - эскиз кокетливой юбочки, надетой на телесного цвета трико, для мадемуазель Альзиры - маленькой хищницы, своими острыми зубками впившейся в герцога. По четвергам его мастерская была открыта для всех благородных заказчиков, и они наслаждались здесь свободой, непринужденной, перескакивающей с предмета на предмет болтовней, переливами нежных красок на обоях, на коллекциях, на лакированной мебели, на начатых холстах, на всей его живописи, чем-то напоминавшей самого Ватле, - изящной и в то же время пошловатой, - на женских портретах, исполненных по большей части с чисто парижским мастерством подделки, с уменьем навести румянец, придать пышность прическе, с тем искусством воспроизводить всякие дорогостоящие финтифлюшки, отделки, складки, сборки, оборки, которое заставляло Шприхта с пренебрежительной снисходительностью разбогатевшего выскочки так отзываться об удачливом молодом художнике: "Только этот малый и умеет писать женщин, которых я одеваю".

При первом же вопросе короля Ватле расхохотался:

- Ну как же, ваше величество, это малютка Шифра!..

- Ты ее знаешь?

- Отлично.

- Расскажи…

И пока две высокие особы доигрывали партию, художник, гордый своей близостью к ним, усевшись верхом на стул, долго устраивался поудобнее, откашливался и наконец, избрав тон балаганного зазывалы, начал:

- Шифра Лееманс родилась в Париже в тысяча восемьсот не то сорок пятом, не то сорок шестом, не то сорок седьмом году… в семье владельца магазина подержанных вещей на улице Эгинара, в Маре… В сущности, это не улица, а грязный, зловонный переулок между проездом Карла Великого и церковью Апостола Павла, - там полно жидовья… Как-нибудь, ваше величество, по дороге из Сен-Мандэ велите кучеру свернуть в этот лабиринт… Вы увидите необыкновенный Париж: дома, люди, говор - смесь эльзасского с еврейским, лавчонки, торговля старьем, перед каждым домом разложены тряпки, в тряпках роются старухи, уткнув в них крючковатые носы, или снимают верх с зонтиков, а в довершение всего собаки, насекомые, вонь - настоящее средневековое гетто, копошащееся в сохранившихся от того времени домах, балконы с железными перилами, высокие окна, разделенные перегородками пополам. Тем не менее Лееманс-отец не еврей. Он бельгиец из Гента, католик, а малышка все же имеет основание называть себя Шифрой: она наполовину еврейка - она взяла у еврейской национальности глаза и цвет лица, а вот нос у нее совсем не еврейский: у евреев нос похож на клюв хищной птицы, а у нее очаровательный прямой носик. У кого она его подцепила - этого я не сумею сказать. У папаши Лееманса такая морда, я вам доложу!.. Первую свою медаль в Салоне я получил за его морду… Да, да, честное слово. У

старика на улице Эгинара в его гнусной трущобе, которую он называет магазином подержанных вещей, в углу стоит его портрет во весь рост, а на портрете подпись: “Ватле”, и, по правде говоря, это еще не из худших моих портретов. Таким манером я проник в его домишко и поухаживал за Шифрой, а я к ней тогда неровно дышал…

- Неровно дышал?.. - переспросил король, которого каждый раз ставило в тупик впервые услышанное им жаргонное словечко. - Ах да!.. Понимаю… Дальше!..

- Конечно, не я один ею тогда увлекался. В магазин на улице Мира ежедневно совершалось настоящее паломничество; надо вам сказать, ваше величество, что к этому времени у старика Лееманса было уже два заведения. Старик - жох, он учуял перемену, какая произошла за последние двадцать лет в антикварном деле. Романтичного старьевщика во вкусе Гофмана и даже Бальзака, торговавшего в бедных кварталах Парижа, сменил антикварий, расположившийся в лучшей части города, в магазине с витриной и ярким освещением. Лееманс оставил за собой конурку на улице Эгинара, и любители продолжали туда наведываться. А для широкой публики, для прохожих, для праздношатающегося и на все заглядывающегося парижанина он открыл не где-нибудь, а на улице Мира великолепный антикварный магазин, торговавший почерневшими от времени золотыми вещами, потемневшим серебром, пожелтевшими кружевами цвета мумии, и скоро забил своих соседей - владельцев богатейших, струившихся золотым и серебряным блеском магазинов современных ювелирных изделий. Шифре было тогда всего пятнадцать лет, и ее красоту, юную и безмятежную, выгодно оттеняла вся эта старина. И какая умница, какая деловая, какой верный глаз, умеющий не хуже отца определить действительную стоимость той или иной вещицы! Сколько любителей набивалось в магазин только для того, чтобы, склонившись вместе с ней над витриной, коснуться ее пальчиков, ее шелковистых волос! Мать никого не стесняла, - эта старуха с такими черными кругами у глаз, что казалось, будто она носит очки, вечно что-то чинила, уткнув нос в кружево или в кусок старого ковра, и не обращала никакого внимания на дочь… И у нее были для этого все основания! Такую серьезную девушку,

как Шифра, сбить с пути истинного было невозможно.

- Правда? - в полном восторге воскликнул король.

- Да, государь, ей была предоставлена полная свобода. Мамаша Лееманс спала в магазине. Дочка, чтобы не оставлять старика одного, к десяти часам вечера возвращалась в лавку. И вот эта чудная девушка, славившаяся своей красотой, девушка, о которой писали во всех газетах, которой стоило кивнуть головкой - и перед ней как из-под земли выросла бы карета Золушки, каждый вечер поджидала омнибус у Мадлены, а затем ехала в совиное гнездо своего папаши. Утром она выходила из дому еще до первых омнибусов и во всякую погоду шла пешком, в ватерпруфе, надетом прямо на черное платьице, и я ручаюсь вам, что в толпе продавщиц, бегущих в капорах, шляпках или с непокрытой головой по улице Риволи-Сент-Антуан, кто с грустной, кто с веселой мордашкой, кашляющих от сырости, приоткрывая свежий ротик, всегда в сопровождении кавалеров, которые едва за ними поспевают, ни одна из них в подметки ей не годилась.

- Это в котором часу бывает? - сразу оживившись, промычал наследный принц.

- Дайте же ему досказать!.. - возмутился Христиан. - Итак?

- Итак, государь, мне удалось проникнуть в дом к моему ангелочку, и я исподтишка повел на него атаку… По воскресеньям вся семья играла в лото - на этих семейных вечерах бывал только кое-кто из старьевщиков, обитающих в проезде Карла Великого… Премилое общество! Я от них всякий раз набирался блох. Вознаграждал я себя тем, что садился рядом с Шифрой и под столом пожимал ей коленки, а она смотрела на меня своими ангельски чистыми глазками, и этот взгляд убеждал меня в ее невинности,

в непритворности, в истинности ее добродетели… Но вот однажды прихожу я на улицу Эгинара и вижу, что в доме все вверх дном, мать плачет, отец, в ярости, чистит старый мушкет - собирается застрелить коварного похитителя… Малютка сбежала с бароном Сала, одним из самых богатых покупателей папаши Лееманса, - после я узнал, что он сам сбыл ему свою дочь, точно какую-нибудь старинную безделушку… Года два-три Шифра ревниво оберегала от любопытных взоров свое счастье, свою любовь к семидесятилетнему старцу то в Швейцарии, то в Шотландии, на берегах голубых озер. В одно прекрасное утро мне сообщают, что она вернулась и содержит family hotel [13 - Семейные номера (англ.).] в самом конце авеню Антена. Бегу туда. Застаю мою бывшую симпатию, все такую же обворожительную и невозмутимую, в центре странного табльдота с бразильцами, с англичанами, с кокотками. Половина гостей еще доедала салат, а другая половина уже отодвигала скатерть, чтобы сразиться в баккара. Тут-то Шифра и познакомилась с Томом Льюисом, некрасивым, уже немолодым и без гроша в кармане. Чем он ее прельстил? Загадка. Достоверно только то, что ради него она продала свое дело, вышла за него замуж, помогла ему учредить агентство, поначалу процветавшее, роскошно обставленное, а потом пришедшее в упадок, и вот несколько месяцев назад Шифра, исчезнувшая было с горизонта, жившая затворницей в каком-то чудном замке, который приобрел Том Льюис, снова появилась в образе прелестной конторщицы… Черт побери! Что началось, когда клиенты про это прознали! Цвет клубных завсегдатаев назначает друг другу свидания на Королевской. У кассы флиртуют, как когда-то в антикварном магазине или же за табльдотом в family. Ну, а я - слуга покорный. Эта женщина меня пугает, право, пугает. Вот уже десять лет она все такая же, без единой складочки, без единой морщинки, все такие же у нее длинные загнутые ресницы, все такая же молодая, гладкая кожа под глазами, - и все это достается уродливому мужу, которого она обожает!.. Есть от чего прийти в уныние и в отчаяние даже самым пылким влюбленным.

Король от злости смешал карты.

- Да будет вам! Так я и поверил!.. Эта мерзкая обезьяна, этот картонный

паяц Том Льюис… лысый… на пятнадцать лет старше ее… каша во рту… жулик…

- Женщины таких любят, государь.

Тут выработавший нарочито вульгарную манеру говорить, нарочито растягивая слова, вмешался наследный принц:

- С этой женщиной лучше не связываться… Я довольно долго давал свистки… Никакого толку… Семафор закрыт.

- Перестаньте, Аксель! Знаем мы ваш способ давать свистки, - заметил Христиан, поняв наконец это выражение, перешедшее из железнодорожного лексикона в язык золотой молодежи. - Вы не обладаете выдержкой: вы предпочитаете неукрепленные крепости, диван Людовика Шестнадцатого… Раз, два, и готово дело… А я утверждаю: для того, кто даст себе труд влюбиться в Шифру и стерпит ее молчание, ее пренебрежение… это дело одного месяца. Не больше.

- Держу пари, что нет, - заявил принц Аксельский.

- Сколько?

- Две тысячи луидоров.

- Согласен… Спроси книгу, Ватле.

Книга, в которую заносились пари членов Большого клуба, была в своем роде не менее любопытна и поучительна, чем конторские книги притона Льюиса. Самые громкие имена французских аристократов скрепляли здесь своей подписью самые невероятные, глупейшие пари: так, например, герцог де Курсон-Люней, проспорив все до одного волоска на своем теле, вынужден был на манер мавританки выщипать их, а потом в течение двух недель не мог ни ходить, ни сидеть. Были и еще более сногсшибательные пари, и под ними стояли подписи потомков самых славных и знатных родов, потомков, не постыдившихся замарать свое имя в этом альбоме сумасбродства.

Вокруг державших пари толпились с почтительным любопытством члены клуба. И этот нелепый и циничный спор, быть может, простительный захмелевшей молодежи, у которой веселость переливается через край, здесь, где преобладали почтенные лысины, представлявшие в клубе высшие круги общества, здесь, где била в глаза геральдическая пышность подписей, - этот спор принимал характер договора между двумя державами, от которого зависела судьба всей Европы.

Составлено было пари следующим образом:

”Третьего февраля 1875 года его величество Христиан II держит пари на две тысячи луидоров, что в конце этого месяца он будет спать с Шифрой Л…

Его королевское высочество принц Аксельский принимает пари”.

”Вот тут бы им и подписаться: Забавник и Куриный Хвост!..” - унося книгу, подумал Ватле, и его лицо светского клоуна исказила судорога злобного смеха.

VI

Богема изгнания

- Ну, ну! Это мы уже слыхали!.. “Дэ, дэ!.. Yes!.. [14 - Да! (англ.)]goddam!.. [15 - Черт побери!.. (англ.)]shoking… [16 - Безобразие… (англ.)]”. Вы этим отделываетесь, когда вам не хочется платить и не хочется говорить про уплату… Но со мной этот номер не пройдет… Пора нам с вами свести счеты, старый пройдоха…

- Послушэйт, мастер Лебо: вы говорите со мной с такой зэпэлчивостью!..

Перед тем как произнести слово “зэпэлчивость”, знанием которого Д. Том Льюис, видимо, очень гордился, коль скоро повторил его три раза подряд, он запрокинул голову и, выпятив грудь, натянул манишку с огромным белым, как у clergyman’а [17 - Духовной особы (англ.).], галстуком, так что лица его теперь почти не было видно. А зрачки у Тома Льюиса бегали, бегали, и хотя глаза его были широко раскрыты, но его мысли, и без того темные, были теперь совершенно неуловимы, тогда как в зыбком, ползучем взгляде его противника, смотревшего из-под полуопущенных век, проступила сейчас, в отличие от юлившего англичанина с его плутовской многоречивостью, откровенная хищность, и не только во взгляде: хищность была написана на всей его узкой, гладкой мордочке ласки. Светлые завитые локоны, строгий, наглухо застегнутый черный сюртук, безукоризненные манеры, такт - все это делало его похожим на прокурора из старого парижского суда. Однако истинное лицо человека никогда не обнаруживается с такой определенностью, как во время пререканий и ссор из-за денег, - вот почему сейчас этот вышколенный, отполированный, как ноготь, приятнейший Лебо, бывший ливрейный лакей в Тюильрийском дворце, любимчик королевской семьи,

показал свою подлинную сущность - сущность омерзительного холуя, жадного и корыстолюбивого.

Чтобы укрыться от весеннего ливня, затопившего двор, сообщники зашли в обширный, заново оштукатуренный каретник, белые стены которого были до половины закрыты плотными циновками, предохранявшими от сырости множество великолепных экипажей, стоявших рядами, колесо против колеса, начиная с парадных карет, сверкавших зеркальными стеклами и позолотой, и кончая комфортабельным four-in-hand'ом [18 - Экипажем, запрягающимся четверкой (англ.).] для выездов на охоту, беговыми дрожками, санками, на которых королева каталась по замерзшим озерам, и у каждого из этих отдыхавших в полусумраке сарая экипажей, у каждого из этих породистых животных, дорогих, лоснящихся, похожих на сказочных коней ассирийских легенд, чувствовался свой особый нрав: у кого - резвый, у кого - смирный. Соседство конюшен, откуда слышались фырканье лошадей и звонкий стук копыт, бивших в деревянный настил, седельная, в полуотворенную дверь которой были видны навощенный паркет, панель, какая бывает в бильярдных залах, всех видов хлысты в козлах, упряжь, седла на подставках, в виде трофеев выставленные вдоль стен каретника и поблескивавшие сталью стремян, переплетения уздечек - все это усиливало впечатление комфорта и великолепия.

Том и Лебо спорили в углу каретника, и голоса их, все возвышаясь, сливались с шумом дождя, барабанившего по асфальту. Особенно громко кричал камердинер, чувствовавший, что он здесь у себя дома… Видали вы когда-нибудь такого разбойника, как Льюис?.. Нечего сказать, чистая работа!.. Кто сварганил переезд их величеств из гостиницы “Пирамиды” в Сен-Мандэ? Кто, как не он, Лебо? Сварганил, несмотря ни на что, несмотря на ожесточенное сопротивление… А что ему было за это обещано? Разве не было между ними условлено, что все комиссионные, все взятки с поставщиков - пополам? Ведь так?..

- Дэ… Yes… Это было тэк…

- Зачем же тогда жульничать?

- No… No… [19 - Нет… Нет… (англ.).] Жульничать - никогда, - приложив руку к жабо, повторял Д. Том Льюис.

- Да будет вам, старый враль!.. С каждого поставщика вы берете сорок процентов, у меня есть доказательства… А меня вы уверяли, что всего только десять… Ну, так вот: устройство в Сен-Мандэ обошлось в миллион, и я на этом заработал пять процентов, то есть пятьдесят тысяч франков, а вы - тридцать пять процентов, иными словами - пятьдесят тысяч, умноженные на семь, что составляет триста пятьдесят тысяч франков… триста пятьдесят тысяч франков… триста пятьдесят…

Лебо задыхался от злобы; эта цифра застряла у него в горле, как рыбья кость. Том пытался успокоить его: во-первых, все это сильно преувеличено… А потом, у него же колоссальные расходы… Начать с того, что он теперь платит дороже за помещение на Королевской… Столько роздано, получать очень трудно… Помимо всего прочего, для него это был случайный заработок, а Лебо здесь живет постоянно, и в доме, где тратится свыше двухсот тысяч франков в год, всегда можно чем-нибудь да поживиться.

Однако лакей смотрел на вещи иначе: его дела никого не касаются, он не даст себя облапошить какому-то паршивому англичанину, можете быть уверены!

- Господин Лебо! Вы очень дерзкая… Я не намереваюсь более долго с вами разговаривать…

Том Льюис сделал вид, что хочет уйти. Однако Лебо преградил ему путь. “Чтобы он ушел, не рассчитавшись?.. Дудки!..” Губы у лакея побелели. Он все ближе и ближе придвигал свою дрожащую мордочку, как у разъяренной ласки, к лицу англичанина, который мог кого угодно вывести из равновесия своим невозмутимым спокойствием и хладнокровием, и наконец, не выдержав, с грубой бранью поднес ему к носу кулак. Быстрым, как взмах сабли, движением тыльной стороны руки, обличавшим в Томе не столько боксера, сколько уличного драчуна, англичанин отвел кулак противника и вдруг заговорил точь-в-точь так, как говорят в Сент-Антуанском предместье:

- Нет, брат, шалишь… А то как тресну!

Слова эти произвели магическое действие. Лебо, потрясенный, сперва машинально оглянулся, как бы желая удостовериться, кто их произнес -

англичанин или кто-то другой. Затем взгляд Лебо снова остановился на Томе Льюисе, побагровевшем, вращавшем глазами, и в то же мгновение им овладел приступ буйной веселости, в которой еще дрожали отголоски недавнего гнева, и в конце концов он заразил своей веселостью и агента.

- Ну и шутник!.. Ну и шутник, черт бы тебя побрал!.. И как это я сразу не догадался?.. Вот так англичанин!..

Их обоих все еще душил смех, когда дверь седельной позади них внезапно отворилась и показалась королева. Задержавшись ненадолго в конюшне, где она собственноручно привязывала свою любимую лошадь, она не пропустила ни единого слова из этого разговора. Обман, совершенный столь низкопробными людишками, сам по себе ее мало трогал. Она давно уже раскусила лицемерного лакея Лебо, свидетеля всех ее унижений, всех бедствий. О поставщике, человеке в кебе, она имела смутное представление. Но благодаря этим людям она узнала важные вещи. Итак, устройство в Сен-Мандэ обошлось в миллион. Они-то воображали, что живут скромно, во всем себе отказывая, и вдруг выясняется, что тратят они на жизнь двести тысяч франков в год, а у них и всего-то сорок. Как могла она так долго быть слепой и не видеть, что они живут не по средствам?.. Но кто же в таком случае покрывал все их расходы? Кто платил за всю эту роскошь: за особняк, за лошадей, за экипажи, наконец, за ее туалеты, кто оплачивал ее благотворительность?.. У нее горели щеки от стыда все время, пока она шла под дождем по двору и пока быстро поднималась на крылечко интендантства.

Розен располагал в определенном порядке накладные, на которых высились столбики луидоров; при виде королевы он даже не встал, а вскочил от изумления.

- Нет, нет… Сядьте, - резко сказала королева и, наклонившись над письменным столом, положив на него руку, с которой она так и не сняла перчатки для верховой езды, решительно, настойчиво, властно заговорила: - Розен! На какие средства мы живем два года?.. Только отвечайте прямо… Я думала, что все это мы сняли, - теперь я знаю, что это было куплено на наше имя и оплачено… Теперь я знаю, что один Сен-Мандэ стоил нам больше миллиона, а ведь мы только миллион и привезли из Иллирии… Потрудитесь ответить мне, кто оказывает нам помощь, чья рука подает нам милостыню?..

Старого герцога выдал его пришибленный вид, то, как жалко задрожало его лицо всеми своими бесчисленными мелкими морщинками.

- Вы!.. Это вы!..

Как далека была она прежде от этой мысли!

Розен оправдывался, бормотал что-то о “долге”, о “благодарности”, о “возмещении”…

- Герцог! - твердо заявила королева. - Король не берет назад того, что он когда-либо дал, а королева не танцовщица, чтобы ее содержать.

Две слезинки блеснули у нее в глазах; то были слезинки гордости, и ей удалось их сдержать.

- О, простите!.. Простите!..

Розен с таким смиренным, печальным и покаянным видом целовал королеве пальцы, что она невольно смягчилась.

- Вы подсчитаете все произведенные вами затраты, мой дорогой Розен. Вам будет выдана расписка, и король рассчитается с вами в возможно более короткий срок… Что касается будущих расходов, то я займусь этим сама, я буду следить за тем, чтобы они не превышали доходов… Мы продадим лошадей, экипажи. Надо сократить штат прислуги. Государи в изгнании должны довольствоваться малым.

Старик пришел в волнение.

- Вы заблуждаетесь, государыня… Именно в изгнании королевская власть должна всемерно поддерживать свой престиж… Вы с государем меня не послушались, а ведь вам подобает жить не здесь, не в пригороде, - такое помещение хорошо снять на сезон купаний, но и только. Моя бы воля, я поместил бы вас во дворце, в той части города, где обитает парижский высший свет. Опуститься - вот, по моему крайнему разумению, наивысшая опасность, подстерегающая свергнутых королей, а это неизбежно при соприкосновении, при общении, при смешении с улицей… Я знаю, знаю: многие находят, что я смешон с моим пристрастием к этикету, с моим наивным, отжившим ригоризмом. А между тем эти формы

сейчас более чем когда-либо необходимы: они помогают сохранять горделивую осанку, а ее так легко утратить в изгнании! Это негнущаяся броня, которая заставляет воина стоять на ногах, даже когда он смертельно ранен.

Королева некоторое время молчала - на ее чистый лоб легла задумчивая складка. Затем она подняла голову:

- Это невозможно… Есть иная гордость, выше той… Я вам уже сказала: я хочу, чтобы с сегодняшнего вечера все коренным образом изменилось.

Тогда герцог заговорил настойчиво, почти умоляюще:

- И не думайте, ваше величество… Распродать лошадей, экипажи… Это равносильно объявлению, что король обанкротился!.. Сколько разговоров! Какой скандал!

- У нас происходит нечто еще более скандальное.

- А кто про это знает?.. Кто хотя бы догадывается?.. Кто может заподозрить, что старый скряга Розен… вы же сами только что сомневались… Государыня, государыня! Заклинаю вас: примите это как знак моей глубочайшей преданности… Во-первых, то, что вы предлагаете, неосуществимо… Если бы вы знали!.. Да ведь вашего годового дохода едва хватило бы королю на игру в карты!

- Нет, герцог, король больше не будет играть.

Каким тоном это было сказано, и какие у королевы были при этом глаза!.. Розен больше не возражал. Он только позволил себе прибавить:

- Я исполню желание вашего величества. Но я молю вас об одном: помните, что все, чем я располагаю, принадлежит вам. Право, я заслужил, чтобы в случае нужды вы обратились прежде всего ко мне.

Он был убежден, что подобный случай представится скоро.

Преобразования, задуманные королевой, начались на другой же день. Половину челяди уволили, ненужные экипажи отправили в Taffershall [20 - Аукцион лошадей и экипажей (англ.).] - там они были проданы, и даже на

довольно выгодных условиях, за исключением парадных карет: попробуй простой смертный завести такую карету - разговоров не оберешься. Тем не менее от карет удалось избавиться благодаря американскому цирку, прибывшему в Париж и широко себя рекламировавшему. И вот эти роскошные экипажи, которые заказывал Розен для того, чтобы у его государей осталось хоть что-то от былого великолепия, и потому, что в нем жила отдаленная надежда на возвращение в Любляну, теперь пригодились для карлиц-китаянок и ученых обезьян, для кавалькад в исторических пантомимах и для апофеозов в духе Франкони. В конце представлений эти королевские экипажи с плохо соскобленными гербами три раза подряд при подмывающих звуках музыки кружили по утоптанному песку арены, а из их окошек с опущенными стеклами высовывалась чья-нибудь гримасничающая страшная рожа или же завитая барашком голова знаменитого гимнаста, кланяющегося публике, его лоб, блестящий от помады и пота, его грудь, которую обтягивало шелковое розовое трико. Имущество венценосцев досталось клоунам и наездникам, оно стояло теперь в одном сарае с дрессированными лошадками и слонами - недобрый это знак для монархии!

Объявление в Taffershall’е, облепившее столбы вместе с другим объявлением, - о том, что в отеле Друо галисийская королева продает свои бриллианты, вызвало некоторый шум, но Париж недолго бывает занят чем-нибудь одним - его мысли следуют за летучими листами газет. Об этих распродажах говорили в течение суток. На другой день о них позабыли. Христиан II не противился нововведениям королевы. После того как он оскандалился, в добровольно принятом им ребячливом тоне, который, как он полагал, должен оправдывать в глазах королевы его проказы, слышалась теперь смущенность, даже униженность. Да и потом, чем, собственно говоря, мешали Христиану нововведения в домашнем быту? Его жизнь, жизнь светская, рассеянная, протекала вне дома. Удивительное дело: за целых полгода он ни разу не обратился за помощью к Розену! Королева это оценила, а еще она была рада, что в углу двора больше уже не стоит диковинный кеб англичанина и что она уже не встречается на лестницах с придворным заимодавцем, не видит его льстивой улыбочки.

А между тем король тратил много - никогда еще он так не прожигал жизнь, как теперь. Где же он брал деньги? Элизе узнал об этом совершенно случайно - от дядюшки Совадона, от милейшего старика, которому он в былые времена внушал “взгляды на вещи”, от единственного из своих

давнишних приятелей, с которым он поддерживал знакомство после того, как поступил на службу на улицу Эрбильона. Время от времени он ездил к нему в Берси завтракать и рассказывал о Колетте, без которой добрый старик очень скучал. Колетта, дочь его бедного, горячо любимого брата, которому он оказывал помощь, пока тот не приказал долго жить, была его приемной дочерью. Она составляла предмет постоянных его забот: он платил жалованье ее кормилицам, он заплатил за ее крестины, позднее он платил за ее ученье в самом аристократическом из парижских монастырей. Она была его слабостью, его олицетворенным тщеславием, хорошеньким манекеном, который он украшал всеми пошлыми цветами своей не знавшей удержу, вечно бурлившей фантазии выскочки-миллионера. И когда в приемной монастыря Сердца Христова маленькая Совадон шептала дяде: “Вот у этой мать - баронесса, вон у той - герцогиня, а у той - маркиза…” - миллионер поводил своими широкими плечами и говорил: “Мы из тебя что-нибудь получше сделаем”. И когда ей исполнилось восемнадцать лет, он сделал ее княгиней. В Париже сколько угодно сиятельных особ, гоняющихся за приданым. В агентстве Льюиса большой выбор таких особ - надо только сговориться о цене. И Совадон нашел, что заплатить два миллиона за то, чтобы посиживать в уголке салона молодой княгини Розен в те вечера, когда у нее бывают гости, за право улыбаться широкой вислогубой улыбкой, проблескивавшей в обрамлении его завитых колечками баков, вышедших из моды со времен Луи-Филиппа, - это совсем не так дорого. Выражение его серых живых, плутоватых глазок - точно такие же глазки были и у Колетты - до известной степени смягчало все то нечленораздельное, неуместное, малограмотное, что пропускали его толстые, растянутые в виде неправильной подковы губы, смягчало взмахи его больших короткопалых рук, которые даже в желтых перчатках все еще помнили, как они когда-то катили на пристани бочки.

На первых порах он робел, упорно молчал, удивлял, пугал людей своим безмолвием. Но позвольте: где же ему брать уроки красноречия? Не у себя же в складе, в Берси, торгуя южными винами с примесью фуксина или сандала. Впоследствии благодаря Меро у него появились готовые мнения, появились смелые суждения, связанные с каким-нибудь злободневным событием или же нашумевшей книгой. Дядюшка заговорил - и в общем недурно вышел из положения, но все же ляпал иногда такие вещи, что от хохота чуть-чуть не падала люстра, и еще этот водонос в белой жилетке приводил в ужас собеседников некоторыми своими теориями в духе де Местра, которые он излагал в весьма красочных выражениях. Но вот в

один прекрасный день бывшие властелины Иллирии похитили у Совадона поставщика идей и таким образом лишили его возможности щеголять ими. Колетту удерживали в Париже обязанности фрейлины, - она безотлучно пребывала в Сен-Мандэ, а Совадон отлично знал начальника гражданской и военной свиты и потому не надеялся туда проникнуть. Он об этом и не заикался. Вообразите себе герцога, который подводит, который представляет гордой Фредерике - кого?.. Виноторговца из Берси! И притом не виноторговца в прошлом, а как раз наоборот: такого, который продолжает ворочать делами. Несмотря на свое миллионное состояние, глухой к мольбам племянницы, Совадон все еще торговал; с пером за ухом, со встопорщенным белым хохлом, он проводил все дни на пристани, в винном складе, среди возчиков и моряков, то выгружавших, то грузивших на суда бочки с вином, или под деревьями-великанами обезображенного, поделенного на участки старинного парка, где под навесами стояли рядами его сокровища в виде неисчислимого количества винных бочек. “Как только я застопорю, так сейчас и умру”, - говорил он. И в самом деле: он жил стуком катящихся бочек, жил дивным запахом плохого вина, который поднимался из старых подвалов, где помещались его огромные склады, - в одном из таких подвалов сорок пять лет тому назад Совадон начал свою карьеру в качестве бондаря-подмастерья.

Вот куда Элизе Меро ездил иногда навестить своего бывшего ученика, а заодно получить наслаждение от завтрака, которым вас могут накормить в Берси, и нигде больше: вы сидите под деревьями парка или под сводчатым потолком погребка, вас угощают холодным вином, налитым прямо из бочки, вас потчуют матлотом из рыбы, которая только что у вас на глазах билась в садке, причем этот матлот приготовляется особым способом, как его приготовляют где-нибудь в лангедокской или вогезской глуши. Теперь уже добрый старик не нуждался во “взглядах на вещи”, - он больше не посещал званых вечеров у Колетты, - он просто любил слушать Меро, любил смотреть, как тот ест и пьет в свое удовольствие: он считал Элизе самым настоящим неудачником, он так и видел перед собой его берлогу на улице Мсье-ле-Пренс. Он знал по себе, что такое голод, и проявлял трогательную заботу о том, чтобы накормить бедняка. Меро рассказывал ему о племяннице, о ее жизни в Сен-Мандэ, и в этих его рассказах сверкал отблеск того великолепия, которое так дорого стоило почтенному виноторговцу и которое было закрыто от него навсегда. Понятно, он гордился тем, что молодая фрейлина обедает с королями и королевами, участвует в придворных церемониях, но от тоски по Колетте он часто

бывал не в духе, и его неприязнь к старику Розену все росла.

- И чем это он так кичится? Именем, титулом?.. Да я же ему чистоганом за все заплатил!.. Крестами, лентами, звездами?.. Э, у меня все это будет, стоит мне только захотеть!.. Ах да, ведь вы, дорогой Меро, ничего еще не знаете… Пока мы с вами не виделись, мне выпала удача.

- Какая, дядюшка?

Меро называл Совадона “дядюшкой” со свойственной южанину ласковой фамильярностью, из желания показать, что он питает к этому толстому купцу особую симпатию, лишенную, однако, всякой духовной связи.

- Дорогой мой! У меня Иллирийский Лев… крест командора… А герцог гордится лентой Большого креста!.. На Новый год я поеду к нему с визитом и нацеплю свою бляху… Это ему спеси-то поубавит…

Элизе ушам своим не верил. Орденом Льва, одним из самых старинных, самых почетных орденов в Европе награжден… Совадон, “дядюшка”!.. За что?.. За торговлю разбавленным вином в Берси?

- О, это очень просто! - сказал Совадон, скользнув по нему своими серыми глазками. - Я купил себе звание командора и с таким же успехом мог купить и княжеский титул… Если б я дал больше, у меня была бы лента Большого креста - она ведь тоже продается.

- Где? - бледнея, спросил Элизе.

- Да в агентстве Льюиса, на Королевской… У этого чертова англичанина все можно найти… Мой крест обошелся мне в десять тысяч франков… Лента стоит пятнадцать… Я знаю, кто себе сделал такой подарок… Угадайте!.. Бискара, знаменитый парикмахер с бульвара Капуцинок… Милый мой! Да это же всему Парижу известно!.. Подите к Бискара - вы увидите в глубине большого зала, где он священнодействует вместе со своими тридцатью мастерами, громадную фотографию, на которой он снят в виде Фигаро, с бритвой в руке и с орденской лентой на шее… В уменьшенном виде эта фигура воспроизведена на всех флаконах, которые стоят у него в парикмахерской… Если б генерал Розен это увидел, усы поднялись бы у него прямо к носу… Знаете, как он делает…

Совадон попытался передразнить генерала, но так как усов у него не было, то вышло совсем не похоже.

- И у вас есть королевская грамота, дядюшка?.. Покажите, пожалуйста!

Элизе надеялся, что подпись подделана, что это подлог, а подлоги агентство Льюиса совершало без зазрения совести. Но нет! Все оказалось правильно, составлено по форме, на бумаге с иллирийским гербом, за подписью Босковича и с грифом Христиана II. Сомнений не оставалось. С дозволения короля шла бойкая торговля крестами и лентами. И вот, чтобы окончательно в этом убедиться, Меро решил тотчас по возвращении в Сен-Мандэ зайти к советнику.

Он нашел Босковича в углу огромного холла, из которого состоял весь верхний этаж и который служил Христиану рабочим кабинетом, хотя Христиан никогда в жизни не работал, фехтовальным и гимнастическим залом, а также библиотекой. Боскович сидел среди ящичков, толстых конвертов из оберточной бумаги и наложенных один на другой листов, между которыми сушились растения. В изгнании ученый опять начал собирать коллекцию, благо в Венсенском и Булонском лесах французская флора представлена во всем своем богатстве. Кроме того, он купил гербарий одного недавно умершего выдающегося натуралиста. И вот сейчас, углубившись в изучение новых сокровищ, наклонив бескостную, неопределенного возраста голову над лупой, он бережно переворачивал тяжелые листы, и глазам его являлись растения, их венчики, края которых уже успели поблекнуть, их распластанные и приплюснутые корни. Если оказывалось, что экземпляр не поврежден, что он хорошо сохранился, Боскович сначала вскрикивал от радости и от восторга, потом, после тщательного осмотра, вкусно причмокивая, читал вслух его латинское название и сведения о нем, значившиеся внизу листа, внутри маленького картуша. Иногда, наоборот, у него вырывалось гневное восклицание при виде цветка, изъеденного, источенного невидимым червячком, который хорошо известен составителям гербариев, тлей, рождающейся из пыли растений и ею питающейся, не просто опасной, а чаще всего губительной для коллекций. Стебель был еще цел, но стоило шевельнуть бумагой, и лепестки, корни - все рассыпалось в тончайшую пыль.

- Это червяк… Это червяк… - глядя в лупу, твердил Боскович и с убитым и вместе гордым видом показывал на дырочки, подобные тем,

какие древоточец оставляет в дереве, и обозначавшие путь, которым следовал вредитель.

У Элизе отпали подозрения насчет Босковича. Маньяк был не способен на подлость, но он не способен был и оказать хотя бы слабое сопротивление.

Как только Меро повел речь об орденах, Боскович задрожал и стал боязливо и недоверчиво смотреть в сторону, поверх лупы… Что такое?.. Да, верно, он получил распоряжение от короля заготовить грамоты на право ношения различных орденов, оставив пустые места для имен, но больше он ничего не знает и никогда не позволил бы себе расспрашивать короля.

- Ну так вот, господин советник, - значительно заговорил Элизе, - предупреждаю вас, что государь при посредстве агентства Льюиса торгует крестами.

И тут он рассказал ему историю гасконского цирюльника, забавлявшую весь Париж. Боскович имел привычку по-женски вскрикивать - вскрикнул он и на сей раз, однако в глубине души он был этим весьма мало задет: все, что не имело отношения к его мании, не представляло для него интереса. Гербарий, который ему пришлось оставить в Любляне, был для него символом отчизны; тот, который он принялся составлять здесь, - символом жизни во Франции.

- Послушайте! Но ведь это же недостойно… недостойно такого человека, как вы… участвовать в темных делишках!

Боскович в отчаянии, что ему насильно раскрыли глаза на то, чего он не хотел замечать, лепетал:

- Ma che… ma che… что же я тут могу поделать, глубокоуважаемый господин Меро?.. Король есть король… Когда он говорит: “Боскович! Напиши то-то и то-то”, - я повинуюсь ему, не рассуждая… тем более что государь так ко мне добр, так милостив! Он увидел, что я в ужасе от потери моего гербария, и сейчас же купил для меня этот… За полторы тысячи франков - баснословно дешево!.. А в придачу я получил еще Hortus Cliffortianus [21 - “Сад Клиффорта” (лат.).] Линнея, первое издание.

Наивно, цинично бедняга обнажал свою совесть. Там все было сухо и мертво, точно в гербарии. Мания, жестокая, как незримый червь - враг натуралистов, проела, прогрызла ее насквозь. Он встревожился лишь после того, как Элизе пригрозил все рассказать королеве. Только тут маньяк оставил свою лупу и вполголоса, с глубокими вздохами, точно святоша на исповеди, пустился в откровенности… Да, у него на глазах делалось много такого, против чего восставала вся его душа, от чего он приходил в отчаяние… Короля окружают дурные люди… E poi che volete? [22 - Но что же вы хотите? (итал.)] У него нет призвания к тому, чтобы править страной… Он не любит царствовать… Да и никогда не любил…

- Вот хоть бы взять такой случай… Это было очень давно… еще при жизни покойного Леопольда… Однажды Леопольд вышел из-за стола, и тут с ним приключился первый удар, а двенадцатилетний Христиан был тогда в патио, играл в крокет, и, когда ему сказали, что дядин престол займет, вне всякого сомнения, он, мальчик как заплачет, как заплачет!.. Настоящий нервный припадок… Говорит: “Не хочу быть королем!.. Не хочу быть королем!.. Пусть вместо меня царствует мой кузен Станислав!..” Впоследствии я вспоминал об этом всякий раз, когда замечал в глазах Христиана Второго то же оторопелое, испуганное выражение, какое было у него в то утро, когда он, вцепившись в крокетный молоток, кричал так, словно боялся, что его сейчас унесут в тронную залу: “Не хочу быть королем!..”

Вот в этом весь Христиан. Да нет же, он был совсем не злой человек, - этот взрослый ребенок слишком рано женился, страсти в нем бушевали, пороки у него были наследственные… Его образ жизни - ночи в клубе, женщины, ужины… - что ж, в известном кругу это считается нормальным поведением мужа. Вся беда была в том, что ему приходилось играть роль короля, а играть ее он не умел, что нести такую ответственность ему оказалось не по силам, не по плечу, особенно в изгнании, потому что здесь он медленно разлагался. Посильней его люди - и те не выдерживают выбитости из привычной колеи, неуверенности в завтрашнем дне в сочетании с несбыточными надеждами, с томлением, с муками ожидания. В изгнании, как на море, бывает безветрие, - люди от него тупеют, у них опускаются руки. Это переходный фазис. Тоску бесприютности можно рассеять, если у тебя есть определенное дело, если ты хотя бы несколько часов в день отводишь для занятий. Но чем прикажете заняться королю, у которого нет больше ни народа, ни министров, ни совета, которому нечего

решать, нечего подписывать и которого игра во все это не удовлетворяет, так как он достаточно умен или же слишком большой скептик, чтобы видеть в такой игре нечто забавное, а кроме того, слишком невежествен, чтобы приняться за какой-нибудь усидчивый труд? И вот еще что: изгнание подобно не только морю, но и кораблекрушению, выбрасывающему на берег пассажиров первого класса, привилегированных пассажиров, вперемешку с “палубниками” и с “третьим классом”. Нужна властная надменность, нужно обладать той силой воли, какая должна быть у настоящего повелителя, чтобы не дать себя захлестнуть вольностям, оскорбительному панибратству, из-за которого после придется краснеть и страдать; чтобы остаться королем и среди лишений, бедствий, унижений, смешивающих все слои общества в единое жалкое человеческое стадо.

Увы! В королевский дом Иллирии, который ценою колоссальных жертв так долго оберегал герцог Розен, хлынула богема изгнания. Королю не на что стало “прожигать жизнь”. Тогда он, как молодой человек из богатой семьи, начал выдавать векселя, - он находил, что это, принимая во внимание содействие Д. Тома Льюиса, гораздо проще и даже гораздо удобнее, нежели “чеки в нашу кассу”, которые он прежде направлял начальнику своей гражданской и военной свиты. Векселям истекал срок, король без конца их переписывал, вплоть до того дня, когда Том Льюис, оставшись без гроша, придумал почтенную торговлю орденами, изобрел род занятий для короля, у которого нет ни народа, ни цивильного листа и у которого нет никаких других ресурсов. Разделанная туша несчастного Иллирийского Льва, разрубленная на части, на куски, словно туша презренного убойного скота, лежала на прилавке и продавалась вразвес: кому угодно гриву, кому - лопатку, кому - ребра или когти? И это еще только начало. Усевшись в кебе Тома Льюиса, король будет ехать по этой гладкой дорожке все дальше и дальше.

Так думал Меро, спускаясь по лестнице после разговора с Босковичем. Он видел ясно, что на советника полагаться нельзя, - его, как всякого маньяка, легко подкупить. Он сам был новичком, он был чужим в доме и не мог иметь влияния на Христиана. А что, если обратиться к старику Розену? Но когда он как-то с ним заговорил, герцог остановил его грозным взглядом человека, оскорбленного в своем религиозном чувстве. Как бы

низко ни пал король, все же он оставался для него королем. На монаха тоже нечего было рассчитывать: его лицо с одичалыми глазами, после каждого путешествия казавшееся еще более загорелым и испитым, появлялось в доме редко, и жил он в Сен-Мандэ мало - от поездки до поездки…

Поговорить с королевой?.. Но она все эти последние месяцы была так печальна, так удручена; ее прекрасный строгий лоб мрачила тревога; уроки она слушала теперь более чем рассеянно, мысли у нее были далеко, рука безжизненно лежала на вышиванье. Ее угнетали тяжелые заботы, чуждые ей, потому что это были заботы низменные, денежные, она испытывала унизительное чувство при виде множества протянутых к ней рук, в которые ей уже нечего было положить. Поставщики, нуждающиеся, товарищи по изгнанию и по несчастью… Безрадостное ремесло властителя ко многому обязывает даже тогда, когда у него не остается никаких прав. Все, кто, узнав дорогу к преуспевающему семейству короля Христиана, часами теперь ожидали в передней и часто, наскучив ожиданием, удалялись со словами, которые королева, не слыша, угадывала - угадывала в недовольной походке, в усталых лицах этих людей, которые уже три раза уходили ни с чем. Она действительно попыталась навести порядок в делах, начать жить по-новому, но ей не везло: деньги невыгодно помещались, курс ценных бумаг не повышался. Приходилось либо ждать, либо все терять. Бедная королева Фредерика, полагавшая, что она изведала все виды горестей, только теперь познала невзгоды, от которых люди прежде времени старятся, познала грубое, оскорбительное прикосновение будничной, повседневной жизни. По ночам она, точно глава торгового предприятия, не могла без содрогания думать о том, что близится конец месяца. Жалованье прислуге иногда задерживалось, и королева боялась почувствовать недовольство в мешкотном исполнении приказания, в чуть-чуть менее покорном выражении лица. Наконец она узнала, что такое долги, подтачивающие человека исподволь, своим дерзким напором взламывающие самые крепкие и особенно богато украшенные двери. Старый герцог, задумчивый и молчаливый, зорко следил за переживаниями королевы, он все ходил вокруг нее, как бы говоря: “Я здесь”. Но она твердо решила исчерпать все возможности и лишь в самом крайнем случае изменить данному слову и обратиться за помощью к человеку, которому она однажды преподала столь сокрушительный урок гордости.

Как-то вечером все собрались в большой зале, - это были скучные, однообразные вечера, на которых король обычно отсутствовал. На ломберном столе зажигались свечи в серебряных подсвечниках, составлялся так называемый вист королевы: герцог и ее величество против г-жи Элеоноры и Босковича. Княгиня тихонько наигрывала на фортепьяно “Иллирийские напевы”, - Фредерика могла слушать их сколько угодно, и стоило ей каким-либо знаком выразить свое удовольствие, как под пальцами музыкантши они превращались в бравурный марш. Лишь одни эти отзвуки родины, вызывавшие на лицах изгнанников то улыбку сквозь слезы, то воинственное выражение, нарушали в богатом буржуазном салоне, приютившем высочайших особ, привычную для изгнанников атмосферу покорности.

Пробило десять.

Королева, вместо того чтобы подняться к себе, как это она делала ежевечерне, подавая своим уходом знак, что-де пора расходиться, рассеянным взглядом окинула присутствующих и сказала:

- Вы все можете удалиться. Мне надо поработать с господином Меро.

Элизе, просматривавший у камина брошюру, закрыл ее и, поклонившись королеве, прошел в классную за пером и чернилами.

Когда он вернулся, королева была одна в комнате, и она долго еще прислушивалась к стуку экипажей, выезжавших со двора, потом к скрипу запирающихся ворот, потом к хождению по коридорам и лестницам, которое в многолюдном доме всегда начинается перед сном. Наконец

воцарилась тишина, оберегаемая плотной стеной леса, скрадывавшего шумом ветра и шелестом листьев далекие отголоски Парижа. При взгляде на опустевшую залу, безмолвная уединенность которой была все еще ярко освещена, казалось, что здесь непременно должна сейчас разыграться трагическая сцена. Фредерика облокотилась на стол и отодвинула бювар, приготовленный Меро.

- Нет… Нет… Сегодня мы не будем работать… - начала она. - Это только так, предлог… Садитесь… Давайте поговорим… - И, понизив голос, добавила: - Мне надо у вас спросить одну вещь…

Но, по-видимому, ей очень трудно было собраться с духом, - полузакрыв глаза, она призадумалась, и ее сразу постаревшее, все до последней черты, лицо приняло то страдальческое выражение, которое Меро замечал у нее и прежде и от которого оно становилось еще прекраснее, ибо в такие мгновенья на нем особенно ясно отпечатлевались все принесенные ею жертвы, все ее самоотвержение, в его чистых линиях разливались самые чистые чувства, на какие только способна королева и женщина. Элизе тогда просто благоговел перед нею… Наконец, сделав над собой чрезвычайное усилие, она тихо и несмело, так, что каждое ее слово было похоже на робкий шаг, обратилась к Меро с вопросом, не может ли он сказать… где в Париже… дают под залог…

Ему ли, типичнейшей богеме, не знать все парижские ломбарды! В течение двадцати лет они служат ему подспорьем: зимой он сдает туда летние вещи, а летом - зимние… Как ему было за это время не усвоить, что значит “сбегать в ломбашку”, что значит “отвезти вещи в Ломбардию”! Жаргон нищеты, который он изучил еще в юные годы, мгновенно воскрес в его памяти, и он невольно улыбнулся. А королева уже более твердым голосом продолжала:

- Я хочу попросить вас отнести туда… кое-какие драгоценности. Бывают

затруднительные положения…

Тут она подняла на него свои прекрасные глаза, и, когда он заглянул в них, перед ним разверзлась тихая бездна нечеловеческого горя.

Короли - в нищете! Унижено безмерное величие!.. Что же это такое?..

В знак согласия Меро наклонил голову. Скажи он ей хоть одно слово - он бы разрыдался; сделай он хоть одно движение - он неминуемо упал бы к ногам бедствующей царицы. Но в этот миг его обожание королевы размягчила жалость. Сейчас королева казалась ему менее величественной, чем прежде, не так высоко стоящей над прозой жизни; в том горестном признании, которое она только что ему сделала, он ощутил нечто от мира богемы, нечто такое, что знаменовало для нее начало падения и что уменьшало разделявшее их расстояние.

Королева внезапно поднялась, взяла и положила на стол древнюю реликвию, всеми забытую под колпаком из горного хрусталя, - точно бросила горсть многоцветных драгоценных камней, Элизе вздрогнул.

- Корона!..

- Да, корона… Шестьсот лет владеет ею царствующий дом Иллирии… Ради того, чтобы ее защитить, гибли короли, лились потоки дворянской крови… Теперь пусть она нас поддержит. У нас больше ничего не осталось…

Это была чудная старинная закрытая диадема, изукрашенные пластинки которой сходились над шапкой алого бархата. На пластинках, на витом филигранном обруче, в чашечке каждого цветка, строением напоминавшего трилистник, на ажурных зубцах дуг, на которых держались трилистники, были вделаны все известные нам разновидности драгоценных камней, и взор любовавшегося короной пленялся прозрачной синевой сапфира, нежной голубизной бирюзы, заревым багрянцем топазов, пламенем восточных рубинов, изумрудами - каплями дождя на листьях, и таинственным опалом, и жемчугом цвета молочно-белого ириса. Но ни с чем не сравнимое зрелище являли собой усыпавшие всю диадему бриллианты, грани которых переливались тысячами огней со всеми их оттенками, и эта рассеянная искрящаяся пыль, это облако, насквозь пронизанное солнцем, растворяли в себе и смягчали блеск диадемы, и без того притушенный временем: так в глубине алтаря слабо мерцает серебряный светильник.

Дрожащий палец королевы коснулся диадемы в разных местах:

- Надо вынуть несколько камней… самые крупные…

- Но чем?

Они перешептывались, как преступники.

В зале, однако, никакого подходящего предмета не оказалось.

- Посветите… - молвила Фредерика.

Они перешли в застекленную веранду, и, плывя по ней, высокая лампа выкраивала из цельного мрака фантастические тени и расстилала в ночном саду световую дорожку, терявшуюся у дальнего края лужайки.

- Нет… Нет… Только не ножницами… - видя, что Элизе направляется к ее рабочей корзиночке, прошептала Фредерика. - Этими ножницами тут ничего не сделаешь… Я уже пробовала…

На кадке, где росло гранатовое дерево, которое всеми своими тонкими ветками тянулось к лунному свету, вливавшемуся сквозь стекла, они обнаружили садовые ножницы. Вернувшись с Фредерикой в залу, Элизе попытался кончиком ножниц приподнять огромный овальный сапфир, на который ему указала королева, но крепко вделанный кабошон не поддавался, скользил под железом, не желал выходить из гнезда. К тому же рука оператора, боявшегося попортить камень или сломать оправу, на золоте которой остались царапины от первых попыток, была рука слабая и неуверенная. Элизе это причиняло муки: его заставляли нанести короне оскорбление, с чем никак не могла примириться его душа роялиста. Ему казалось, что корона содрогается, защищается, отбивается…

- Не могу… Не могу… - отерев потный лоб, проговорил он.

- Ничего не поделаешь… - отозвалась королева.

- Но это же будет заметно!

Она улыбнулась насмешливо-гордой улыбкой:

- Заметно!.. А кто на нее смотрит?.. Кто о ней думает, кто, кроме меня, за нее страдает?..

Меро снова взялся за дело: он зажал между колен диадему, до того низко склонил над ней бледное-бледное лицо, что его длинные волосы лезли ему на глаза, садовые ножницы опять принялись ковырять и терзать ее, а Фредерика, высоко держа лампу, наблюдала за святотатством так же бесстрастно, как бесстрастно сверкали на столе, вместе с кусочками золотой оправы, камни, неповрежденные и все такие же прекрасные, несмотря на то что их вырвали с корнем.

Утром Элизе куда-то ушел, но к завтраку явился по звонку, сел за стол, однако в разговор почти не вмешивался - так он был чем-то взволнован и расстроен, хотя обычно являлся вдохновителем, душою застольных бесед. Его смятение передалось королеве, не возмутив, однако, безмятежности ее улыбки и спокойного звучания ее контральто. Завтрак кончился, а они долго еще не могли подойти друг к другу и поговорить на свободе, - их связывал этикет, правила поведения, принятые в этом доме, а также присутствие фрейлины и ревнивый надзор г-жи Сильвис. Наконец пришло время начинать урок. Пока маленький принц усаживался и раскладывал книжки, Фредерика завела с Элизе разговор:

- Что с вами?.. Что меня еще ждет?..

- Ах, государыня!.. Все камни - фальшивые…

- Фальшивые?..

- Да, весьма искусная подделка… Как же это могло случиться?.. Когда? И кто этим занимался?.. Значит, в доме завелся вор!

При слове “вор” Фредерика страшно побледнела. В порыве гнева и с отчаянием во взоре она процедила сквозь зубы:

- Вы правы… В доме есть вор… и мы с вами отлично его знаем… - Затем быстрым движением схватила Меро за руку, как бы заключая с ним тайный союз: - Но мы его не выдадим, правда?

- Никогда!.. - сказал Меро и отвел глаза: они поняли друг друга с полуслова.

VII

Народное гулянье

В первое майское воскресенье, воспользовавшись дивным, ясным, по-летнему погожим днем, до того теплым, что пришлось опустить верх ландо, королева Фредерика, малолетний принц и его наставник совершали прогулку в лесу Сен-Мандэ. Первая ласка весны, доходившая до королевы сквозь свежую зелень листьев, согревала ей душу, словно вешние лучи, освещавшие ее лицо под натянутым голубым шелком зонтика. Она была беспричинно счастлива; уютно устроившись в углу громоздкого экипажа,

прижав к себе ребенка, она среди умиротворенной природы позабыла на некоторое время о жестокости жизни и отдалась задушевности и беспечности непринужденного разговора с Элизе Меро, сидевшим напротив них.

- Странно! - говорила она. - У меня такое чувство, будто я вас где-то видела до того, как мы познакомились. Ваш голос, ваш облик мгновенно пробудили во мне какое-то смутное воспоминание. Где же все-таки мы с вами встретились в первый раз?

Маленький Цара хорошо запомнил этот “первый раз”. Встреча состоялась в монастыре, там, в подземном приделе храма, где г-н Элизе показался ему таким страшным. И в робком и кротком взгляде, каким ребенок смотрел на своего учителя, все еще мелькал отсвет этого суеверного страха… Но королева - королева была убеждена, что она видела Элизе до того сочельника.

- Я начинаю думать, что это было еще в нашей доземной жизни, - почти серьезно заметила она.

Меро засмеялся:

- Да, вы правы, ваше величество, вы могли меня видеть, но только не в ином мире, а здесь, в Париже, в день вашего приезда. Я взобрался на цоколь тюильрийской решетки как раз напротив гостиницы “Пирамиды”…

- И вы крикнули: “Да здравствует король!..” Теперь я все вспомнила… Значит, это были вы? Как я рада! Вы первый приветствовали нас… Если б вы знали, как меня окрылило ваше приветствие!..

- И меня самого тоже!.. - подхватил Меро. - Так давно не представлялся мне случай торжествующе воскликнуть: “Да здравствует король!..” Так долго мои губы беззвучно выпевали это восклицание!.. Ведь я всосал его с молоком матери, оно окрашивало мои детские и юношеские радости, с ним связаны все волнения и упования моей семьи. Это восклицание вызывает в моей памяти южный выговор, жест и голос моего отца, при этом восклицании мои глаза увлажняет то же умиление, которое я столько раз замечал у него… Бедняга! Все это было у него в крови; в этих нескольких словах заключался для него целый символ веры… Когда он, проездом из Фросдорфа, был в Париже, он случайно оказался на Карусельной площади

перед самым выходом Луи-Филиппа. Короля ожидал, прихлынув к решетке, народ, равнодушный, даже враждебный - одним словом, народ эпохи конца его царствования. Мой отец, узнав, что скоро должен появиться король, раздвинул, растолкал толпу и стал впереди, чтобы лучше было видно, чтобы смерить с головы до ног и облить презрением этого разбойника, этого негодяя Луи-Филиппа, незаконно завладевшего престолом… Наконец появляется король и идет по безлюдному двору среди гробового, тяжкого, придавившего Тюильрийский дворец молчания, в котором чуткое ухо может уже расслышать, как мятеж заряжает ружья и как трещат ножки трона… Луи-Филипп, по виду - мирный обыватель, уже старый, с колыхающимся животиком, держа в руке зонт, семенит по направлению к ограде. Ничего царственного, ничего властного в нем нет. Но мой отец смотрит на него уже иными глазами: по обширному двору, вымощенному воспоминаниями о славном прошлом, ибо в глубине его стоит дворец французских королей, идет монарх, идет сквозь зловещую тишину, которая для государей всегда является показателем народной ненависти, и душа моего отца этого не вынесла, возмутилась; забыв про свои обиды, он быстро, инстинктивно обнажил голову и крикнул, вернее, взрыдал: “Да здравствует король!” - так громко, так убежденно, что старик вздрогнул и поблагодарил его долгим взволнованным взглядом.

- Я должна была бы поблагодарить вас точно так же… - молвила Фредерика, и взор ее, устремленный на Меро, выражал такую нежную признательность, что бедный малый почувствовал, как с его лица сбегает краска.

Все еще под впечатлением его рассказа, она после короткого молчания обратилась к нему с вопросом:

- Но ведь ваш отец не был дворянином?

- О нет, государыня!.. Это был самый что ни на есть скромный простолюдин… обыкновенный ткач…

- Странно… - задумчиво проговорила Фредерика.

Он возразил, и тут их вечный спор возобновился. Королева не любила народ, не понимала его, испытывала к нему что-то вроде физического отвращения. Она находила, что народ груб, что он одинаково страшен и

тогда, когда веселится, и тогда, когда мстит. Она боялась его даже во время коронационных торжеств, в медовый месяц своего царствования, - боялась этого леса рук, тянувшихся к ней с приветствием: ей казалось, что она попала к ним в плен. Отчужденность в отношениях королевы с народом так и не прошла. Милости, благодеяния, подачки, которыми она осыпала народ, были подобно посевам, не дающим всходов, с той разницей, что каменистая почва и плохой сорт семян тут уже были ни при чем.

Среди других сказок, коими г-жа Сильвис затуманивала мозг малолетнего принца, она рассказывала ему историю юной сирийки, вышедшей замуж за льва: сирийка ужасно боялась своего дикого супруга, боялась его рычания, боялась той порывистости, с какой он встряхивал гривой. А между тем бедный лев был к ней очень внимателен, окружал ее нежной заботой, приносил своей маленькой женушке редкостную дичь, сотовый мед, оберегал ее сон: повелевал морю, лесам и зверям не шуметь, когда она спит. Все было напрасно! Она по-прежнему испытывала к нему отвращение, обидный для него страх, и это продолжалось долго, но в конце концов лев рассердился и, разинув пасть - а грива у него от злости встала дыбом, - так грозно прорычал ей: “Убирайся вон!”, как будто собирался не отпустить ее на все четыре стороны, а разорвать в клочки. Так вот, между этой историей и историей взаимоотношений Фредерики и ее народа было нечто общее, и Элизе, поселившись у нее в доме, тщетно пытался внушить ей, как много скрытой доброты, как много рыцарской преданности, как много суровой щепетильности в этом огромном льве, который столько раз рычит шутя, прежде чем разозлится как следует! Ах, если бы государи захотели… если бы они не были так подозрительны…

- Да, я понимаю… - видя, что Фредерика недоверчиво помахивает зонтиком, убежденно заговорил Меро. - Вы боитесь народа… Вы его не любите, вернее, вы его не знаете… Но, ваше величество, посмотрите вокруг, окиньте взглядом эти аллеи, загляните под деревья… Здесь гуляет и развлекается самое страшное предместье Парижа, то самое, откуда революции идут дальше, разбирая по булыжнику мостовые… И как же все эти люди бесхитростны и добры, естественны и простодушны!.. Как они блаженствуют, как наслаждаются отдыхом, солнечным днем!..

Ландо медленно двигалось по главной аллее, и отсюда хорошо были видны на земле, под кустами, казавшимися густо-лиловыми от первых лесных гиацинтов, расцветших в тени их еще по-весеннему сквозистых

веток, приготовленные для завтрака и выделявшиеся яркими пятнами белые тарелки, раскрытые корзинки, толстого стекла трактирные стаканы, торчавшие из зелени, точно громадные пионы. На ветках висели блузы и шали. Мужчины без пиджаков, женщины в одних платьях, прислонившись к деревьям, рукодельничали, читали, отдыхали. На веселых прогалинах порхали дешевые платья девушек, игравших в жмурки, в волан или же танцевавших импровизированную кадриль под долетавшие сюда порою звуки невидимого оркестра. А дети! Сколько тут было детей, сновавших между завтракающими и играющими, носившихся целыми стаями от одной семьи к другой, прыгавших, визжавших, сливавших весь лес в один безбрежный ласточкин щебет, и так же, как ласточки, без устали летали они взад и вперед, так же быстро, так же своевольно мелькали они черными точками в просветах между деревьев. В противоположность Булонскому лесу, который чистят, за которым следят, который защищен деревенскими заборчиками, Венсенский лес, где можно ходить всюду, с его примятой, но все же зеленой травой, с его пригнутыми, но все же не сдающимися деревцами, оттого что природа здесь как будто и незлобивее и жизнеспособнее, был точно создан для забав веселящегося простонародья. Вдруг у наследника вырвался восторженный крик: от озера, раскинувшего лес по своим травянистым и крутым берегам, исходила мощная струя воздуха и света. Это было не менее величественно, чем море, внезапно открывающееся после сухого каменного лабиринта бретонской деревни и докатывающее волны в часы прилива как раз до той черты, где обрывается последний проулок. Расцвеченные флагами лодки, пестревшие ярко-синей и ярко-красной одеждой гребцов, взрезали водную равнину во всех направлениях, проводя веслами серебряные борозды и вспенивая ее легкую зыбь, сверкавшую на солнце, как чешуя уклейки. С пронзительными криками плавали целыми стаями утки. Описывая весь широкий круг озера, плавно скользили вдоль берега лебеди, и ветер надувал их легкие перья. На середине озера музыка, спрятанная за зеленым занавесом островка, оглашала лес веселыми мотивами, отличным проводником для которых служила водная поверхность. И надо всем этим - веселая бестолочь: ветер, водяные брызги, хлопанье вымпелов, крики лодочников. А вокруг - рассевшиеся по склонам группы отдыхающих, беготня детей и два маленьких шумных кафе, построенных почти на воде, с деревянными полами, гулкими, как палуба, с решетчатыми стенами, напоминающими перила купальни или перила на палубе корабля… На берегу экипажи встречаются редко. Проедут ломовые дроги - на них извозчик развозит гостей, всю ночь прогулявших в предместье на свадьбе, о чем

свидетельствуют их новенькие суконные сюртуки и яркие узоры шалей. Немного погодя покажется купеческий шарабан с золоченой меткой на кузове: в шарабане катаются толстые женщины в шляпках с цветами, жалостно поглядывающие на пешеходов, бредущих по песку. Преобладают здесь, однако, детские колясочки - первый предмет роскоши, который позволяет себе семейный рабочий, движущиеся колыбельки, в которых блаженно покачиваются обрамленные чепчиками, отделанными рюшем, сонные головки и таращат глазенки на переплет ветвей в голубой вышине.

До сих пор Фредерика приезжала сюда только в будни, - вот почему экипаж с иллирийским гербом, с богатой упряжью и выездным лакеем не мог не вызвать некоторого удивления у гуляющего простонародья. Встречные подталкивали друг друга локтем. Рабочие с семьями, гулявшие молча, оттого что чувствовали себя неловко в праздничных нарядах, сторонились, заслышав стук колес, а затем оборачивались и не таили своего восторга перед гордой красотой королевы, которую оттеняла детская аристократичность Цары. Из кустов нет-нет да и выглянет чья-нибудь озорная мордашка и крикнет: “Здравствуйте, сударыня!” То ли слова Элизе так подействовали на Фредерику, то ли чудная погода, то ли радость, разлитая во всем, даже в самой дальней дали, чистой, оттого что сегодня не дымили заводы, настоящей полевой дали, то ли тепло встреч, но только Фредерика почувствовала что-то вроде симпатии к рабочим, большинство которых ради воскресенья принарядилось с трогательной, если принять во внимание их тяжелый труд и почти полное отсутствие досуга, опрятностью. А уж Царе просто не сиделось на месте: он весь дрожал, топал ногами - ему хотелось выпрыгнуть из экипажа, хотелось поваляться вместе с другими детьми на траве, покататься на лодке.

Затем ландо свернуло в более тихую аллею: здесь люди читали, дремали на скамейках; по лесу, тесно прижавшись друг к другу, ходили парочки. В древесной сени здесь было что-то таинственное, она дышала свежестью родника, она пахла лесом. На ветках чирикали птицы. Но чем дальше от многошумного озера, тем явственнее слышались звуки другого увеселения: из мощного гула вырывалась то стрельба, то барабанный бой, то рев труб, то колокольный звон, а потом вдруг этот гул рассеивался на солнце, как дым. Можно было подумать, что берут приступом город.

- Что это?.. Что там такое? - допытывался маленький принц.

- Пряничная ярмарка, ваше высочество, - повернувшись на козлах, ответил старый кучер.

Королева согласилась подъехать поближе, и ландо, выехав из парка, потащилось из улочки в улочку, по дорогам, которые еще не были как следует проложены, мимо новых семиэтажных домов, высившихся рядом с ветхими лачугами, между хлевами и огородами. На каждом шагу кабачки с террасками, столики, качели - все было выкрашено в один и тот же противный зеленый цвет. Всюду - полно. Бросаются в глаза кивера военных, их белые перчатки. В толпе почти не слыхать разговоров. Все слушают то бродячего арфиста, то бродячего скрипача, который, получив позволение играть между столиками, пиликает то из “Фаворитки”, то из “Трубадура”, - парижане хотя и насмешники, а сентиментальную музыку обожают и, когда веселятся, подают милостыню щедрой рукой.

Неожиданно ландо останавливается. Экипажи доезжают только до широкого Венсенского круга: здесь-то и разместилась ярмарка, и фоном ей со стороны Парижа служат две колонны Тронной заставы, маячащие в пригородной пыли. Отсюда видна целая улица огромных балаганов, а на ней - кишенье праздношатающегося люда, и это зрелище разжигает в глазах наследника такой яркий огонек детского любопытства, что королева предлагает выйти из экипажа. Чтобы гордая Фредерика соблаговолила пойти пешком по воскресной пыли?.. Это что-то необыкновенное. Меро озадачен; он колеблется.

- Разве это опасно?

- О, нисколько, государыня!.. Но если мы пойдем на ярмарку, то лучше бы без провожатых. Ливрейный лакей привлечет к нам всеобщее внимание.

По распоряжению королевы дюжий выездной лакей, который совсем было собрался пойти с ними, снова уселся на козлах. Уговорились, что ландо будет ждать их здесь: разумеется, они не будут ходить по всей ярмарке, посмотрят, что в ближайших балаганах, и сейчас же назад.

Первое, что они увидели, это лоточки, стол, накрытый белой скатеркой, стрельбу в цель, чертово колесо. Люди проходили мимо всего этого с презрительным видом, не останавливаясь. А дальше стояли под открытым небом жаровни; от них шел едкий запах пригорелого сала, от них

поднималось бурное пламя, при дневном свете казавшееся розовым, вокруг суетились поварята во всем белом и складывали стопками посыпанные сахаром оладьи. А до чего интересно было наблюдать за изготовителем алтейной пастилы, как он сначала растягивал, а потом закручивал в гигантские кольца пахнувшую миндалем белую массу!.. Маленький принц смотрел во все глаза. Для этой птички в клетке, для него, выросшего в высоких покоях замка, за золоченой оградой парка, в атмосфере страха и недоверия, для него, выходившего наружу не иначе как с провожатыми, видевшего народ только с высоты балкона или из окна кареты, которую окружала охрана, все это было так ново! Сначала мальчик робел, - он прижимался к матери и стискивал ей руку, но мало-помалу праздничный шум и праздничный воздух опьянили его. А тут еще задорные ритурнели шарманки. Его нетерпение проявлялось в той силе, с какой он тащил за собой Фредерику; его раздирали противоположные чувства: ему хотелось всюду останавливаться и вместе с тем хотелось бежать вперед, вперед - туда, где сильнее шум, где плотнее толпа.

Так, незаметно для себя, с беспечностью пловца, который не замечает, что его относит течением, удалялись они от своего экипажа, удалялись тем спокойнее, что никто не задерживал на них взгляда, что среди всех этих ярких нарядов легкий костюм королевы (платье, мантилья, шляпка - гамма оттенков одного и того же коричневого цвета) не обращал на себя внимания, так же как и скромная элегантность Цары; проведя глазами по его высокому крахмальному воротничку, коротенькой курточке и голым икрам, некоторые кумушки ограничивались восклицанием:

- Это англичанин!..

Мальчик шел между матерью и Элизе, а они улыбались друг другу где-то высоко над его сияющим личиком.

- Ой, мама, посмотри!.. Господин Элизе! Что там такое?.. Пойдемте посмотрим!..

И они, двигаясь причудливыми зигзагами от одного ряда балаганов к другому, увлекаемые людским потоком, углублялись в густевшую толпу.

- А не вернуться ли нам?.. - предлагает Элизе.

Но мальчик словно обезумел: он умоляет, тащит мать за руку, а она так

счастлива тем, что ее вялый малыш вышел наконец из своего оцепенения, ей самой передается возбуждение толпы, и они идут все дальше и дальше…

Жара усиливается; солнце, опускаясь, собирает на остриях лучей предгрозовую мглу, и, по мере того как меняется небо, праздничная пестрядь принимает все более фантастический вид. Наступает час представлений. Весь персонал цирков и балаганов выходит наружу и теснится под навесами у входа, а сзади них ветер надувает полотняные вывески, и от этого изображенные на них гигантские звери, акробаты, борцы кажутся живыми.

Здесь - батальное представление, выставка костюмов эпохи Карла IX и Людовика XV, мельтешенье аркебуз, ружей, париков и султанов, трубная медь гремит “Марсельезу”, а на противоположной стороне цирковые лошадки в белой сбруе, точно они везут невесту к венцу, показывают фокусы: отсчитывают копытом, раскланиваются; рядом самый настоящий балаган выставляет напоказ паяца в клетчатой куртке, лилипутов в узком, облегающем тело трико и ражую загорелую девицу в розовом платье танцовщицы: она жонглирует золотыми и серебряными шарами, бутылками, ножами со сверкающими лезвиями, и ножи эти скрещиваются, звеня, над ее высокой прической, в которую воткнуты булавки, отделанные стекляшками.

Маленький принц погрузился в созерцание этой красотки, но вдруг его взгляд случайно падает на королеву, настоящую королеву из волшебных сказок: с блестящей диадемой на голове, в короткой, расшитой серебром тунике, она сидит, опершись на балюстраду и положив ногу на ногу. Он так и не спустил бы с нее глаз, но его отвлекает оркестр, оркестр необыкновенный, состоящий не из гвардейцев и не из силачей в розовом трико, а из светских людей, например, вот этот господин с короткими бакенбардами, в мягких ботинках, сверкая лысиной, изволит играть на корнет-а-пистоне, а вон та дама, самая настоящая дама, своей чопорностью отчасти напоминающая г-жу Сильвис, в шелковой накидке, в шляпке с трепещущими цветами, безучастно глядя по сторонам, бьет в большущий

барабан, и при каждом стремительном взмахе ее рук трясутся бахрома накидки и розы на шляпке. Как знать?.. Быть может, это король и королева, с которыми тоже стряслась беда?.. Однако ярмарочное поле представляло собой зрелище не менее поразительное.

Это была бесконечная, беспрестанно менявшаяся панорама, в которой глаз различал танцующих медведей на цепи, танцующих негров в холщовых набедренных повязках, танцующих чертей и ведьм в узких пурпуровых повязках на голове, размахивавших руками борцов, знаменитых атлетов, которые, подбоченясь, вызывали из толпы желающих помериться силами, фехтовальщицу в корсаже, напоминавшем кирасу, в красных с золотыми стрелками чулках, в маске, в фехтовальных перчатках с крагами, похожего на Колумба или на Коперника человека в черном бархатном костюме, чертившего магические круги палочкой с бриллиантовым набалдашником, а за эстрадой, там, где стоял тошнотворный запах конюшни и звериной шерсти, слышалось рычанье хищников из зверинца Гареля. С живыми диковинами соперничали куклы: женщины-великанши в бальных декольтированных платьях с рукавчиками, отороченными розовым гагачьим пухом, в плотно обтягивавших руки перчатках, силуэты сидящих сомнамбул, с завязанными глазами разгадывавших будущее, возле них - фигура чернобородого доктора, затем всяческая игра природы: разные чудища, всевозможные калеки, всевозможные уроды, причем некоторые из них были защищены с боков всего лишь двумя большими простынями, державшимися на веревках; тут же стоял стул, а на нем кружка для сбора пожертвований.

И всюду, на каждом шагу, виновник торжества - пряник, во всех обличьях, во всех нарядах, на всех прилавках, накрытых красной тканью с золотым узором: пряники, завернутые в глянцевитую бумагу с картинками, пряники, перевязанные шелковыми ленточками, пряники, посыпанные сахаром и жареным миндалем, пряники в виде маленьких смешных пошляков, в которых можно узнать парижских знаменитостей - принца Куриный Хвост с его неразлучным Забавником, пряники в корзинках, пряники на лотках, овевающие вкусным запахом меда и печеных яблок медленно движущуюся, тесную толпу, в которой все труднее становится

пробираться.

А повернуть назад уже немыслимо. Надо отдаться на волю деспотического течения, идти вперед, поминутно пятясь, откатываясь помимо своего желания то к этому балагану, то вон к тому, ибо живая волна, текущая к центру праздника, за неимением другого выхода, стремится выйти из берегов. И в этой беспрерывной, вынужденной толкотне то и дело раздается смех, сыплются шутки. Никогда еще королева не видела народ так близко. Чувствуя на себе его дыхание, ощущая грубое прикосновение его могучих плеч, она с удивлением замечает, что не испытывает более ни отвращения, ни ужаса, она движется вместе со всеми, вместе с толпой, идущей шагом неуверенным, который можно сравнить с наигрываньем марша, и вместе с тем, несмотря на отсутствие триумфальных колесниц, есть в этом шаге что-то торжественное. Королеву успокаивает жизнерадостность всех этих людей, успокаивает то, что ее сын так бурно выражает свой восторг, наконец ее успокаивает множество детских колясочек, катящихся в самой гуще.

- Не толкайся!.. Ай не видишь, что я с ребенком?

Но в толпе не один этот ребенок, - на руках у матерей, на спинах отцов десятки, сотни ребят, и всякий раз, когда мимо Фредерики промелькнет простоватое личико сверстника ее сына, губы ее складываются в улыбку. А Элизе охватывает тревога. Он-то знает, что такое толпа, как бы ни была она безмятежна по виду, знает, как опасны ее топи и водовороты. Стоит пролиться дождем одной из темных туч, что нависли у них над головой, и какой сейчас же начнется беспорядок, какая поднимется паника!.. И его неугасимому воображению уже рисуется сцена: страшная духота от притиснутости человеческих тел, давка на площади Людовика XV, гибельное скопление народа в центре слишком густо населенного Парижа, в двух шагах от широких улиц, пустынных, но недоступных…

Мать и наставник ведут за руки маленького принца, охраняют его, но ему очень жарко между ними. Он жалуется, что ему ничего не видно. Наконец Элизе по примеру идущих рядом рабочих сажает Цару к себе на плечо, и Цара снова счастлив безмерно: с высоты перед ним открывается дивный вид на праздник. Там, вдали, на фоне закатного неба, пронизанного лучами света, изборожденного большими движущимися тенями, между двумя колоннами заставы - уходящее в глубину трепетанье знамен и флагов, хлопанье полотняных вывесок по фронтонам балаганов. Легкие колеса гигантских качелей поднимают одну за другой маленькие колесницы, наполненные публикой. Трехъярусная карусель, размалеванная и покрытая лаком, словно детская игрушка, механически вертится вместе со всеми своими львами, леопардами, фантастическими драконами, и в напряженных позах катающихся на них ребятишек есть тоже что-то ненастоящее, точно это не живые дети, а куклы. Ближе - взлетанье целых гроздей красных шаров, круженье бесчисленных мельниц из желтой бумаги, похожих на фейерверочные огненные колеса, а над толпой - множество неподвижных детских головок с пепельными, как у Цары, волосами. От лучей уже тускнеющей вечерней зари на облаках то появляются, то исчезают огнистые полосы, все предметы то освещаются, то окутываются сумраком, и это еще более оживляет перспективу. Вот в этом месте свет падает прямо на Пьеро и Коломбину: два белых пятна на черном фоне балагана, одно против другого, разыгрывают стремительную пантомиму на полу, посыпанном толченым мелом. Вон там долговязый сутулый паяц в остроконечной шляпе греческого пастуха делает такой жест, будто загоняет, вталкивает в балаган толпу, потоком черной лавы льющуюся по лестнице. У паяца широко раскрыт рот, - должно быть, он орет, вопит, но его не слышно, так же как не слышно колокола, кем-то яростно сотрясаемого в углу эстрады, как не слышно выстрелов из аркебузы, хотя видно, как ее заряжают, хотя виден дымок. Все звуки тонут в безбрежном ярмарочном гуле, гуле слитном, во всеобщем многоголосом “тутти”, - тонут трещотки, тонет пищание дудок, удары гонгов, дробь барабанов, хрип рупоров, рычанье диких зверей, визг шарманок, пыхтенье паровых машин. Как приманивают пчел на шум, так на ярмарке каждый старается для привлечения публики применить инструмент какой понеутомимей, какой пошумней. И с качелей и с каруселей тоже несутся пронзительные крики, а поезда окружной железной дороги, проходящие через ярмарочное поле, каждые десять минут прорезают и покрывают свистками весь этот дикий содом.

Внезапно от усталости, от душного запаха разгоряченных человеческих тел, от солнца, косые лучи которого в пять часов дня все еще слепят и жгут, от струящегося, искрящегося знойного марева у королевы закружилась голова, и вот она в изнеможении останавливается. Чтобы не упасть, она едва успевает схватить Элизе за руку; бледная, она опирается на него, она вцепляется в него, но все еще старается держаться прямо и еле слышно шепчет:

- Ничего… Ничего…

Но в висках у нее нестерпимо стучит, сознание на минуту покидает ее, все ее тело теряет ощущение своего веса… О, он никогда не забудет этой минуты!

Прошло! Фредерика очнулась. На нее подул свежий ветерок, и это ее оживило. Но она все же не выпускает руки своего телохранителя, и то, что королева старается идти с ним в ногу, прикосновение ее теплой перчатки - все это несказанно волнует Меро. Страх погибнуть в давке, толпа, Париж, праздник - ничто больше не занимает его мыслей. Он - в стране невозможного, где мечты сбываются во всем их волшебстве, во всей их необычайности. Погруженный в людскую мешанину, он не слышит ее, он не видит ее; он плывет как бы на облаке, облако окутывает его до самых глаз, облако его увлекает, облако его несет; незаметно для него облако уводит его с ярмарки… И только тут Элизе чувствует, что он на земле, только тут он опоминается… Экипаж королевы далеко. До него не добраться. Значит, надо возвращаться домой, на улицу Эрбильона, пешком, придется идти на склоне дня сперва по широким аллеям, потом по улицам - мимо переполненных кабачков и подгулявших прохожих. Затея рискованная, но никто из них и не помышляет о необычности подобного возвращения. Цара, как всякий ребенок, на маленьком детском языке которого вертятся после праздника все образы, все зрительные представления, все события, какие вобрали в себя его глаза, болтает,

болтает без умолку. Элизе и королева молчат. Он, все еще не уняв дрожи, сначала пытается припомнить все по порядку, а затем пытается позабыть о чудесной волнующей минуте, открывшей ему некую тайну - грустную тайну его жизни. Фредерика думает о том для нее новом, до сих пор неизвестном, что довелось ей увидеть за день. Сегодня она впервые услыхала, как бьется сердце народа, сегодня в первый раз она склонила голову к плечу льва. И от этого у нее осталось ощущение чего-то мощного и вместе с тем мягкого, как после нежного, бережного объятия.

VIII

Ловкий ход

Дверь хлопнула резко, властно, отчего по всему агентству поднялся ветер и мигом надул голубые вуалетки и полы макинтошей, пошевелил счета в руках у служащих и перышки на дорожных шляпках. Руки протянулись, головы наклонились - вошел Д. Том Льюис. Круговая улыбка, два-три кратких распоряжения бухгалтерии, ликованье, прозвучавшее в вопросе: “Отосланы ли покупки принцу Уэлскому?” - и вот он уже у себя в кабинете, а служащие удивленно перемигиваются: с чего это хозяин так повеселел? Наверно, есть новости. Сдержанная Шифра - и та, сидя за решеткой, догадалась об этом с первого взгляда и тихо спросила:

- Что произошло?

Д. Том Льюис беззвучно засмеялся всем лицом и, как он всегда делал в важных случаях жизни, стал вращать глазами.

- Произошло!.. - ответил он и сделал ей знак: - Пойдем!..

Затем они оба спустились по узкой и крутой лестнице, состоявшей из пятнадцати ступенек с медными планками, в полуподвальный этаж, в комнатку, где почти всегда горел газ, где стояли диваны и изящный

туалетный столик, комнатку, устланную в высшей степени причудливыми коврами, обитую в высшей степени причудливыми тканями, с чем-то вроде иллюминатора, в который было вставлено матовое стекло, такое толстое, что оно скорей напоминало рог, и который выходил на Королевскую. Эта комната сообщалась с подвалами и с двором, что давало Тому возможность входить и выходить незаметно для особо назойливых посетителей и для кредиторов - для всех тех, кого на парижском жаргоне называют “камнями на пути”: “камни на пути” - это люди или предметы, мешающие движению. В сложных делах, какими занималось агентство Льюиса, такие хитрости дикаря необходимы. Иначе Д. Том Льюис тратил бы все свое время на препирательства и перебранки.

Даже старейшие из помощников Тома, служившие у него по пяти, по шести месяцев, и те никогда не спускались в таинственный полуподвал, - правом на вход туда пользовалась только Шифра. Это был интимный уголок агента, где он оставался один на один с самим собой, со своими мыслями, кокон, откуда он всякий раз вылетал преображенным, нечто вроде актерской уборной, сходство с которой сейчас еще усиливала, помимо света газовых рожков, игравшего на мраморе, помимо обшитой фалбалой дорожки на туалетном столике, странная мимика Д. Тома Льюиса, агента по обслуживанию иностранцев. Рывком расстегнул он свой длинный английский сюртук, зашвырнул его подальше, снял один жилет, потом другой - пестрые, как у клоуна, распутал десять метров белого муслина, которые пошли на его галстук, сорвал одну за другой фланелевые повязки, которыми он обмотал себя вокруг пояса, и из всей этой внушительной апоплексической полноты, объезжавшей Париж в единственном на весь город, первом здесь появившемся кебе, вышел с облегченным вздохом маленький человечек, сухощавый и жилистый, не толще размотанной катушки, пятидесятилетний парижский уличный скверный мальчишка, которого когда-то, должно быть, вытащили из огня, из обжиговой печи, на что указывали уродующие следы ожога - рубцы, шрамы, плеши, и который, несмотря ни на что, хранил вид моложавый, проказливый, как у “мобилей” 48-го года, одним словом, подлинный Том Льюис, то бишь Нарсис Пуату, сын столяра с улицы Орильона.

До десяти лет росший на стружках отцовской мастерской, с десяти до пятнадцати воспитывавшийся в школе взаимного обучения и на улице, этой единственной в своем роде школе - школе под открытым небом, Нарсис рано почувствовал презрение к простому народу и отвращение к

ручному труду, рано проникся глубоким убеждением, что обследование парижской сточной канавы с ее разнородным содержимым даст больше, нежели дальнее плавание. Он еще маленьким мальчиком составлял проекты, обдумывал сделки. Впоследствии присущий Льюису стремительный полет мечты даже мешал ему: он разбрасывался, растрачивал силы впустую. Он был рудокопом в Австралии, скваттером в Америке, актером в Батавии, сыщиком в Брюсселе, наделал долгов и в Старом, и в Новом Свете, во всех уголках земного шара оставил заимодавцев с носом, а в конце концов устроился агентом в Лондоне, прожил там довольно долго и мог бы и дальше жить припеваючи, если б не его чудовищное в своей ненасытности, вечно рыщущее воображение, воображение сластолюбца, неизменно обгоняющее будущее наслаждение, - оно-то и ввергло его в безысходнейшую нищету - нищету британскую. На сей раз он пал низко и был пойман в Гайд-парке в то время, как он охотился на лебедей, плававших в бассейне. Отсидев несколько месяцев в тюрьме, он окончательно разлюбил свободную Англию, и его, точно обломок потерпевшего крушение корабля, выбросило на те же самые парижские тротуары, где он когда-то начинал свою карьеру.

Повинуясь странному капризу, а также врожденному инстинкту паяца, комедианта, он выдал себя - и не где-нибудь, а в Париже! - за англичанина; впрочем, при его знании англосаксонских нравов, мимики и языка это не представляло для него никаких трудностей. И вышло это у него по наитию, по вдохновению, при первой же афере, при первом же его маклерском “ловком ходе”.

- Как об вас доложить?.. - нахально спросил его долговязый плут в ливрее.

Пуату сознавал, что в этой обширной передней он выглядит таким потрепанным, таким жалким, он смертельно боялся, что его выставят отсюда, даже не выслушав. Вот почему у него возникла настоятельная потребность возместить свой неприглядный вид чем-либо необычным, чем-либо из ряду вон выходящим.

- Э-э-э… Дэлэжите: сэр Том Льюис!

И под этим в одну секунду придуманным именем, с этой взятой напрокат национальностью он сразу почувствовал себя уверенно и с

увлечением принялся совершенствоваться в передаче ее особенностей, ее странностей, а кроме того, постоянное наблюдение за своим произношением, за своими манерами помогло ему очень скоро избавиться от излишней суетливости, позволило ему измышлять уловки, делая вид, что он подыскивает слова.

Удивительная вещь: из всех многочисленных изобретений его находчивого ума это, как раз наименее обдуманное, оказалось самым удачным. Ему он был обязан знакомством с Шифрой, державшей в ту пору на Елисейских полях так называемый family hotel - кокетливое четырехэтажное помещение с розовыми занавесками и с маленьким крылечком, выходившим на широкий асфальтовый тротуар авеню Антена, который оживляли цветы и зелень. Хозяйка дома, всегда нарядная, склонившись над рукодельем или над конторской книгой, показывала в одном из окон первого этажа свой спокойный божественный профиль. Постояльцы номеров составляли крайне пестрое, смешанное общество: тут жили клоуны, букмекеры, конюхи, лошадники, англо-американская богема, наихудшая из всех богем, золотоискательское отребье, мелкие шулера. Женский персонал вербовался из участниц кадрилей Мабиля, находившегося так близко, что звуки его скрипок в летние вечера были здесь хорошо слышны, и их не заглушали ни шум пререканий, ни стук сыплющихся фишек и луидоров, - надо заметить, что после обеда в family hotel шла крупная игра. Если какой-нибудь почтенный иностранец с семьей, обманутый лживой вывеской, и поселялся у Шифры, ухватки жильцов, те разговорчики, какие они вели между собой, производили на него такое впечатление, что он моментально, в первый же день, не успев разложить чемоданы, бежал отсюда без оглядки.

В этой среде авантюристов и дельцов Пуату, то бишь Том Льюис, низкорослый постоялец, ютившийся под самой крышей, очень скоро завоевал себе положение благодаря своему веселому нраву, благодаря своей покладистости, благодаря своему умению делать дела, и притом - любые. Он выгодно помещал деньги номерной прислуги и через нее постепенно входил в доверие к хозяйке. Да и как было не поверить человеку с таким симпатичным, открытым, улыбающимся лицом, с такой неутомимой жаждой деятельности, которая была особенно полезна за табльдотом, ибо он был очень хорош для того, чтобы подзудить клиента, хорош для затравки, для того чтобы подбить кого-нибудь на пари или на пирушку? Холодная, скрытная со всеми, прелестная хозяйка family была

откровенна только с г-ном Томом. Часто днем, входя или, наоборот, уходя, он задерживался в маленькой чистенькой конторе со множеством зеркал и спартри. Шифра рассказывала ему про свои дела, показывала драгоценности и конторские книги, советовалась с ним относительно меню на сегодня или о том, как надо ухаживать за большим цветущим, напоминавшим рог изобилия арумом, который купался подле нее в вазе из минтоновского фаянса. Они вместе смеялись над любовными посланиями, которые она получала, над всякого рода предложениями, которые делались ей, - Шифра принадлежала к числу красавиц, не отличающихся чувствительностью. Лишенная темперамента, она не теряла хладнокровия нигде и ни при каких обстоятельствах, она смотрела на страсть как на сделку. Говорят, что для женщины имеет значение только первый любовник. Первый любовник Шифры, семидесятилетний старец, выбранный папашей Леемансом, навсегда заморозил ей кровь и растлил душу. Это очаровательное существо, которое родилось в лавке редких вещей и представляло для отца тоже редкую вещь, но не более, - это очаровательное существо видело в любви возможность расставлять тенета, ловушки, рассматривало ее как статью дохода, как торговый оборот. Мало-помалу между Томом и ею возникли узы дружбы - дружбы дядюшки и его воспитанницы. Он давал ей советы, руководил ею - руководил с умом, с богатством воображения, восхищавшим эту уравновешенную, методическую натуру, сочетавшую в себе еврейский фатализм с фламандским тугодумием. Она не способна была что-либо изобрести, что-либо измыслить, она жила только настоящим, - вот почему мозг Тома, этот никогда не потухавший фейерверк, ослепил ее. Окончательно жилец пленил Шифру в тот день, когда он за обедом особенно смешно коверкал французский язык, а потом, зайдя в контору за ключом от номера, прошептал ей на ухо:

- А вы знаете: я же вовсе не англичанин!

После этого она в него влюбилась, или, выражаясь точнее, - ведь в чувствах важнее всего оттенки, - увлеклась им, как увлекается светская дама актером, которого она одна знает таким, каков он есть на самом деле, а не таким, каким он представляется всем прочим, знает вдали от рампы, без костюма, без грима, а любовь всегда требует привилегий. К тому же оба они побывали в парижской сточной канаве. Правда, Шифра только замочила подол, а Нарсис в ней выкупался, но грязь и ее запах въелись в обоих. Неизгладимая печать предместья, складка безнравственности

служила тесемочкой, изредка приподнимавшей уголок маски англичанина, из-за которой выглядывала кривляющаяся рожа проходимца, а у Шифры эта же складка вдруг, молниеносно, проскальзывала в библейских чертах ее лица, в ее иронии, в вульгарном смехе, излетавшем из ее рта, похожего на рот Саломеи.

Красотка еще сильней полюбила странной любовью своего урода после того, как паяц рассказал ей о себе, раскрыл ей всевозможные приемы, всевозможные фокусы, начиная с кеба и кончая разнообразием жилетов, с помощью которых Д. Том Льюис, будучи не властен увеличить свой рост, пытался по крайней мере прибавить себе представительности, после того как она приобщилась к этой полной неожиданностей, вихревой жизни, с ее проектами, с ее мечтами, с теми более или менее ловкими ходами, которые он время от времени делал. И чары этого человека-обезьяны оказались столь сильны, что и сейчас еще он забавлял, обворожал ее ничуть не меньше, чем в первоначальную пору их знакомства, хотя их законный, мещански добродетельный брак длился уже десять лет. Чтобы убедиться в этом, достаточно было поглядеть, как она корчится, как она катается по дивану от хохота, с каким восхищением, с каким восторгом она на него смотрит, повторяя: “Вот дурак-то!.. Вот дурак-то!..” - между тем как ее супруг в подлинном своем виде, лысый, поджарый, костлявый, в панталонах и цветной фуфайке, танцует перед ней буйную джигу, сопровождая танец деревянными жестами и яростным топотом. Когда же оба они устали, она - смеяться, а он - дрыгать ногами, Льюис опустился на диван и, потянувшись своей обезьяньей рожей к ее ангельской головке, выплеснул ей в лицо свою радость:

- Я Шприхтам утру нос!.. Заткну я за пояс Шприхтишек!.. Я скоро сделаю ход, ловкий ход!

- Да что ты?.. Каким образом?

Едва Том Льюис назвал имя, Шифра состроила очаровательную в своей презрительности гримаску:

- Кто? Этот простофиля?.. Да ведь у него нет ни гроша… Мы же его обстригли, мы же его обрили заодно с его Иллирийским Львом!.. Пушка на спине - и того не осталось.

- Ты, деточка, с Иллирийским Львом не шути… Одна его шкура стоит двести миллионов, - уже успокоившись, возразил Том.

Глаза у молодой женщины загорелись.

- Двести миллионов!.. - отчеканивая каждый слог, повторил он и принялся хладнокровно, толково объяснять ей, каким образом он рассчитывает сделать ход. Нужно уговорить Христиана II принять предложение сейма и за прекрасную цену, которую ему дают, отказаться от престола. В общем, что от него требуется? Поставить свою подпись, только и всего. Будь Христиан один, он давно бы уже решился. Противятся, препятствуют отречению его близкие, в особенности - королева. Но, рано или поздно, пойти на это придется. За душой у королевской четы ни гроша. Король с королевой должны всему Сен-Мандэ: за мясо, за овес, - невзирая на бедность хозяев, лошади еще не все проданы. Да и дом все такой же благоустроенный, стол все такой же богатый, но из-под внешней роскоши проступают зловещие приметы нищеты. Королевское белье с короной в дырах, а нового не шьют. Конюшни опустели, наиболее крупные серебряные вещи заложены. Штат прислуги урезан, но и оставшимся слугам часто по нескольку месяцев не платят жалованья. Все эти подробности Том узнал от камердинера Лебо, и этот же самый камердинер сообщил ему, что люблянский сейм предложил королю двести миллионов; не умолчал Лебо и о сцене, какая из-за этого разыгралась в Сен-Мандэ.

С того дня, как король ясно представил себе, что стоит ему подмахнуть бумагу - и двести миллионов у него в кармане, он сам не свой, он уже не смеется, ни с кем не разговаривает, одна и та же мысль преследует его, - так невралгическая боль сверлит голову в одной какой-нибудь точке. Временами он зол на весь мир, порой тяжело вздыхает. А между тем у него-то как раз все осталось по-прежнему: тот же личный штат - секретарь, камердинер, кучер, выездной лакей, та же дорого стоящая роскошь в обстановке и в одежде. Сумасшедшая гордячка Фредерика пытается прикрыть постигшую их невзгоду заботой о показном величии, и она никогда не допустит, чтобы король терпел лишения. В тех редких случаях, когда он обедает на улице Эрбильона, стол должен быть сервирован роскошно. Единственно, чем король беден и чем королева не в состоянии его снабдить, это деньгами на клуб, на игру и на женщин. Конечно, король долго не продержится. В одно прекрасное утро, проиграв всю ночь в баккара или в буйотту, он, не имея чем заплатить и не желая должать, -

рисуете себе: Христиан Иллирийский значится в списке должников, вывешенном в Большом клубе? - возьмет свое красивое перо и одним его росчерком скрепит отречение от престола. Это давно бы уже свершилось, если бы не старик Розен, который тайно от Фредерики опять начал платить за государя. Следовательно, план у Тома Льюиса таков: вовлечь Христиана, пока что должающего по мелочам, на текущие нужды, в крупные расходы, заставить его выдать уйму расписок на сумму, превышающую платежеспособность старого герцога. Для этой цели у Тома должны быть свободные деньги.

- Но дельце до того выгодное, что нас кто-нибудь да авансирует, - заметил Том Льюис. - По-моему, самое лучшее, чтобы не выходить из круга своей семьи, поговорить с папашей Леемансом. Меня беспокоит только одно - главная пружина всего предприятия, то есть женщина.

- Какая женщина? - широко раскрыв свои невинные глазки, спросила Шифра.

- Которая возьмется набросить петлю на шею короля… Нам нужна первостатейная жрунья, девица серьезная, с объемистым желудком, которая заглатывает огромные кусищи.

- Может быть, Ами Фера?..

- Ну вот еще!.. Она же истаскана черт знает до чего… И потом, недостаточно серьезна… Она и пьет, и ужинает, и кутит, как глупая девчонка… Нет, тут должна быть такая, которая в один месяц преспокойно, с ангельским видом хапнет мильончик, которая не продешевит, которая станет продавать себя в розницу, по квадратному сантиметру, чтобы каждый квадратный сантиметр обошелся покупателю дороже, чем участки на улице Мира.

- Мне все понятно… - задумчиво проговорила Шифра. - Но кто за это возьмется?

- В том-то все и дело!.. Кто?

Тут они молча улыбнулись друг другу, и улыбка вполне заменила им договор.

- Продолжай, раз уж начала!..

- Что ты хочешь этим сказать?..

- Ты думаешь, я не замечаю, как он играет глазами при взгляде на тебя? А стояние у перегородки, когда он воображает, что я вышел?.. Да он этого и не скрывает, он рассказывает о своем увлечении направо и налево… Он даже сделал о нем запись в клубной книге.

Узнав историю пари, невозмутимая Шифра на сей раз взволновалась:

- Ах, вот оно что!.. Две тысячи луидоров в том случае, если он поспит… Как же, дожидайся!..

Шифра встала, прошлась по комнате, чтобы стряхнуть с себя досаду, затем опять подсела к мужу:

- Ты знаешь, Том: этот набитый дурак не отходит от меня месяца три… И что же? Гляди: он вот чего не добился!

Шифра щелкнула ноготком по своему хищному зубу.

Она не лгала. Уже сколько времени король за ней волочился, а все еще только дотрагивался до кончиков ее пальцев, кусал ее карандаш, сходил с ума, когда она нечаянно задевала его своим платьем. В первый раз в жизни встретил такое упорное сопротивление этот “сказочный принц”, избалованный успехом у женщин, преследуемый заискивающими улыбочками и надушенными записочками. Его красивая, в локонах, голова, на которой словно так и остался след от короны, легенда о его героизме, умело поддерживаемая королевой, и, помимо всего прочего, аромат соблазна, всегда окутывающий сердцееда, доставили ему немало побед в Сен-Жерменском предместье. Не одна молодая женщина могла показать в своем аристократическом будуаре свернувшуюся клубком на диване обезьянку уистити из королевской клетки, а в мире кулис, в мире в общем монархическом и благонамеренном, портрет Христиана II в альбоме актрисы мгновенно упрочивал ее положение.

Этот человек, привыкший притягивать к себе глаза, губы, сердца, привыкший к тому, что стоит ему бросить взгляд - и поплавок тотчас же дрогнет, вот уже несколько месяцев никак не мог расшевелить

бесстрастную, холодную натуру Шифры. При нем она играла роль добросовестной кассирши, считала, вычисляла, переворачивала тяжелые страницы, показывала вздыхателю лишь бархатистую округлость своего профиля или дрожь улыбки в углах глаз, в кончиках ресниц. Прихоть славянина сначала тешилась этой борьбой: тут еще было задето его самолюбие, так как на него были направлены все взоры Большого клуба, а кончилось дело тем, что увлечение вылилось в самую настоящую страсть, вскормленную пустотой его праздной жизни, - страсть, пламя которой, не встречая препятствий, поднималось кверху прямо. Каждый день он приходил к ней в пять часов - в самое лучшее время парижского дня, в час визитов, в продолжение которых решается вопрос, как повеселей провести вечер, а молодые люди из числа завсегдатаев клуба, завтракавшие в агентстве и увивавшиеся вокруг Шифры, один за другим почтительно уступали ему место. Отступление молодежи, уменьшавшее цифру мелких доходов агентства, усиливало холодность красавицы, а так как Иллирийский Лев ничего больше не приносил, то Шифра уже стала прозрачно намекать Христиану, что его присутствие ее тяготит, что хотя он и король, а все-таки окошечко ее кассы ему не принадлежит, но на другой день после разговора с Томом все вдруг изменилось.

- Вас видели вчера вечером в Фантазии, ваше величество…

Этот вопрос, подкрепленный томным и грустным взглядом, приятно взволновал Христиана II.

- Да, правда… Я там был…

- И не одни?..

- Но…

- Ах!.. Есть же счастливые женщины!..

Чтобы ослабить вызов, содержавшийся в этой фразе, она поспешила добавить, что ей давно ужасно хочется побывать в этом театрике, посмотреть шведскую танцовщицу, “ту самую, - вы понимаете, о ком я говорю?..”. Но муж никуда ее не возит.

Король предложил ей свои услуги.

- О! Вас все знают…

- Если мы с вами спрячемся в глубине бенуара…

Одним словом, они назначили друг другу свидание на завтра, так как завтра Том должен был вечером куда-то уйти. Ах, как они чудно провели время! Вот она, в первом ряду ложи, одетая скромно, со вкусом, по-детски непосредственно восхищается танцем иностранки, ставшей в Париже знаменитостью на час, этой шведки с угловатыми жестами, с тонкими чертами лица, с глядящими из-под начесов белокурых волос блестящими черными глазами - глазами грызуна, в которых радужка сливается со зрачком, восхищается ее летящими движениями, ее безмолвными метаниями, в которых у нее, - тем более что она одета во все черное, - есть что-то от слепого испуга огромной летучей мыши.

- Как мне весело!.. Как мне весело!.. - повторяет Шифра.

А король-вертопрах неподвижно сидит сзади нее, с коробкой конфет на коленях, и думает о том, что никогда еще не испытывал он такого упоительного чувства, как от прикосновения к этой голой руке, выступающей из кружев, как от этого свежего дыхания, струю которого он по временам ощущает на лице.

Из театра Шифра должна была ехать к себе на дачу, он вызвался проводить ее до вокзала Сен-Лазар и в карете, забывшись, прижал ее к своей груди.

- О, вы мне испортите все удовольствие! - печально сказала она.

Громадный зал первого класса был безлюден и слабо освещен. Сидя рядом с Христианом на скамейке, Шифра, дрожа от холода, куталась в его широкие меха. Здесь она уже не боялась, держалась непринужденно, беспрерывно что-то говорила королю на ухо. Мимо них время от времени проходил, покачивая фонарем, кто-нибудь из железнодорожных служащих или же ватага актеров, живших за городом и теперь возвращавшихся после спектакля. В стороне от каждой такой ватаги держалась, свято оберегая свою тайну, сплетшаяся в объятии влюбленная парочка.

- Как они, должно быть, счастливы!.. - шепотом говорила Шифра. - Ни уз, ни обязанностей… Всегда следовать влечению сердца… Все остальное - обман…

Увы! Она испытала это на себе. И тут она совершенно неожиданно, как бы увлекшись, с тронувшей Христиана чистосердечностью рассказала свою грустную историю: на парижских улицах что ни шаг, то силки и

соблазны для девушки, по милости скупого отца - бедной; в шестнадцать лет она пала жертвой роковой сделки; жизнь разбита; четыре года она провела со стариком, которому она нужна была только как сиделка; затем нежелание снова очутиться в лавке ничем не брезгующего папаши Лееманса и необходимость иметь руководителя, иметь опору в жизни заставили ее отдать руку Тому Льюису, этому денежному мешку. Она всецело посвятила себя ему, пожертвовала собой, отказалась от всех радостей, похоронила себя заживо на даче, потом стала работать в конторе, и за все про все она доброго слова не слышит от вечно занятого своими делами честолюбца, более того: при малейшей попытке к бунту, стоит Шифре намекнуть, что ей хочется повеселиться, как он сейчас же ставит ей на вид ее прошлое, хотя она никакой ответственности за него не несет.

- Опять-таки из-за моего прошлого, - вставая, сказала она, - мне была причинена кровная обида, скрепленная вашей подписью в книге Большого клуба.

Звонок к отходу поезда прервал на самом интересном месте этот тонкий сценический эффект. Рукой и глазами послав Христиану прощальный привет, Шифра пошла своей скользящей походкой, мелькая легкой чернотою платья, а Христиан, потрясенный, ошеломленный тем, что только что услышал, продолжал стоять неподвижно… Так, значит, это ей известно?.. Откуда?.. О, как он ненавидел себя в эту минуту за свое подлое бахвальство!.. Всю ночь он писал ей письмо, испрашивая прощения на французском языке, усыпанном всеми цветами национальной иллирийской поэзии, которая сравнивает возлюбленную с воркующей голубкой, с розовой ягодкой боярышника.

Упрек за пари оказался удачнейшей выдумкой Шифры. Это давало ей огромное преимущество перед королем - и надолго. Кроме того, это объясняло ее продолжительную холодность, ее почти враждебное к нему отношение, - Шифра с самого начала ловко повела торговлю собой. Мужчина, нанесший женщине такое оскорбление, должен все от нее

сносить! Так Христиан на глазах и на виду у всего Парижа стал ее покорным рабом, исполнявшим малейшие ее прихоти, ее присяжным чичисбеем. Красота дамы сердца до известной степени оправдывала короля в глазах света, но от дружбы с ее супругом, от его фамильярничанья Христиан был совсем не в восторге. “Мой друг Христиан Второй…” - говорил Д. Том Льюис, выпрямляясь во весь свой маленький рост. Однажды ему пришла фантазия пригласить короля в Курбвуа, - он надеялся разжечь в душе Шприхта бешеную зависть и тем ускорить кончину знаменитого портного. Король обошел дом и парк, осмотрел яхту, согласился сфотографироваться на крыльце с владельцами замка, желавшими увековечить этот незабываемый день. А вечером, когда в честь его величества был устроен фейерверк и ракеты, отражаясь в Сене, падали в воду, Шифра, вся белая от бенгальского огня, опираясь на руку Христиана, гуляла по аллеям парка и говорила ему:

- Ах, как бы я вас любила, если б вы не были королем!..

Это было первое ее признание, и притом весьма искусное. До сих пор любовницы боготворили в Христиане властелина, боготворили его высокий сан, его славный род. Шифра любила его самого. “Если б вы не были королем…” Да ведь в нем и так было очень мало королевского, он с радостью пожертвовал бы ради нее дырявой порфирой, еле державшейся у него на плечах!

В другой раз она объяснилась уже совсем начистоту. Встревоженный, он спросил ее, почему она сегодня такая бледная и заплаканная.

- Я ужасно боюсь, что скоро мы с вами не сможем видеться, - отвечала она.

- Почему?

- Вот что мне сейчас объявил мой супруг: дела его настолько плохи, что держать агентство во Франции уже не имеет смысла, - надо закрыть лавочку и устроиться где-нибудь еще…

- Он вас увозит?

- О, я для него только помеха!.. Он сказал: “Если хочешь, поедем со мной…” Но у меня другого выхода нет… Что я здесь буду делать одна?

- Какая вы нехорошая! Ведь я же здесь?

Она посмотрела на него пристально, в упор.

- Да, правда, вы меня любите… А я - вас… Мне было бы не стыдно принадлежать вам… Но нет, это невозможно…

- Невозможно?.. - задыхаясь от предвкушаемого счастья, переспросил ом.

- Вы, государь, слишком высокая особа для Шифры Льюис…

- Я возвышу вас до себя… - возразил восхитительный в своем самомнении Христиан. - Я сделаю вас графиней, герцогиней. Это право у меня пока еще не отнято. Мы легко найдем в Париже уютное гнездышко, я вас обставлю соответственно вашему званию, и мы будем там совершенно одни, никто нас…

- О, как бы это было хорошо! - Она мечтательно подняла на него правдивые, как у девочки, полные слез глаза, но тут же себя перебила: - Нет, нет… Вы - король… Когда я буду чувствовать себя на верху блаженства, тут-то вы от меня и уйдете…

- Никогда!

- А если вас снова призовут…

- Куда?.. В Иллирию?.. Нет, с этим уже покончено, я потерял ее навсегда. В прошлом году я упустил случай, а такие случаи не повторяются.

- Да что вы? - с радостью, на сей раз неподдельной, воскликнула она. - О, если б я была в этом уверена…

На языке у Христиана вертелось слово, которое должно было окончательно убедить ее, но он его так и не произнес, а она его все же расслышала. Вечером она все рассказала Д. Тому Льюису, и Том торжественно заключил, что “дело сделано… Теперь нужно только предупредить папашу…”.

Очарованный не меньше дочери фантазией, заразительной пылкостью, находчивостью, краснобайством Тома Льюиса, Лееманс не раз вкладывал свои сбережения в “ходы” агентства. Сначала он выигрывал, потом, как всегда бывает в азартной игре, проиграл. Раза два-три “загремев”, как он выражался, старикан стал осторожнее. Он никого не упрекал, он не кипятился, ибо хорошо знал, что такое афера, он ненавидел бесплодные разговоры. Но когда зять снова обратился к нему с просьбой финансировать постройку тех дивных воздушных замков, которые он силою своего красноречия воздвигал высотой до небес, антикварий только улыбнулся в бороду, что могло означать одно: “Мой ответ: дураков нет…” - и, как бы желая молча воззвать к разуму Тома, свести его с облаков на землю, прикрыл веки. Том хорошо изучил своего тестя, и так как он благоразумно решил, что иллирийская афера не должна выходить из круга его семьи, то послал к антикварию Шифру: надо заметить, что отец на старости лет привязался к единственной дочери, в которой он к тому же угадывал свою достойную преемницу.

После смерти жены Лееманс удовольствовался старой лавчонкой, а магазин на улице Мира продал. Шифра пошла к нему рано утром, чтобы застать его наверняка, оттого что старик почти не бывал дома. Сказочно богатый, отошедший от дел, по крайней мере - для вида, он продолжал с утра до вечера рыскать по Парижу, обегал магазины, не пропускал ни одной распродажи, нюхал, где чем пахнет, наблюдал за подмалевкой афер, а главное - с удивительной зоркостью высматривал стаи мелких антиквариев, промышленников, продавцов картин, безделушек, - он ссужал их деньгами, но ссужал тайком, боясь, как бы не облетела город молва о его богатстве.

Шифра, вспомнив свою молодость, вздумала пойти пешком с Королевской на улицу Эгинара - почти тою же дорогой, которой она ходила прежде из магазина. Еще не было восьми. Воздух был чистый, экипажи встречались редко, над площадью Бастилии от утренней зари еще оставалась оранжевая дымка, в которую словно окунал свои крылья позолоченный гений свободы на колонне. С той стороны по всем прилегающим к площади улицам надвигалась волна хорошеньких девушек,

жительниц окраины, которым пора было на работу. Если бы принц Аксельский встал нынче утром пораньше и подкараулил это нашествие, он бы не пожалел. Девушки шли быстрым шагом, по две, по три вместе, говорливые, бедовые, по направлению к многолюдным мастерским на улицах Сен-Мартен, Сен-Дени, Вьей-дю-Тампль, и лишь некоторые из них, элегантно одетые, шли в магазины на бульварах, - до них было дальше, но зато они поздней открывались.

Это было не вечернее оживление, когда, полные впечатлений от парижского дня, они возвращаются домой с гамом, со смехом или же не без грусти вспоминая промелькнувшее мимо них видение роскоши, после которого мансарда кажется еще выше, а лестница - еще темнее. Сейчас юные головки еще не совсем стряхнули с себя дремоту, но все же сон освежил их, и это ощущение свежести усиливают аккуратная прическа, старательно завязанные бантики лент, вплетенных в косы, лежащие на плечах, и черные платья, по которым еще до рассвета успела пройтись щетка. У одной сверкает поддельный бриллиант, подвешенный к розовой от холода мочке, у другой отсвечивает гребешок в волосах, у третьей останавливает внимание фальшивый блеск пряжки на поясе, у четвертой - белая полоска газеты, торчащей из кармана ватерпруфа. И как они спешат, сколько в них бодрости! Легкие пальто, тонкие юбки, не совсем твердая походка, потому что высокие каблуки стоптались от больших переходов… Решительно у всех - любовь к кокетству, призвание к нему, особая манера идти с высоко поднятой головой, глядя вперед в надежде увидеть, что несет им наступающий день… Это натуры, всегда готовые ко всякой случайности, так же как их парижский тип, не представляющий собою, кстати сказать, единого целого, всегда готов претерпеть любые видоизменения.

Шифра сентиментальностью не отличалась - она вся бывала устремлена к ближайшей цели, она жила настоящей минутой, однако и ее занимал этот слитный стук каблучков, этот торопливый шелест платьев. Девичьи мордашки, утреннее небо, раскинувшееся над старинным, любопытным, за пятнадцать лет нисколько не изменившимся кварталом, где на каждом перекрестке означены в рамках имена крупных торговцев, - все

напоминало Шифре ее молодость. Первое, что бросилось ей в глаза под черной аркой, которую нельзя миновать, если хочешь попасть с улицы Ап. Павла на улицу Эгинара, это длинная одежда раввина, шедшего в ближайшую синагогу. Немного погодя ей попался истребитель крыс с шестом и дощечкой, на которой висели мохнатые трупы, - тип старого Парижа, встречающийся только в этом квартале пахнущих плесенью домов, в этой штаб-квартире всех городских крыс. Еще немного погодя она встретила извозчика, - в дни своей трудовой юности она каждое утро могла наблюдать, как он тяжело ступает в толстых сапогах, не приспособленных к пешему хождению, бережно и совершенно прямо, будто причастник - свечу, держа в руке кнут - эту шпагу кучера, этот знак его достоинства, с которым он никогда не расстается. Улочку составляло несколько лавчонок, - там уже открывались ставни, - и Шифра снова увидела ветошь, развешанную как попало, вновь услыхала еврейский жаргон, и когда она, войдя в низенькую калитку отцовского дома, пройдя дворик и поднявшись на четыре ступеньки, дернула шнур, после чего раздался дребезжащий звон колокольчика, ей показалось, что она сбросила с плеч пятнадцать лет, которые, впрочем, не слишком ее тяготили.

Как и в былые времена, дверь отворила Дарне, дебелая овернка; на ее лоснящемся багровом, в нижней своей части отливавшем темной синевой лице, на стянутом узлом платке в горошинку, на белой оторочке черной наколки - на всем лежал такой глубокий траур, точно она служила в угольной лавке. По одному тому, как она отворила Шифре дверь, как она, поджав губы, улыбнулась ей, вызвав на лице Шифры точно такую же улыбку, нетрудно было догадаться, какую роль играет она при антикварии.

- Отец дома?

- Да, сударыня. В мастерской… Сейчас позову.

- Не надо… Я знаю, где это…

Шифра прошла переднюю залу, затем вышла наружу и сделала несколько шагов по саду, этому черному колодцу, обнесенному высокой стеной; в саду росли два-три деревца, а его узкие дорожки были завалены старьем: железным ломом, изделиями из свинца, художественной работы перилами, толстыми цепями, ржавыми, почерневшими, вполне гармонировавшими с унылыми кустиками, со старым позеленевшим фонтаном. Сад одним концом упирался в сарай со всяким хламом - там валялись остовы сломанной мебели всех эпох, углы его были забиты коврами, - а другим в мастерскую, во всех окнах которой стекла были сплошь матовые, чтобы даже с верхних этажей сюда не мог заглянуть нескромный взор соседей. Мастерскую до самого потолка в невообразимом беспорядке загромождали дорогие вещи, настоящую цену которым знал только их владелец: фонари, люстры, подсвечники, рыцарское снаряжение, курильницы, бронза античная и иностранная. В глубине - два кузнечных горна, слесарный и столярный инструмент. Здесь старьевщик с изумительным искусством и с терпением бенедиктинца чинил, копировал, подновлял старинные вещи. В прежнее время здесь с утра до вечера было очень шумно, хозяину помогали пять-шесть подмастерьев. Теперь слышен был только стук молотка по тонкому металлу да скрежет напильника при свете единственной лампы, свидетельствовавшей о том, что в мастерской еще не совсем замерла жизнь.

Когда Шифра вошла, старик Лееманс в длинном кожаном фартуке, засучив рукава и обнажив руки, покрытые рыжим пухом, отчего казалось, будто к ним пристали медные опилки, по модели, которая была у него перед глазами, шлифовал зажатый в тиски шандал в стиле Людовика XIII. Красное лицо старика пряталось в рыжей с проседью бороде, за прядями рыжих с проседью волос, так что его почти не было видно, даже когда он, услышав скрип двери, поднял голову и нахмурил густые неровные брови, из-под которых он смотрел, как смотрит гриф сквозь лезущий ему на глаза шерстистый пух.

- Добрый день, папуля!.. - молвила Шифра, притворившись, что не

замечает, как старикан в смущении пытается прикрыть подсвечник, - он не любил, чтобы его заставали за работой и отрывали от дела.

- А, это ты, малютка?

Он коснулся своей старой мордой ее нежных щечек.

- Что у тебя стряслось?.. - спросил он, выводя ее в сад. - Почему ты нынче поднялась спозаранку?..

- Мне нужно с тобой поговорить об одном очень важном деле…

- Ну, пойдем!

Он повел ее к дому.

- Но только, знаешь, я не хочу при Дарне…

- Хорошо, хорошо… - улыбаясь в свою всклокоченную бороду, пробормотал старик и, входя, крикнул служанке, протиравшей венецианское зеркало и вообще всегда занятой наведением чистоты и порядка, отчего лоб у нее блестел, как паркет: - Дарне! Поди в сад, посмотри, нет ли меня там.

Тон, которым это было произнесено, показывал, что старый паша еще не отказался от своих прав на любимую невольницу. Отец и дочь остались одни в прибранной мещанской зальце, мебель которой в белоснежных чехлах, а равно и шерстяные коврики подле каждого стула составляли резкую противоположность со свалкой пропыленных сокровищ в сарае и в мастерской. Подобно лучшим поварам, любящим только простые блюда, папаша Лееманс, понимавший толк в произведениях искусства, живо ими интересовавшийся, у себя не держал ни единой редкой вещицы, - в этом сказывался торговец, оценивающий, продающий, меняющий без увлечения и без сожаления, а не как завзятый любитель редкостей, который, прежде чем уступить какую-нибудь безделушку, справляется, куда покупатель намерен ее поставить, который беспокоится, как бы она не проиграла от неподходящего соседства. В комнате висел лишь его портрет во весь рост; на этом портрете, подписанном Ватле, он был изображен среди железного лома, за работой. Он и сейчас был похож на свой портрет, только седины у него чуть-чуть прибавилось, но в общем он не изменился: он и тогда был такой же худой, такой же сгорбленный, такая же у него была собачья голова, такая же рыжая борода лопатой, такие же длинные растрепанные волосы, закрывавшие лоб и оставлявшие на виду его красный, вследствие кожного заболевания, нос - нос пьяницы, коим судьба наградила этого трезвенника, ничего, кроме чая, не пившего. Своеобразие придавал зальце портрет хозяина да еще молитвенник, в развернутом виде лежавший на камине. Молитвеннику Лееманс был обязан несколькими выгодными сделками. Молитвенник отделял Лееманса от его конкурентов: от старого безбожника Швальбаха, от мадам Исав и других, - они вышли из гетто, а он - христианин, он женился по любви на еврейке, но он христианин и даже католик. Это возвышало Лееманса в глазах высокопоставленных покупателей. Он ходил в молельни - то к графине Мале, то к жене старшего брата Сисмондо, в воскресные дни появлялся то в церкви Фомы Аквинского, то в церкви Св. Клотильды, куда ходили лучшие из его клиентов, что не мешало ему поддерживать через жену связь с крупными еврейскими фирмами. К старости ханжество вошло у него в плоть и кровь, превратилось в привычку, и часто утром, отправляясь по делам, он заходил в церковь Ап. Павла - “захватить”, как он совершенно серьезно говорил, “кусочек обедни”, - он замечал, что после этого все у него шло как по маслу…

- Ну что? - исподлобья взглянув на дочь, спросил он.

- Крупное дело, папуля…

Она вытащила из сумочки пачку расписок и векселей, на которых стояла подпись Христиана.

- Это надо учесть… Хочешь?

Увидев подпись, старик скорчил гримасу, которая сморщила все его лицо, и оно почти целиком исчезло в шерсти, - так еж, защищаясь, свертывается и выставляет колючки.

- Вексельки на иллирийской государственной бумаге?… Покорно благодарю!.. Знаем мы, чем это пахнет… Если твой муж дал тебе подобное поручение, значит, он сошел с ума… Нет, правда, вы что, обалдели?

Шифра именно такого приема и ожидала, а потому ничуть не была обескуражена.

- Ты сначала выслушай меня… - сказала она и со свойственной ей положительностью начала подробно излагать ему суть дела, рисовать перспективу предстоящего “ловкого хода”, ссылаясь на документы: на номер “Кернаро” с отчетом о заседании сейма, на письма Лебо, в которых тот сообщал, что творится в Сен-Мандэ… Король, без памяти влюбившись в одну особу, занят устройством своего счастья. Роскошный особняк на

Мессинской, со всей обстановкой, экипажи - все это он ей наобещал и готов выдать сколько угодно векселей под любые проценты… Лееманс слушал теперь, развесив уши, делал замечания, задавал вопросы, залезал во все уголки этого блестяще задуманного предприятия.

- На какой срок векселя?

- На три месяца.

- Стало быть, через три месяца?..

- Через три месяца…

Тут Шифра сжала свои дышавшие спокойствием губы, отчего они стали еще тоньше, и сделала рукой такое движение, будто затягивала невидимую петлю.

- А проценты?

- Какие пожелаешь… Чем тяжелее условия, тем лучше для нас… Надо повести дело таким образом, чтобы у него остался только один выход: подписать отречение.

- А когда он подпишет?..

- Тогда уже все будет зависеть от этой особы… Мужчина с двухсотмиллионным состоянием - пожива недурная.

- А если она все заберет себе? Нужно знаешь как быть уверенным в этой женщине?..

- А мы в ней и уверены…

- Кто она такая?

- Ты ее не знаешь, - не моргнув глазом, ответила Шифра и принялась укладывать бумаги в сумочку, - такие сумочки бывают у просительниц.

- Погоди!.. - поспешил остановить ее старик. - Тут, знаешь ли, потребуется много денег… Значительное капиталовложение… Я поговорю с Пишри.

- Не стоит, папуля… Нехорошо, когда в деле замешано слишком много лиц… И так уже - нас двое, Лебо, теперь еще ты… Больше никого не нужно!..

- Только Пишри!.. Понимаешь: мне одному это не под силу… Тут надо много денег… много денег…

- А потом понадобится еще больше!.. - хладнокровно заметила Шифра.

Последовало молчание. Старик размышлял, скрывая ход мысли в своих зарослях.

- Так вот… - наконец заговорил он. - Я согласен войти в дело, но с условием. Этот дом на Мессинской… Его надо обставить шикарно… Ну-с, безделушки буду поставлять я…

В ростовщике проснулся антикварий.

Шифра покатилась со смеху.

- Ах ты, старая выжига!.. Старая выжига!.. - повторяла она, подхватив слово, носившееся в воздухе лавки, но не вязавшееся с изысканностью ее туалета и манер. - Ну, ладно, папуля… Ты будешь поставлять безделушки… Но только, пожалуйста, не из маминой коллекции!

Лицемерное название “Коллекция г-жи Лееманс” старьевщик дал собранной им всякой дряни, испорченным, ни на что не годным вещам, но благодаря этой игре в сентиментальность он отлично сбывал их, внушая покупателям, что он дорожит как святыней каждой вещичкой, оставшейся после незабвенной супруги, и ценит ее на вес золота.

- Слышишь, старый?.. Чтобы никакого плутовства, никакого жульничества!.. Дама в этом разбирается.

- Ты думаешь… разбирается?.. - проворчал в усы старый пес.

- Не хуже нас с тобой, уверяю тебя.

- Но кто же…

Он потянулся мордой к ее прелестному личику, - продажность была написана и на старом пергаменте, и на лепестках розы.

- …кто же эта женщина?.. Мне-то ты можешь сказать, раз я компаньон.

- Это…

Остановившись на полуслове, она завязала широкие ленты шляпы под тонким овалом своего лица и посмотрела на себя в зеркало, - оно отразило удовлетворенный взгляд красивой женщины, у которой был теперь лишний повод гордиться.

- …графиня Сплит… - торжественно объявила она.

IX

В академии

Классический дворец, дремлющий под свинцовым куполом в конце Моста Искусств, при входе в ученый Париж, имел в то утро необычный вид и даже как будто вышел за черту зданий, высящихся вдоль набережной. Несмотря на то что время от времени принимался поливать частый июньский дождь, толпа теснилась на ступенях главного подъезда, распустив хвост, точно у театральной кассы, жалась к решеткам и стенам, текла под аркой улицы Сены, и это была толпа элегантная, нарядная, сдержанная, она терпеливо мокла, зная, что она войдет, рано или поздно, а войдет, в чем каждого убеждал блестевший под ливнем разноцветный пригласительный билет. Придерживаясь такого же строгого порядка, по пустынной набережной Моне тянулась вереница экипажей, самых роскошных, какие только есть в Париже, с выездными лакеями в кокетливых или же величественных ливреях, и хотя лакеев защищали от дождя зонты и непромокаемые плащи - в этом проявился демократизм их хозяев, - все же у них выглядывали букли париков и галунная позолота, а мелькавшие одна за другой стенки карет были украшены внушительных размеров гербами знатных семейств Франции и других европейских стран, даже девизами королей, что придавало стенкам сходство с гигантскими, движущимися для всеобщего обозрения вдоль Сены таблицами Гозье. Как только сквозь тучи пробивался луч солнца, парижского солнца, в кратких просветах которого есть такое же обаяние, как в улыбке, озаряющей хмурое лицо, на всем зажигались влажные отблески: на упряжи, на фуражках охраны, на фонаре купола, на чугунных львах у входа в здание, обычно запыленных и тусклых, а сегодня отмытых и ласкавших взор своей чернотой.

Изредка, по случаю торжественных приемов, у старой Академии бывают такие внезапные и волнующие послеполуденные пробуждения. Но в то утро никакого приема не ожидалось. Был уже конец сезона, и вновь избранные академики, в кокетливости не уступавшие актерам, ни за что не согласились бы дебютировать, когда главный парижский приз уже присужден, когда салон закрыт и когда все уже сидят на чемоданах. Просто-напросто предстояла раздача академических премий - церемония не блестящая, обыкновенно привлекающая лишь семьи лауреатов. Сегодня небывалое по многолюдству сборище, аристократическое столпотворение

у дверей Академии объяснялось тем, что среди других работ получил премию “Мемориал об осаде Дубровника”, принадлежавший перу князя Розена, а монархическая клика этим воспользовалась, чтобы устроить под охраной преданной ей полиции противоправительственную манифестацию. По счастливой случайности или же вследствие интриг, невидимо, как кроты, роющихся в официальных и академических подземельях, непременный секретарь оказался болен, и доклад о премированных работах должен был прочитать светлейший герцог Фицрой, а про него можно было сказать заранее, что этот легитимист до мозга костей подчеркнет и выделит наиболее яркие места в книге Герберта, в этом талантливом историческом памфлете, завоевавшем симпатии всех ярых, убежденных монархистов. Короче говоря, ожидался один из тех замаскированных протестов, которые Академия позволяла себе даже при Империи и которые допускала родная дочь Республики - терпимость.

Полдень. Двенадцать ударов, пробивших на старинных часах, производят в толпе шум и движение. Двери отворяются. Медленно, шаг за шагом, подвигаются люди к выходам на площадь и на улицу Мазарини, меж тем как кареты с гербами, заворачивая во двор, высаживают своих владельцев, обладателей особых билетов, у крыльца, на котором среди привратников с цепями суетится гостеприимный правитель канцелярии, в мундире, обшитом серебряным галуном, улыбающийся, услужливый, точно добрый дворецкий Спящей красавицы в тот день, когда она, проспав сто лет, наконец пробудилась на своем царском ложе. Дверцы карет хлопают, мешковатые выездные лакеи в долгополых сюртуках соскакивают с козел, постоянные посетители и посетительницы подобных сборищ обмениваются поклонами, глубокими реверансами и улыбками, перешептываются, и шепот их сливается с шуршаньем шелковых платьев, скользящих по застеленной ковром лестнице, что ведет к трибунам, куда допускаются только особо важные гости, и в узкий коридор, покатый пол которого словно осел от многовекового хождения по нему, а через коридор - внутрь дворца.

Публика в той стороне залы, которая предназначена для нее, размещается амфитеатром. Ряды, уступами идущие кверху, один за другим чернеют, а на самом верху, на фоне круглого витража, вырисовываются силуэты занимающих стоячие места. Негде упасть яблоку. На волнующееся море голов ложится свет, какой бывает днем в музеях или в храмах, только здесь ощущение его холодности усиливают гладкая желтая

штукатурка стен и мрамор высоких задумчивых статуй Декарта, Боссюэ, Массильона - статуй славы великого века, застывших в неподвижной позе. Напротив переполненного полукруга несколько еще не занятых рядов и маленький накрытый зеленым сукном столик, на котором стоит традиционный стакан с водой, ожидают членов Академии, ее чиновников - они с минуты на минуту должны войти вот в эти высокие двери, увенчанные надгробной надписью, выведенной золотыми буквами: “Словесность, науки, искусства”. Во всем этом есть что-то отжившее, холодное, жалкое, составляющее разительный контраст с новизной туалетов, которыми поистине процвела зала. Новомодного узковатого фасона платья, светлые, блеклых тонов, цвета серого пуха, цвета утренней зари, стянутые блеском гагатовых пуговиц и стальных крючков, легкие шляпки с лесом искусственных мимоз и пеной кружев, сочетания темного бархата и светлой, как солнце, соломы, рождающие переливы красок, как на оперении птиц из жарких стран, и, наконец, непрерывное, мерное колыхание широких вееров, надушенных тонкими духами, заставляющими мосского орла щуриться от удовольствия… Нет, право, не стоит пахнуть плесенью и выряживаться пугалом только потому, что ты представляешь старую Францию!

Все, что есть в Париже шикарного, родовитого, благонамеренного, цвет клубных завсегдатаев, сливки Сен-Жерменского предместья - все это встречается здесь, и все эти люди улыбаются друг другу, узнают друг друга по каким-то им одним понятным масонским знакам, все они редко выезжают в свет, держатся всегда особняком, лорнет не отыщет их на премьерах, в опере и в консерватории они бывают только в определенные дни, это общество тепличное, замкнутое, оберегающее свои салоны от уличного света и шума с помощью тяжелых гардин и лишь изредка заставляющее говорить о себе - по случаю смерти, бракоразводного процесса или же какой-нибудь неприличной выходки одного из его членов, рыцаря орденов Праздного шатания и Золотой молодежи. Среди избранников - несколько благородных иллирийских семейств, последовавших за государем и государыней в изгнание: красивые мужчины, красивые женщины с чересчур резкими чертами лица, не сливающиеся с этим утонченным обществом. Видные места заняты посетителями академических салонов, которые заранее готовятся к выборам, заранее вербуют сторонников; их приход на выборы весит гораздо больше, чем гениальность самого кандидата. Прогоревшие знаменитости эпохи Империи льнут к представителям “старых партий”,

над которыми они же когда-то изощряли свое характерное для выскочек остроумие.

И, несмотря на всю изысканность собравшейся в Академии публики, сюда ухитрились проскользнуть скромно одетые содержанки первого сорта, известные своими монархическими связями, да две-три модные актрисы, смазливые мордочки которых уже примелькались в Париже и успели опошлиться и надоесть тем быстрее, что женщины всех слоев общества наперебой стараются им подражать. А потом еще журналисты, репортеры иностранных газет, вооруженные записными книжками, усовершенствованными наконечниками для карандашей, чем-чем только не запасшиеся - как будто им предстояло путешествие в Центральную Африку.

Внизу, у подножия скамеек амфитеатра, к узкому полукругу кресел направляется супруга лауреата, княгиня Колетта Розен, - ей очень идет зеленовато-голубой туалет из индийского кашемира и старинного муара, она чувствует себя победительницей, ее глаза сияют под копной взбитых волос цвета дикого льна. Ведет ее толстяк с грубыми чертами лица - это Совадон; до чрезвычайности гордый тем, что ему выпала честь сопровождать свою племянницу, желая показать, какое значение придает он сегодняшней торжественной церемонии, дядюшка, однако, переусердствовал и вырядился как на бал. Вид у него глубоко несчастный: белый галстук причиняет ему такие же мучения, как если бы на него надели шейную колодку; он оглядывает каждого входящего мужчину в надежде встретить собрата по одежде. Увы! Таковых не находится.

От мельтешенья разноцветных платьев и оживленных лиц исходит мощный гул голосов, мерный и в то же время внятный, электрическим током пробегающий с одного конца залы на другой. Каждый легкий смешок звучит заразительно, дробится на множество еще более легких смешков. Малейший знак, безмолвное движение рук, заблаговременно готовящихся аплодировать, замечается во всех рядах, от верхних до нижних. Это - искусственно взвинченное волнение, это - благосклонное любопытство публики на премьере блестяще поставленной пьесы - премьере, успех которой обеспечен заранее. Стоит появиться знаменитостям, и к ним устремляется весь трепет публики, приглушающей на то время, пока они занимают места, говор любопытства или восхищения.

Видите там, наверху, над статуей Сюлли, двух только что вошедших дам и ребенка, занявших первые места в ложе? Дамы - это две королевы: иллирийская и палермская, двоюродные сестры; и та и другая держатся прямо, у обеих горделивая осанка, на обеих платья из сиреневого фая, отделанные старинной филейной вышивкой, светлые волосы одной и черные косы другой испытывают ласковое прикосновение длинных колышущихся перьев на шляпах в виде короны, и все же они являют собой пленительный контраст двух совершенно разных благородных женских типов. Фредерика побледнела; старящая королеву складка печалит мягкость ее улыбки. Лицо ее черноволосой кузины также носит на себе следы горестей и невзгод изгнания. Сидящий между ними малолетний граф Цара встряхивает белокурыми локонами, отросшими на его головке, посадка которой с каждым днем становится все величавее, все крепче, так же как с каждым днем появляется больше уверенности в его взгляде и в очертании губ. Настоящий королевский отросток, который уже начинает цвести.

Старый герцог Розен сидит сзади с кем-то еще, но не с Христианом II - тот постарался избежать вполне вероятной овации, - а с высоким мужчиной, запустившим свою и без того густую гриву, человеком, никому не известным, чье имя ни разу не будет упомянуто в течение всей церемонии, хотя должно бы быть у всех на устах. Это же в его честь устраивается сегодняшнее торжество, это же он виновник той славословной панихиды по монархии, на которой присутствуют последние французские дворяне, присутствуют короли, укрывшиеся с семьями в Париже, - ведь в этой зале собрались все изгнанники, все свергнутые с престола, явившиеся почтить своего родственника Христиана, и разместить коронованных особ, согласно требованиям этикета, оказалось делом совсем не простым. Нигде с таким трудом не решается вопрос местничества, как в изгнании, оттого что в изгнании самолюбие становится особенно болезненным, оттого что в изгнании обидчивость превращается в ранимость.

На трибуне Декарта - каждая трибуна носит имя статуи, поставленной над ней - вестфальский король хранит горделивую осанку, которая еще резче подчеркивает неподвижность его глаз: они глядят, но не видят. В одну сторону он посылает улыбку, в другую кланяется. Он постоянно озабочен тем, чтобы скрыть свою неизлечимую слепоту. И в этом ему со всей своей преданностью помогает дочь, высокая, тонкая девушка, словно

сгибающаяся под тяжестью золотистых кос, цвет которых она тщательно скрывает от отца. Слепой отец любит только брюнеток.

- Если б ты была блондинкой, - говорит он иногда, проводя рукой по волосам принцессы, - мне кажется, я бы тебя меньше любил.

Эта чудесная пара идет путем изгнания с достоинством, с гордым спокойствием, точно гуляет по королевскому парку. Когда Фредерика падает духом, она вспоминает о слепце, которого водит эта чистая девушка, и черпает силы в исходящем от них обоих лучезарном очаровании.

Там, дальше, пышнотелая галисийская королева в чалме из блестящего атласа, с налитыми румяными щеками, похожая на толстокожий красный апельсин. Она держится развязно, отдувается, обмахивается веером, хохочет, болтает с еще не старой женщиной в белой мантилье, - у женщины в мантилье печальное и доброе лицо, на котором слезы провели бороздки от слегка покрасневших глаз к бескровным губам. Это герцогиня Пальмская, прелестное существо, отнюдь не созданное для треволнений и страхов, испытываемых ею по милости самодержца-головореза, самодержца-разбойника, с которым она связала свою жизнь. Он тоже тут, этот верзила, он фамильярно просовывает между двумя дамами свою черную блестящую бороду; на его лице, успевшем загореть, пока он учинял последнюю свою вылазку, так же дорого ему обошедшуюся и такую же неудачную, как и предыдущие, написано, что он бабник. Когда-то он играл в короля, в его жизни были придворные, были празднества, женщины, благодарственные молебны, шествия по цветам. Он гарцевал, повелевал, танцевал, разговаривал не только на языке чернил, но и на языке пороха, проливал кровь, сеял ненависть. Проиграв сражение, первым бросив клич: “Спасайся, кто может!” - герцог бежал во Францию: здесь он собирался с силами, вербовал новых сторонников, чтобы было кого послать на убой, прокучивал миллионы и щеголял в особом костюме, приспособленном для дорожных приключений: в сюртуке с талией в рюмочку, с пуговицами и шнурами, придававшими ему вид цыгана. В его ложе шумная молодежь надсаживается-кричит с бесцеремонностью придворных королевы Помаре, идет жаркая перестрелка словами, произносимыми на непонятном языке, грубо и хрипло, фамильярностями, обращениями на “ты”, смысл которых шепотом разгадывается в зале.

Странно вот что: лучшие места нарасхват, принцы крови - и те сидят в амфитеатре, а одна маленькая ложа, ложа Боссюэ, пуста. Все задают друг другу вопрос: кто еще должен прибыть, кто из важных сановников, кто из государей, находящихся проездом в Париже, так запаздывает, что придется, очевидно, начать без него? Уже на старинных часах бьет час. Снаружи доносится отрывистая команда: “На кра-ул!” - и под механический лязг ружейных приемов в настежь распахнутые высокие двери торжественно входят “словесность, науки, искусства”.

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что даже самые старые из этих светил, живые, подвижные, сохранившиеся, если можно так выразиться, из принципа, по традиции, всячески молодятся, стараются показать юношескую прыть, тогда как те, кто помоложе, те, у кого почти еще нет седых волос, держатся степенно и чинно. Впечатления чего-то величественного не создается - мешают прилизанность современных причесок и черное сукно сюртуков. Парик Буало или Ракана, написанные речи которого рвала его левретка, имел, по всей вероятности, более внушительный вид и больше подходил к строгому стилю увенчанной куполом залы. Некоторую живописность вносят два-три фрака с академическими пальмами, располагающиеся на самом верху, за столом, на котором стоит стакан со сладкой водой. Один из фраков произносит священные слова:

- Разрешите открыть заседание.

Однако он может сколько угодно объявлять, что заседание открыто, все равно никто ему не верит, да он и сам этому не верит. Он прекрасно знает, что обстоятельный доклад о монтионовских премиях, который певуче и звучно промодулирует один из самых больших говорунов во всей Академии, - это еще не настоящее заседание.

То был образец академической речи, написанной в академическом стиле, с неизбежными “отчасти” и “так сказать”, заставляющими мысль все время возвращаться назад, точно святошу на исповеди, в сотый раз принимающуюся перечислять все свои грехи; в стиле, украшенном арабесками, завитушками, затейливыми росчерками каллиграфа, извивающимися между строчками, чтобы прикрыть, чтобы заполнить их пустоту; в стиле, требующем от слушателей особой сосредоточенности, в стиле, который здесь так же обязателен, как фраки с зелеными пальмами.

При других обстоятельствах публика, обычно собирающаяся в стенах Академии, млела бы от этой проповеди. Как бы она била копытами, как бы она радостно ржала от иных выкрутасов, стараясь угадать, в чем будет заключаться последний штрих! Но сегодня все охвачены нетерпением, все пришли не на этот скромный литературный праздник. Надо видеть, какая презрительная скука написана на аристократических лицах тех, кто присутствует на этом смотру смиренной самоотверженности, испытанной преданности, на смотру людей незаметных, которые пробираются, пригнувшись, по устаревшей, путающейся в мелочах фразеологии, так же как они поневоле пробираются у себя в провинции по узким, вымощенным плитами, неосвещенным закоулкам. Плебейские имена, потертые сутаны, старые синие блузы, выгоревшие на солнце, вылинявшие от стирки, захолустные села, где взор мгновенно обнимает остроконечную колокольню и низкие стены домов, проконопаченные сухим коровьим навозом, - все это, вызванное издалека, попавшее в высшее общество, конфузится, стесняется холодного света, которым освещена зала, нескромная, как витрина фотографа. Благородное собрание удивляется, что среди простонародья так много хороших людей… Еще?.. Еще?.. Значит, люди не разучились страдать, жертвовать собой, проявлять героизм?.. Завсегдатаи клубов уверяют, что это смертельно скучно. Колетта Розен подносит к носу флакончик с духами, - ей кажется, что от всех этих стариков, от всех этих бедняков “пахнет муравейником”. Скука испариной выступает на лбах, сочится из стен. Докладчик начинает понимать, что он утомил слушателей, и ускоряет смотр.

Ах, бедная Мари Шале из Амберье-ле-Комб, ты, кого местные жители прозвали святой, ты, на протяжении пятидесяти лет ухаживавшая за своей разбитой параличом теткой, ты, вытиравшая носы восемнадцати двоюродным братцам, подкармливавшая, укладывавшая их спать, и вы, досточтимый аббат Бурилью, священник прихода Св. Максима-на-Горе, вы, во всякую погоду отправлявшийся в горы, дабы оказать помощь и принести утешение сыроварам! Вы и не подозревали, что Французская академия увенчает ваши усилия публичной наградой, стыдясь и презирая вас, что ваши имена кто-нибудь пробормочет, прошамкает и что, пропущенные мимо ушей, они потонут в невнимании, в нетерпеливом и насмешливом шепоте! Финал речи - это бегство с поля сражения. И, для того чтобы легче было удрать, беглец бросает оружие и ранец, наполненный проявлениями героизма и ангельской добротой, - докладчик без малейших угрызений совести швыряет все это в ров, ибо он знает, что

завтрашние газеты напечатают его речь полностью и что не пропадет ни одна из его цветистых фраз, закрученных так же старательно, как закручивают в папильотки пряди волос. Вот и конец. Жидкие аплодисменты, облегченные вздохи. Несчастный оратор садится, вытирает пот, принимает поздравления двух-трех собратьев - последних весталок, хранящих академический стиль. Пятиминутный перерыв, в зале раздается нечто подобное отфыркиванью застоявшихся лошадей, публика встает, разминает затекшие члены.

Затем воцаряется мертвая тишина. Еще один зеленый фрак поднимается с места.

Это светлейший Фицрой. Каждый волен любоваться им, пока он приводит в порядок бумаги на покрытом сукном столике. Этому щуплому, узкоплечему, сутулому, рахитичному человеку со связанными движениями длинных, с выпирающими локтями рук всего пятьдесят лет, но ему смело можно дать семьдесят. На изношенном, нескладном туловище - маленькая головка; бледность одутловатого лица с неправильными чертами проступает меж редких бакенбард, жидких, как волосики на голове, скорее напоминающих птичий пух. Помните в “Лукреции Борджиа” Монтефельтро, выпившего яд папы Александра? Он проходит в глубине сцены - облезлый, разбитый, трясущийся, стыдящийся собственного существования. Светлейший Фицрой отлично мог бы сыграть эту роль. Бедняга в рот не брал яда Борджиа, а равно и каких-либо других напитков, но он потомок чудовищно древнего рода, в котором совсем не было смешанных браков, - то был отпрыск растения с истощенными соками, которое поздно уже скрещивать с низшей породой. Зелень академических пальм еще усиливает его бледность и оттеняет его силуэт - силуэт больного шимпанзе. Дядюшка Совадон восхищается им. Еще бы, у него такая громкая фамилия!.. Женщины находят, что он очень изящен. Ну, конечно, это же Фицрой!..

Старинная фамилия Фицрой, длинная история этого рода, в котором, само собой разумеется, дураков и негодяев было предостаточно, способствовала избранию его в академики в гораздо большей степени, чем его убогие компиляции, его исторические труды, из коих лишь первый том представляет несомненную ценность. Правда, написал его не он, и если бы светлейший Фицрой различил наверху, на трибуне королевы Фредерики, сверканье воронова крыла, осеняющего крепко посаженную голову, из

которой вышел его лучший труд, быть может, он, перебирая листки своей речи, не принял бы такого высокомерного, брезгливо недовольного вида и, прежде чем начать чтение, не обвел публику надменным взглядом, все охватывающим и ничего не замечающим. Сперва он ловко и быстро покончил с характеристикой мелких работ, премированных Академией. Желая подчеркнуть, насколько это занятие ниже его достоинства, как мало оно его интересует, он с особым удовольствием перевирал фамилии авторов и названия книг. Пусть посмеются!.. Наконец очередь доходит до премии Робло, которую получила лучшая историческая работа за последние пять лет.

- Как известно, господа, эта премия присуждена князю Герберту Розену за его великолепный “Мемориал об осаде Дубровника”.

Оглушительным взрывом рукоплесканий приветствует публика эти трафаретные слова, которые были сказаны громогласно и сопровождены тем движением, каким трудолюбивый сеятель бросает семена. Светлейший Фицрой пережидает первый порыв восторга, а затем, воспользовавшись примитивным, но безотказным приемом контраста, произносит тихо, значительно:

- Господа!..

На этом слове он останавливается и проводит глазами по собравшимся, которые с нетерпением ждут продолжения, которые с трудом переводят дыхание, которые сейчас в его власти, которых он держит в руках. Всем своим видом он словно говорит: “А что, если я больше ничего не скажу? Вот вы и останетесь с носом!” Однако с носом-то остается он, потому что он уже собирается продолжать, а никто его не слушает…

Наверху хлопает дверь, ведущая в ложу, до сего времени пустовавшую. Входит какая-то дама, без тени смущения садится и сразу привлекает к себе всеобщее внимание. Отделанное пестрой вышивкой темное платье, скроенное великим мастером своего дела, чудесно обрисовывает ее стройный стан, а кремовые кружева, ниспадающие со шляпы, обрамляют овал бледно-розового лица этой Эсфири, уверенной в победе над своим Артаксерксом. Имя ее шепотом передается из уст в уста. Ее знает весь Париж, в течение трех последних месяцев всюду только и разговору, что о ее романе и о ее роскоши. Ее особняк на Мессинской своим великолепием

напоминает лучшие времена Империи. Газеты уже раструбили во всех подробностях этот великосветский скандал, сообщили, как высока ее конюшня, во что обошлась роспись столовой, сколько у нее экипажей, и, наконец, раззвонили об исчезновении ее мужа, который не захотел, в отличие от другого прогремевшего Менелая, усугублять свой позор и выехал за границу, - обманутый муж, живущий в наш великий век, предпочел дуться на жену издали. В газетной хронике осталось только одно белое пятно: имя того, кто сманил у него жену. В театрах эта дама всегда в первом ряду ложи, а сзади нее чьи-то усики, прячущиеся в полумраке. На прогулку в Булонский лес едет она одна, рядом с ней, на мягком сиденье, вместо спутника - огромный букет, а на стенках кареты, вокруг загадочного герба - совсем недавно выведенный нелепый девиз: Права за мной - король мой, - этим девизом, равно как и титулом графини, ее наградил возлюбленный…

Сегодня фаворитка возведена в сан. В такой день посадить эту даму на одно из почетных мест, предназначенных для высочайших особ, дать ей в спутники Ватле, верноподданного короля Христиана, и принца Аксельского, всегда готового на какую-нибудь компрометирующую выходку, - это значит открыто признать ее, украсить ее иллирийским гербом. И, однако, ее появление не вызывает ни малейшего негодования. Короли пользуются рядом преимуществ. Утехи королей так же священны, как и самые их особы, главным образом - в мире аристократическом, где еще живы традиции любовниц Людовика XIV или Людовика XV, разъезжавших в каретах королев и отправлявшихся вместо них на парадную охоту. Правда, иные жеманницы вроде Колетты Розен с видом оскорбленной невинности выражают удивление, как это в Академию пускают подобного рода женщин, но поверьте, что у каждой из этих дам есть хорошенькая обезьянка уистити, околевающая от чахотки. Общее же впечатление от фаворитки в высшей степени благоприятное. Завсегдатаи клубов говорят: “Очень шикарна!” А журналисты: “Смела!..” На нее смотрят с благосклонной улыбкой. Даже сами бессмертные, и те дружелюбно лорнируют обворожительную кокотку, тем более что она держится естественно, и только бархатистые глаза ее нарочито неподвижны, как у женщины, сидящей в первом ряду ложи и осаждаемой назойливым вниманием лорнетов.

Многие с любопытством поглядывают в сторону иллирийской королевы: как-то она перенесла появление фаворитки. О, совершенно спокойно! Ни

один мускул на ее лице, ни одно перо на ее шляпе не дрогнули. Фредерика отстранилась от всякого участия в светских развлечениях, а потому не могла знать эту даму. Она никогда ее раньше не видела и теперь, как всякая женщина, рассматривающая незнакомку, прежде всего останавливает взгляд на ее туалете.

- Кто это? - спрашивает она палермскую королеву, и та поспешно отвечает:

- Не знаю…

Но тут Фредерику поражает в самое сердце фамилия, громко произнесенная и многократно повторенная на соседней трибуне:

- Сплит!.. Графиня Сплит!..

Вот уже несколько месяцев фамилия Сплит преследует Фредерику, точно кошмарный сон. Ей известно, что эту фамилию носит нынешняя возлюбленная Христиана, вдруг вспомнившего, что он король, только для того, чтобы один из самых почетных титулов своей далекой отчизны присвоить особе, с которой он развлекается. Вот почему новая измена мужа была так тяжела для Фредерики. Но сегодня всякая мера перейдена. Напротив нее и наследника, заняв место, подобающее королеве, сидит содержанка - что же это, как не прямое оскорбление? А тем, что эта тварь красива, красива строгой и тонкой красотой, Фредерика еще сильнее уязвлена, хотя она и не отдает себе в этом отчета. В прекрасных глазах королевской любовницы явственно виден вызов, в чистоте ее лба есть что-то дерзкое, в яркости губ - что-то дразнящее… Вихрь мыслей проносится в голове у королевы… Их беспросветная нужда… Ежедневные унижения… Не далее как вчера под окнами кричал каретник, и Розен заплатил ему - волей-неволей пришлось на это пойти… Где же Христиан берет деньги для этой женщины?.. После мошенничества с фальшивыми камнями она убедилась, что Христиан способен на все. Внутренний голос шепчет Фредерике, что эта самая Сплит опозорит короля, опозорит весь их род. На одну минуту, на одно мгновенье у вспыльчивой Фредерики возникает искушение встать и, взяв мальчика за руку, выйти, - ей хочется показать, что она не намерена выносить пачкающее ее соседство, унизительное для нее соперничество. Но ее удерживает сознание, что она королева, что она жена короля и дочь короля и что Цара - тоже король. Нет, она не доставит

их врагам радости такого страшного скандала. Чувство более высокое, нежели чувство чисто женского достоинства, гордое и бесполезное правило, которым она руководствовалась всю свою жизнь, заставляет ее держаться соответственно своему сану не только здесь, на виду, но и в четырех стенах своего разоренного дома. Королевам обычно завидуют, а между тем какая жестокая у них судьба! Фредерика сделала над собой такое отчаянное усилие, что из глаз у нее брызнули слезы, - так под ударами весел брызжут тихие воды пруда. Чтобы никто ничего не заметил, Фредерика схватывает лорнетку и сквозь запотевшее стекло начинает пристально, упорно разглядывать успокоительную золоченую надпись там, вверху, за головой оратора: “Словесность, науки, искусства”, и от слез надпись кажется ей длиннее и словно переливает радугой.

Светлейший Фицрой продолжает читать. Серым, как арестантский халат, языком он превозносит до небес “Мемориал”, написанный юным князем Гербертом Розеном, “который владеет пером, как шпагой”, этот увлекательный и суровый исторический труд, а главным образом он превозносит доблесть того, кто вдохновил автора, - доблесть “рыцарственного Христиана II, сочетающего в себе милосердие, благородство, силу духа, обаяние жизнелюбия, - словом, все качества, необходимые венценосцу”. (Аплодисменты и восторженные вскрики женщин.) Что и говорить, хорошая подобралась публика, впечатлительная, пылкая, ловящая на лету и отгадывающая самые легкие намеки… Изредка среди тягучих периодов звучала сильная, искренняя нота - это были выдержки из “Мемориала”, а ведь все документы, необходимые для его составления, дала королева, всюду заменив свое имя именем короля, тушуясь ради того, чтобы рельефнее показать Христиана II… Боже правый! И вот награда!.. Слушатели рукоплещут тем цитатам из “Мемориала”, где говорится о беззаветной храбрости короля, о том, как он пренебрегал опасностью, о славных подвигах, которые он совершал без малейшей рисовки, и подвиги эти в оправе картинной прозы летописца выглядят кусками старинного эпоса. Видя, что публика принимает отрывки восторженно, светлейший Фицрой, который, ей-богу, совсем не так глуп, откладывает в сторону свое рукоделие и, перелистывая “Мемориал”, читает из него наиболее яркие места.

Это возвышающий и животворящий взмах крыльев в узкой зале классически строгого здания. Кажется, будто стены раздвигаются; кажется, будто купол приподнялся и в залу вливается свежий воздух. Дышится

легче, веера уже не подчиняют своему ритмичному колыханию безучастное внимание слушателей. Нет, вся зала встает, все, подняв головы, смотрят на трибуну Фредерики. Публика рукоплещет, публика приветствует в лице жены и сына Христиана II последнего короля, последнего рыцаря, побежденную, но доблестную монархию. Маленького Цару, как всякого ребенка, опьяняют шум и приветственные клики, и он простодушно аплодирует, поправляя своими детскими ручонками в перчатках светлые локоны, а королева откидывается на спинку кресла, - ей передается, ее заражает всеобщий восторг, и сейчас она наслаждается счастьем, его минутной иллюзией. Итак, ей удалось окружить ореолом призрак короля, а самой остаться в тени; благодаря ей иллирийская корона, которую когда-нибудь наденет ее сын, засияет вновь - и уже непродажным сияньем. Так что же значит после этого для королевы изгнание, измены мужа, бедность? Бывают такие вспышки света, которые в одно мгновенье рассеивают окружающий мрак… Внезапно она оборачивается, - ей хочется принести дань своей радости тому, кто, поблизости от нее, прислонившись к стене и уставив глаза в купол, вслушивается в магию слов, позабыв, что это же его слова, кто присутствует при этом триумфе, не испытывая ни сожаления, ни горечи, не задумываясь ни на секунду над тем, что вся слава украдена у него. Подобно безымянным средневековым монахам, которые, не думая о славе, до последнего вздоха трудились над постройкой соборов, сын ткача довольствуется тем, что воздвиг прочное здание и оно тянется ввысь при ярком солнечном свете. И вот за это самоотречение, за отрешенность его улыбки - улыбки духовидца, за то, что она чувствует в нем родственную душу, королева протягивает ему руку и с нежностью в голосе произносит:

- Благодарю вас… благодарю вас…

Ближе к ней стоящий Розен думает, что это его она поздравляет с успехом сына. Перехватив этот ее жест признательности, он жесткой щетиной усов дотрагивается до перчатки королевы. А две счастливые жертвы вынужденно ограничиваются тем, что издали обмениваются взглядом, выражающим то неизреченное, что связывает души узами таинственными и долговечными.

Конец. Заседание закрывается. Светлейший Фицрой, заслужив рукоплескания, выслушав приятные слова, вдруг точно сквозь землю провалился. Восседавшие за столом “словесность, науки, искусства”

последовали за ним. А толпа хлынула во все двери, и уже расстилается гул обмена впечатлениями, точно после бала или после спектакля, - завтра же эти впечатления составят мнение всего Парижа. Многие из этих почтенных людей все еще во власти своих ретроградных мечтаний, надеются, что у выхода их ждут портшезы, но вместо носильщиков их встречает дождь, шум которого просачивается даже сквозь грохот омнибусов и карнавальные гудочки трамваев. Одни лишь привилегированные, убаюканные привычным ходом собственных экипажей, будут предаваться все той же сладостной монархической грезе.

Любопытно послушать, как все это теснящееся на главном подъезде с колоннами аристократическое общество, пока некий глашатай подзывает королевские экипажи, подкатывающие по мокрому блестящему двору, оживленно болтает в ожидании выхода их величеств. Замечательное заседание!.. Какой успех!.. Республике не поздоровится!..

В сопровождении целой свиты выходит княгиня Розен.

- Вы, наверно, счастливы?

- О да, я очень, очень счастлива!

И какая же она хорошенькая, и как мило она оборачивается и раскланивается направо и налево - ни дать ни взять дрессированная лошадка! Подле нее пыжится дядюшка; его по-прежнему тяготят белый галстук и пластрон, как у метрдотеля, и он старается прикрыть их шляпой, но все же он очень рад за своего зятя. Разумеется, ему лучше, чем кому-либо другому, известно, какая цена подобному успеху и что князю Герберту не принадлежит в премированной книге ни одной строчки, но сейчас он об этом не думает. И Колетта тоже, уж вы мне поверьте.

Тщеславная, как вся семья Совадон, она довольствуется внешним блеском. В глаза ей бросается припомаженный кончик длинного уса Герберта; Герберт вышел раньше ее, и сейчас его окружает золотая молодежь, приносящая ему свои поздравления, а Колетта делает над собой усилие, чтобы тут же, при всех, не прыгнуть мужу на шею, - так твердо она уверена в эту минуту, что он участвовал в осаде Дубровника, что он сам написал "Мемориал" и что его красивые усы не прикрывают челюсть дурака. И как этот славный малый ни упоен успехом, как ни смущен овацией, устроенной в его честь, многозначительными взглядами, которые он на себе ловит, словами светлейшего Фицроя, торжественно ему возвестившего: "Вам стоит только захотеть, князь, и вы войдете в наш круг", но всего дороже Герберту неожиданная ласка Колетты, та почти влюбленная безвольность, с какой она оперлась на его руку, чего с ней не случалось со дня их свадьбы, когда он под органные громы вел ее по церкви Св. Фомы Аквинского.

Но вот толпа расступается, мужчины почтительно обнажают головы. Выходят гости трибун, все эти павшие самодержцы, на несколько часов воскресшие и теперь вновь уходящие во тьму. Это шествуют тени властителей: слепой старик, опирающийся на свою дочь, галисийская королева со своим знаменитым племянником, шуршат накрахмаленные юбки, - как будто несут Мадонну Перуанскую. Наконец появляется королева Фредерика с двоюродной сестрой и сыном. Ландо подъезжает к крыльцу. Красивая, сияющая, с гордо поднятой головой, вызывая сдержанную дрожь восторга, королева садится в экипаж. Королева некоронованная, королева побочная уехала, не дождавшись конца заседания, вместе с принцем Аксельским и Ватле, - таким образом, ничто не нарушает этого выхода со славой… Теперь уж не о чем больше шушукаться, не на что больше глазеть. Дюжие лакеи под зонтами поспешно взбираются на козлы. Потом целый час еще слышатся цоканье копыт, стук колес и хлопанье дверцами экипажей, сливающиеся с шумом дождя и с выкрикиваньем имен, повторяемых каменным эхом, которое обыкновенно не дает покоя старинным зданиям, но Французскую академию тревожит не часто.

В тот вечер кокетливые аллегорические фигурки, которые написал Буше в простенках комнаты Герберта в особняке Розена, по всей вероятности, стряхнули с себя оцепенелость своих томных поз, и на их щеках вновь заиграл слегка увядший румянец, едва они услышали, как щебечет чей-то тоненький голосок:

- Это я!.. Колетта!..

Колетта, в ночном капоте с трепетавшей при ходьбе кружевной отделкой, пришла пожелать спокойной ночи своему герою, победителю, гению…

Приблизительно в это же время Элизе гулял один в саду при доме на улице Эрбильона, под сенью редких деревьев, просквоженных голубизной отмывшегося, разъяснившегося неба, неба июньского, на котором от долгого дня остается полусвет, чрезвычайно отчетливо обрисовывающий контуры теней на тускло отсвечивающих поворотах дорожек и покрывающий дом с закрытыми ставнями мертвенной белизной. Только наверху все еще бодрствовала лампа короля. Тишину нарушали плеск воды в чаше фонтана да замирающая соловьиная трель, на которую отвечали другие соловьи. Все эти впечатления сливались у Элизе с благоуханием роз, магнолий и мелиссы, сильно пахнувших после дождя. И та лихорадка, в которой Элизе жил последние два месяца, со дня венсенского праздника, от которой у него пылали лоб и руки, не успокаивалась среди цветенья звуков и ароматов, - как бы отвечая на зов соловья, она дрожала в нем мелкой дрожью, и волны ее доходили до самого его сердца.

- Ах, старый дурак, старый дурак!.. - послышался возглас совсем близко от него, в буковом питомнике.

Элизе остолбенел. Как это верно, как это справедливо сказано! Ведь он уже целый час твердит это себе!

- Глупый, презренный маньяк!.. В печку тебя, в печку, вместе с твоим гербарием!

- Это вы, господин советник?

- Не называйте меня советником!.. Я уже больше не советник… Я ничто, у меня ничего не осталось: ни чести, ни разума… А, porco!.. [23 - Свинья (итал.).]

И Боскович всхлипывал, с чисто итальянским неистовством тряся уродливой головой, на которую сквозь ветви липы падал причудливый свет. Бедняга с некоторых пор был что-то не в себе. Временами он оживлялся, болтал без умолку, всем надоедал рассказами о гербарии, о своем знаменитом люблянском гербарии, который, по его словам, вот-вот опять перейдет к нему, а потом внезапно прекращал словоизвержение, смотрел на всех исподлобья, и вы уже больше ничего не могли от него добиться. Но сейчас Элизе невольно подумал, что Боскович окончательно сошел с ума; наплакавшись, как ребенок, советник подскочил к нему и, схватив его за руку, крикнул в ночную тьму так, как будто звал его на помощь:

- Это невозможно, Меро!.. Надо этому помешать!

- Чему помешать, господин советник? - спросил Элизе, пытаясь выдернуть руку, которую тот судорожно сжимал.

- Акт отречения готов… - задыхаясь, шепотом заговорил Боскович. - Составил его я… как раз сейчас государь подписывает его… Я этого не должен был делать… Ma che, ma che… он же король… И потом, он обещал вернуть мне мой люблянский гербарий… А ведь там великолепные экземпляры…

Маньяк сел на своего конька, но Элизе, как громом пораженный, уже не слушал его. Первою и единственною его мыслью была мысль о королеве. Так вот благодарность за ее преданность, за ее самоотверженность, вот чем кончился для нее день принесения себя в жертву!.. И чего стоит слава, обвившаяся вокруг головы, которая упорно отвергает корону?.. В саду внезапно стемнело, - только там, в окне верхнего этажа, горел огонь, озарявший тайну преступления. Что делать? Как его предотвратить?.. Королева сейчас одна… Но примет ли она Элизе?.. Короче говоря, когда Меро заявил, что ему необходимо видеть ее величество, горничная королевы, г-жа Сильвис, уже пребывавшая во власти волшебных грез, сама королева - все в первую секунду подумали, что погруженный в сон особняк объят пламенем пожара. Встревоженное квохтанье в покоях королевы напоминало переполох в птичнике, разбуженном прежде времени. Наконец в маленькой гостиной, где Элизе велели подождать, появилась Фредерика в длинном голубом пеньюаре, обрисовывавшем ее дивные руки и плечи. Никогда еще Элизе так остро не ощущал близость женщины.

- Что случилось? - очень живо и очень тихо спросила она, мигая глазами так, как мигают ожидающие удара и видящие его приближение.

При первом же слове Элизе она вскочила.

- Это немыслимо… Пока я жива, этому не бывать!..

От резкого движения ее блестящие волосы рассыпались по плечам, и, когда она трагически небрежным жестом попыталась подобрать их, рукав ее пеньюара соскользнул до самого локтя.

- Разбудите его высочество, - негромко бросила она в мягкий сумрак соседней комнаты и, не сказав более ни слова, пошла к королю.

X

Семейная сцена

Все волшебство этой июньской ночи вливалось в распахнутые окна просторного холла, где зажженный канделябр не нарушал таинственности полумрака и не мешал лунному свету ложиться на стены полосою Млечного Пути, играть на гладкой перекладине трапеции, на смычке, в виде лука, от висевшей тут же гузлы и на стеклах книжных шкафов, которые составляли довольно скудную королевскую библиотеку, - пустые места в них заполняли ящики Босковича, распространявшие приторный, тлетворный запах кладбища сухих растений. На столе, поверх покрывшихся пылью бумаг, лежало пожелтевшее от времени серебряное распятие. Надо заметить, что писал Христиан II не часто, а о своем католическом воспитании помнил, окружал себя реликвиями и даже иной раз, прожигая жизнь у девиц, под звуки запыхавшихся фанфар веселья, рукою, влажною от хмеля, перебирал в кармане коралловые четки, с которыми он никогда не расставался. Подле распятия лежал широкий тяжелый лист пергамента, исписанный круглым дрожащим почерком. Это и был акт отречения от престола в окончательном виде. Не хватало только подписи, росчерка пера, но этот росчерк требовал крайнего усилия воли. Христиан II по слабости своего характера медлил; облокотившись на стол, он неподвижно сидел, освещенный пламенем свеч, которые были зажжены,

чтобы разогреть сургуч для королевской печати.

Сторожил короля и молча подбивал его пронырливый, верткий, как ночная бабочка или как черная ласточка, селящаяся среди развалин, приближенный камердинер Лебо, взволнованный наступлением решительной минуты, которой вся шайка ждала уже несколько месяцев, ждала с замиранием сердца, с приливами и отливами бодрости, с постоянной неуверенностью в исходе игры, которую вел король-тряпка. Несмотря на всю силу притяжения, какую имел для Христиана этот пергамент, несмотря на всю его власть над ним, Христиан хотя и держал перо в руке, но все еще не подписывал. Усевшись поглубже в кресло, утонув в нем, он глядел на пергамент и раздумывал. Не то чтобы он держался за корону, - он с самого начала к ней не стремился и никогда ее не любил, он еще ребенком находил, что она для него тяжела, а впоследствии познал на опыте, как крепки цепи, которыми она опутывает, как давит сопряженная с ней ответственность. Освободиться от нее, положить ее в углу залы, куда он больше не заходит, по возможности не думать о ней - все это далось ему легко, но, когда понадобилось принять окончательное решение, пойти на чрезвычайную меру, он испугался. Между тем другого способа раздобыть деньги, необходимые для той новой жизни, какую он с некоторых пор стал вести, у него не было: он навыдавал на три миллиона векселей, их срок истекал, а ростовщик, некто Пишри, торговавший картинами, отказался переписать их. Мог ли Христиан допустить, чтобы на его имущество в Сен-Мандэ был наложен арест? А королева, а наследник - что с ними будет? В любом случае объяснения не избежишь; Христиан предчувствовал, что все его подлости вызовут бурю негодования, так не лучше ли разом со всем этим покончить, выдержать гнев и упреки? А потом, а потом тут есть еще одна причина, самая важная.

Он дал слово графине, что отречется от престола. Заручившись этим обещанием, Шифра согласилась отпустить мужа одного в Лондон, согласилась принять от короля в подарок особняк на Мессинской, принять имя и титул, которые давали ей возможность всюду появляться с Христианом; что же касается всего остального, то это лишь после того, как король принесет ей показать подписанный им акт отречения. Она рассуждала как влюбленная девушка: может быть, его все-таки потянет в Иллирию и он покинет ее ради трона и власти. Не ее первую и не ее последнюю неумолимые государственные соображения заставят трепетать за свою судьбу и оплакивать свою участь. И каждый раз, когда король

прямо с Мессинской приезжал в Большой клуб, то, хотя в глазах его сквозь лихорадочный блеск проступала усталость, принц Аксельский, Ватле и прочая клубная золотая молодежь были далеки от мысли, что он провел вечер на диване, весь натянутый и дрожащий, как струна, что его отталкивали, а он проявлял настойчивость, что он валялся в ногах у несокрушимой воли, у гибкого сопротивления, противопоставлявшего его порывистым объятиям ледяной холод ручек парижанки, способной высвобождаться, способной защищаться и оставлявшей на его губах ожог от огневых слов:

- Отрекись от престола, - тогда я вся, вся твоя!..

Она доводила его до томления мучительными переходами от вспышек страсти к холодности. Когда он встречался с ней в театре, у него часто застывала душа от ее неподвижной улыбки, но потом она, пристально глядя на него, принималась нарочито медленно стягивать перчатки.

Можно было подумать, что она снимает с себя покров, что она протягивает ему голую руку для поцелуев как залог будущих ласк.

- Так ты говоришь, мой милый Лебо, что Пишри ничего не желает слушать?..

- Не желает, ваше величество… Если вы не заплатите, векселя поступят к судебному приставу.

Последние слова Лебо нарочно подчеркнул безнадежным вздохом, чтобы вызвать в воображении у короля все зловещие формальности, какие они влекли за собой: гербовую бумагу, опись имущества; чтобы тот нарисовал в своем воображении опозоренный королевский дом, себя самого, выброшенного с семьей на улицу. Но Христиан ничего этого не видел. Трепеща от желания, он мысленно летел в ночном мраке к ней, крался по лестнице, для пущей таинственности устланной мягким ковром, входил в ее комнату, где под кружевным абажуром горела лампа в виде ночника. “Все кончено… Я уже больше не король… Ты вся, вся моя…” И красавица сбрасывала перчатки.

- Ну хорошо, - сказал Христиан, как только быстролетное видение исчезло.

И подписал.

Дверь отворилась, вошла королева. Ее появление у Христиана в такой поздний час было столь необычно, столь неожиданно, так давно они жили обособленно, что ни король, только что скрепивший подписью свой позор, ни надзиравший за ним Лебо не обернулись на чуть слышный шорох. Оба подумали, что это возвращается из сада Боскович. Скользившая легко, как тень, королева надвигалась на заговорщиков, и только когда она была уже совсем близко от стола, Лебо заметил ее. Она приложила палец к губам в знак того, чтобы Лебо ничего не смел говорить, и продолжала идти, - ей хотелось застать короля врасплох, в ту самую минуту, когда он совершает преступление, ей хотелось пресечь увертки, извороты, бессмысленное запирательство, но лакей не послушался и, подобно капитану д’Асса, забил тревогу:

- Ваше величество! Королева!..

Далматинка в бешенстве размахнулась и тяжелой рукой наездницы дала лакею по морде, по этой морде злого животного. Затем выпрямилась в ожидании, - она не желала начинать разговор с королем, пока этот негодяй еще здесь.

- Что с вами, дорогая Фредерика? Чему я обязан…

Король стоял, наклонившись над столом, чтобы королева не увидела, что на нем лежит; он принял изящную позу, благодаря которой было особенно заметно, как хорошо сшита его фуляровая, с розовой отделкой, куртка, и улыбался одними губами, и губы у него слегка побелели, а голос был спокойный, тон - непринужденный, звучавший той грациозной учтивостью, которая в разговорах с женой никогда ему не изменяла и как бы наносила причудливые цветущие арабески на твердый лак стоявшего между ними экрана. Королева одним словом, одним жестом смела преграду, за которой он укрывался:

- Довольно фраз!.. Довольно кривляний!.. Я знаю, что ты там писал!.. Не смей лгать!..

Теперь она стояла совсем близко, возвышаясь своим гордым станом над его боязливо склоненной фигурой.

- Послушай, Христиан… (Эта необычная для королевы фамильярность придавала ее словам какую-то особенную серьезность и торжественность.) Послушай… С тех пор как я стала твоей женой, я много из-за тебя страдала… Но говорила я с тобой только один раз… самый первый раз, помнишь?.. Затем я убедилась, что ты меня не любишь, и оставила тебя в покое… Но я была осведомлена обо всем: о каждой твоей измене, о каждом твоем сумасшествии. А ведь ты действительно сумасшедший, такой же сумасшедший, как твой отец, который растратил себя на роман с Лолой, как твой дед Иоанн, который в предсмертном, хриплом, бесстыдном бреду покрытыми пеной губами все еще целовал кого-то, а от слов, какие он при этом произносил, бледнели сиделки… Да, да, в жилах у тебя течет такая же распаленная кровь, такая же адская лава клокочет у тебя внутри. В Дубровнике в те ночи, когда предстояли вылазки, за тобою шли прямо к Феодоре… Я это знала, знала, что ради тебя она бросила сцену и последовала за тобой… Я никогда ни в чем тебя не упрекала. Честь имени пребывала незапятнанной… Когда король не появлялся на крепостном валу, благодаря мне его место не пустовало… Но в Париже… в Париже…

До сих пор она говорила медленно, спокойно, в каждой ее фразе слышались жалость и материнская журьба, - такие чувства невольно вызывали у нее опущенные глаза короля и его надутая физиономия - физиономия нашалившего мальчишки, которого отчитывают. Но слово “Париж” вывело ее из себя. О, этот город, неверующий, глумливый, проклятый город, эти обагренные кровью улицы, где каждое мгновение могут вырасти баррикады и вспыхнуть мятеж! А несчастные низложенные короли ищут убежища в этом Содоме! Безумцы!.. Это он, это его воздух, зараженный пороками, отравленный дымом пальбы, губил один славный род за другим, это он лишил Христиана того, что даже самые безумные из его предков хранили свято, - он перестал чтить свой герб, перестал гордиться им. О, еще в день их приезда, в первый их вечер на чужбине Фредерика, видя, что он так весел, так возбужден, в то время как все остальные украдкой смахивают слезы, уже предугадывала все те унижения и весь тот срам, которые ей предстояло перенести из-за него!.. И вот сейчас она не переводя дыхания, в резких выражениях, вызвавших красные пятна на бледном лице распутного короля, исполосовавших его точно хлыстом, клеймила все его проступки, его быстрое скатыванье от наслаждения к пороку и от порока - в бездну преступления:

- Ты мне изменял у меня на глазах, в моем доме… Неверность сидела за моим столом, прикасалась к моему платью… А когда тебе наскучила эта завитая кукла, которая даже не считала нужным скрывать от меня свои слезы, ты стал посетителем притонов, ты беззастенчиво влачил свою праздность по уличной пыли, а домой ты приносил горечь похмелья, угрызения надломленной совести, всю грязь, которая к тебе прилипала… Помнишь, как ты спотыкался, как ты бормотал в то утро, когда ты вторично утратил престол?.. На что только ты не пускался, Царица Небесная!.. На что только ты не пускался!.. Ты торговал королевской печатью, продавал кресты, титулы…

Но тут она, словно боясь, что ночная тишина может услышать ее, понизила голос:

- Ты еще и воровал… воровал!.. Бриллианты, выковырянные камни - ведь это ты!.. А я сделала вид, что подозреваю старика Греба, и прогнала его… Когда воровство раскрылось, то, для того чтобы в доме не догадались, кто же настоящий вор, пришлось найти мнимого… Ведь моей единственной и постоянной заботой было поддержать короля на высоте его призвания и ради этого все претерпеть, претерпеть и позор, который в конце концов, конечно, ляжет на мою голову… Я придумала себе боевой клич: “Все ради короны!..” - и клич этот воодушевлял меня, придавал мне бодрости в часы испытаний… И вот теперь ты стараешься продать корону, стоившую мне стольких страданий и слез, ты стараешься выменять ее на золото для безжизненной еврейской маски, которую ты имел наглость посадить сегодня прямо против меня…

Христиан, подавленный, слушал молча, втянув голову в плечи. Оскорбление, нанесенное любимой женщине, внезапно выпрямило его. Глядя на королеву в упор, с крестообразными полосами, точно от удара хлыста, на лице, он заговорил, как всегда, вежливо, но твердо:

- Позвольте вам заметить, вы ошибаетесь… Женщина, которую вы имеете в виду, не оказала ни малейшего влияния на принятое мною решение… Я это делаю ради вас, ради самого себя, ради нашего общего спокойствия. Неужели вы не устали от необходимости все время изворачиваться, все время в чем-то себя урезывать?.. Вы думаете, я не подозреваю, что здесь происходит? Вы думаете, я не страдаю оттого, что вас преследует свора поставщиков и кредиторов?.. Как-то раз я приехал

домой в тот момент, когда один из них кричал на дворе, - я все слышал… Если бы не Розен, я раздавил бы его колесами моего фаэтона. А вы стояли у себя в комнате и выглядывали из-за занавески - скоро ли он уйдет. Прекрасное занятие для королевы!.. Мы всем задолжали. Мы стали притчей во языцех. Половине слуг мы не платили жалованья… Учителю мы должны за десять месяцев… Госпожа Сильвис вознаграждает себя тем, что величественно донашивает ваши старые платья. Бывают дни, когда господин советник, хранитель королевской печати, занимает у моего камердинера на нюхательный табак… Как видите, я в курсе дел… А вы еще не знаете, сколько должен я. Я в долгу как в шелку… Скоро все полетит. Мы достукались. Помяните мое слово: вашу диадему вместе со старыми тарелками и ножами продадут с рук…

Постепенно увлекаемый своим насмешливым складом ума и привычкой к балагурству, привитой ему его окружением, Христиан оставил тон, избранный вначале, и писклявым нагловатым голосом с носовым произношением отпускал шуточку за шуточкой, многие из которых были подсказаны ему Шифрой, не упускавшей случая стрельнуть дробью издевок по последним остаткам совести своего возлюбленного.

- Вы, моя дорогая, обвиняете меня во фразерстве, но ведь вы сами любите одурманивать себя красивыми словами. Ну что такое в самом деле эта иллирийская корона, о которой вы мне беспрестанно твердите? Она представляет собой ценность только на голове у короля, а вообще это обременительная, ненужная вещь, которую прячут во время бегства в картонку из-под шляпки или же хранят под стеклянным колпаком, - так хранит свой лавровый венок актер, так хранит свой букет флердоранжа консьержка… Поймите же наконец, Фредерика: король - король только на троне, с державой в руке. После того как его низвергли, он - меньше, чем ничего, он - ветошь… Мы зря придерживаемся этикета, титулуемся, оповещаем о том, что мы - “величества”, где только можем: на стенках карет, на запонках, зря сковываем себя давно уже немодным церемониалом. Все это зиждется на нашем лицемерии, и на учтивости, и на чувстве сострадания тех, кто нас окружает, - наших друзей и слуг. Здесь для вас, для Розена, для нескольких верноподданных я - король Христиан II. Стоит мне выйти из дому, и я - обыкновенный человек, господин Христиан Второй… Это даже не имя, это фамилия… “Христиан второй” звучит как фамилия маленького актера из Гэте…

Он вынужден был передохнуть - он не привык так долго говорить, да еще стоя… Тишину сада прорезали пронзительные крики козодоя и соловьиные раскаты. Крупная ночная бабочка, опалившая на огне крылья, билась обо что придется. В комнате слух улавливал лишь эту летающую предсмертную тоску да приглушенные рыдания королевы, - королева умела противостоять гневу и насилию, но насмешка сбивала с толку ее открытый нрав, она обезоруживала ее: так храброго воина, приготовившегося отразить лобовой удар, губит множество легких ран. Видя слабость Фредерики, Христиан решил, что она сломлена. А чтобы прикончить ее, он добавил еще один штрих к написанной им издевательской картине, изображающей самодержавие в изгнании. Какой жалкий вид имеют все эти несчастные государи in partibus [24 - На чужбине (лат.).], эти фигуранты монархии, надевающие изношенные костюмы премьеров, продолжающие декламировать при пустом зале и не делающие никаких сборов! Не лучше ли умолкнуть, начать жить, как все, окутаться мраком безвестности?.. Благо тем, кто не потерял состояния. Не всякий может позволить себе роскошь упорно держаться на высоте своего величия… А как живут другие - ну хотя бы их злополучные палермские родственники, скученные в домишке, пропахшем этой проклятой итальянской кухней! К ним как ни войдешь - вечно воняет луком… Люди достойные, что говорить, да существование-то какое влачат! А ведь есть еще несчастнее их… На днях Бурбон, самый настоящий Бурбон, бежал за омнибусом. “Полно, сударь!” Он все бежит. “Говорят вам: полно! Вот бестолковый старик!” Бурбон рассердился, - его, видите ли, должны величать “ваше высочество”. Как будто титулы пишутся на галстуках!

- Уверяю вас, моя дорогая: все это опереточные короли. И вот, чтобы выйти из смешного положения, чтобы обеспечить всем нам безбедное, достойное существование, я и решил подписать отречение…

К этому он прибавил, неожиданно выказав изворотливость славянина - воспитанника иезуитов:

- Кроме того, имейте в виду, что моя подпись ровно ничего не значит… Нам возвращают наше состояние, только и всего, и я ни в малой мере не считаю себя связанным этой подписью… Кто знает? Быть может, миллионы, которые мы получим, помогут нам отвоевать престол.

Королева вскинула голову, посмотрела на него так, что он вынужден был

отвести глаза, и, передернув плечами, заговорила:

- Не старайся казаться подлее, чем ты есть… Ты прекрасно знаешь, что раз уж подписано… Да нет! У тебя просто не хватает духу, ты сознаешь, что оставляешь пост короля в самый опасный момент, когда новое общество, отвергнувшее Бога и земных владык, преследует своей ненавистью носителей Божественного права и над их головой колеблется небесный свод, а под ногами дрожит земля. Нож, бомба, пуля - все средства хороши… Измены, убийства - на каждом шагу… Во время какого-нибудь торжественного шествия или праздничной процессии все, и лучшие и худшие из нас, вздрагивают, как только кто-нибудь отделяется от толпы… За любым прошением прячется кинжал… Кто из нас, выходя из дворца, может быть уверен, что возвратится цел и невредим?.. Вот какую минуту ты избрал, чтобы покинуть поле сражения…

- Ах, если б нужно было только сражаться!.. - живо отозвался Христиан II. - Но думать о том, смешон ты или нет, бороться с нищетой, со всякой мерзостью и в то же время чувствовать, что с каждым днем ты все глубже в нее погружаешься…

В глазах у Фредерики блеснул луч надежды.

- Так это правда?.. Ты стал бы сражаться?.. Ну слушай же…

Прерывисто дыша, Фредерика вкратце рассказала ему о том, что Элизе и она вот уже три месяца готовят поход, шлют письмо за письмом, депеши, воззвания, о. Алфей ходит по деревням, странствует в горах, так как в этот раз делается упор не на дворянство, а на простой народ - на погонщиков мулов, на дубровникских грузчиков, на огородников из Брено, на огородников с острова Брач, приезжающих на базар в фелюгах, на примитивных, патриархальных людей, готовых восстать и умереть за короля, но с условием, что король их поведет… Уже формируются отряды, уже раздается воинственный клич, все ждут только сигнала… Королева обрушила ливень слов на слабовольного Христиана, чтобы тем сильнее на него подействовать, и вдруг с прискорбием и ужасом увидела, что он не столько безнадежно, сколько безучастно качает головой. Быть может, в глубине души он еще и досадовал на то, что все было подготовлено без него. Как бы то ни было, он не верил, что этот план осуществим. Продвигаться сушей нельзя, значит, нужно сначала занять острова и с

весьма малыми шансами на успех опустошить цветущий край, - это авантюра во вкусе герцога Пальма, бессмысленное кровопролитие.

- Нет, дорогой друг! Понимаете, в чем дело: вас ввели в заблуждение два фанатика - капеллан и эта горячая голова - гасконец… Я тоже располагаю сведениями, и притом более достоверными, чем ваши… Истина заключается в том, что и в Далмации, как и везде и всюду, монархия отжила свой век… С них довольно монархии!.. Они больше не хотят…

- Ее не хочет один трус, которого я вижу насквозь!.. - воскликнула королева и бросилась вон из комнаты, оставив Христиана в полном недоумении, почему сцена так скоро кончилась. Наконец он сунул акт в карман и тоже направился к выходу, но в это время вернулась Фредерика, и не одна, а с маленьким принцем.

Цару разбудили внезапно и принялись поспешно одевать, и он, перейдя из рук горничной в руки матери, причем и та и другая хранили молчание, таращил глаза из-под русых локонов, но ни о чем не спрашивал - в его еще сонной головке теснились смутные воспоминания о подобных пробуждениях перед стремительным бегством, когда над ним склонялись бледные лица и раздавались прерывистые восклицания. Он еще тогда привык подчиняться, позволять делать с собой все, что угодно, только бы мать торжественно и решительно назвала его по имени, только бы ощутить ласковый обхват ее рук, тепло ее плеча, готового успокоить его детскую тревогу. Сейчас она сказала ему: “Пойдем!” - и он доверчиво пошел, дивясь лишь тому, какая нынче тихая ночь, непохожая на те грохочущие, окрашенные в цвет крови ночи с бушующим пламенем пожаров, с громом пушек, с трескотней ружей.

Когда Цара вошел к отцу, перед ним стоял не тот беспечный, добрый папа, который тормошил его в постели или с ободряющей улыбкой проходил через классную, - выражение лица у короля было сейчас скучающее и сердитое, и оно стало явно жестким, как только он увидел Фредерику и Цару.

Фредерика молча подвела сына к Христиану II и, быстрым движением

опустившись на колени, поставила ребенка перед собой, взяла его ручки и соединила их.

- Король не хочет меня слушать, - может быть, он послушает вас, Цара… Повторяйте же за мной: “Отец!..”

Робкий голосок произнес:

- Отец!..

- Отец, король! Заклинаю вас, не обездольте вашего сына, не отнимайте у него корону, которую ему предстоит надеть… Вспомните, что она принадлежит не только вам, что она пришла к нам из неведомой дали, что она упала к нам с неба, что сам Господь даровал ее шестьсот лет тому назад иллирийскому царствующему дому… Отец! Божьим произволением я буду царствовать… Корона - это мое наследство, мое достояние, вы не имеете права отнимать его у меня.

Маленький принц усердно шептал слова, подсказываемые матерью, и так же, как и она, смотрел на короля молящим взглядом, а Христиан отворачивался, пожимал плечами, внутри у него, видимо, все кипело, но он не терял самообладания и только время от времени бурчал себе под нос:

- Болезненная экзальтация… Неприличная сцена… К чему забивать голову ребенку?..

С последними словами он проскользнул мимо них и пошел к двери. Королева вскочила, окинула взглядом стол, развернутого пергамента на нем уже не обнаружила, и, как только она поняла, что позорный акт отречения подписан и что он у короля, из груди у нее вырвался не крик, а настоящее рычание:

- Христиан!..

Тот продолжал идти.

Она сделала шаг вперед, подобрала платье, как бы пускаясь в погоню, но вдруг переменила решение:

- Хорошо! Пусть будет по-твоему…

Христиан обернулся и увидел, что она, выпрямившись, стоит у открытого окна и, уже занеся ногу на узкий каменный выступ под окном, одной рукой уносит сына навстречу гибели, а другой грозит убегающему трусу. Весь ночной свет изливался на это живое изваяние.

- Слушай, опереточный король! С тобой говорит трагическая королева!.. - торжественно и грозно молвила она. - Если ты сию минуту не сожжешь того, что ты подписал, и не поцелуешь крест с клятвой, что это больше никогда не повторится, то твой род кончится… разобьется насмерть… жена… ребенок… вон на том крыльце!..

В каждом ее слове, во всем ее красивом теле, наклонившемся над пустотой, была такая устремленность, что король в испуге бросился к окну:

- Фредерика!..

Ребенок был уже за окном, и сейчас, услыхав крик отца, ощутив трепет державшей его руки, он решил, что все кончено, что это смерть. Но он не сказал ни единого слова, не проронил ни одной слезы, - ведь он уходил в небытие вместе с матерью. Он только крепко ухватился ручонками за шею королевы и, запрокинув голову, отчего, как у жертвы перед закланием, волосы разметались у него по плечам, закрыл свои прекрасные глаза, чтобы не видеть ужаса падения.

Христиан не мог долее противиться. Какова безропотность, каково бесстрашие короля-ребенка, уже усвоившего из будущего круга обязанностей вот эту: умирать нужно доблестно!.. Сердце Христиана готово было выпрыгнуть из груди. Он бросил на стол скомканный акт, который перед этим долго мял в руке, и, рыдая, упал в кресло. Фредерика недоверчивым взглядом пробежала бумагу, от первой до последней строчки, и поднесла к огню; жгла она бумагу до тех пор, пока огонь не коснулся пальцев, затем, стряхнув на стол черный пепел, пошла укладывать сына, а сын уже засыпал в героической позе самоубийцы.

XI

Накануне отъезда

В комнате при лавчонке кончается дружеская пирушка. Когда у старика

Леемансa никого нет, он замаривает червячка на краешке кухонного стола, напротив Дарне, без скатерти, без салфетки. Когда же у него гости, как нынче вечером, заботливая овернка, ворча, снимает белые чехлы, аккуратно складывает дорожки, ставит стол под портретом “хозяина”, и в чистенькой, уютной комнате, напоминающей зальцу в доме священника, несколько часов царит запах жаркого с чесноком, и такие же острые говорятся здесь речи на жаргоне любителей в мутной воде ловить рыбку.

С тех пор как был задуман “ловкий ход”, застольные беседы в лавочке участились. Когда все пополам - и расходы и прибыль, не мешает почаще встречаться, уговариваться насчет каждой мелочи, а для этого нет более подходящего места, чем дом в глубине улицы Эгинара, затерявшейся в далеком прошлом старого Парижа. Здесь по крайней мере можно говорить громко, обсуждать, комбинировать… И это особенно необходимо теперь, когда цель близка. Через несколько дней - какое там дней! - через несколько часов отречение от престола будет подписано, и афера, поглотившая уйму денег, начнет приносить немалый доход. От уверенности в успехе разымчивым весельем блестят глаза, звучат голоса, от уверенности в успехе и скатерть кажется белее, и вино вкуснее. Это настоящий свадебный пир под председательством папаши Леемансa и его неразлучного друга Пишри, деревянная, на венгерский манер напомаженная голова которого выступает из волосяного воротничка; чем-то Пишри напоминает бывшего военного, которому палец в рот не клади, его можно принять за разжалованного офицера. Его род занятий - барышничество картинами, новое хитрое ремесло, приспособившееся к современному помешательству на живописи.

Промотавшийся, обчищенный, ощипанный папенькин сынок идет к торговцу картинами Пишри, роскошно обставившему свое заведение на улице Лафита:

- Нет ли у вас Коро, хорошего Коро? Я обожаю этого художника.

- Ах, Коро!.. - закрывая свои, как у снулой рыбы, глаза, с притворным восхищением говорит Пишри, но тут же переходит на деловой тон: - Есть у меня как раз для вас…

С этими словами он поворачивает больших размеров подставку и показывает превосходного Коро: утро, струистое от серебряного тумана и

от танца нимф под ивами. Франт вставляет монокль, делает вид, что в восторге:

- Шикарно!.. Очень шикарно!.. Сколько?

- Пятьдесят тысяч франков, - не моргнув глазом, отвечает Пишри.

Франт тоже не думает моргать.

- На три месяца?

- На три месяца… С гарантией.

Хлыщ выдает вексель, уносит картину домой или же к любовнице и целый день доставляет себе удовольствие говорить в клубе, на бульваре, что он только что приобрел “изумительного Коро”. На другой день он переправляет своего Коро в аукционный зал, и там Пишри перекупает его через посредство папаши Лееманса за десять, а то и за двенадцать тысяч франков, то есть за его настоящую цену. Проценты чудовищные, но это вид ростовщичества дозволенный и безопасный. Пишри не обязан знать, берет у него покупатель картину из любви к искусству или почему-либо еще. Он продает Коро очень дорого, он “сдирает” с покупателя “шкуру”, как принято выражаться на языке этой благородной коммерции. И это его право, так как цены на произведения искусства устанавливаются произвольно. К тому же он поставляет товар доброкачественный, подлинники, удостоверенные самим папашей Леемансом, который вдобавок учит его специальным выражениям художников, странно звучащим в устах этого лжевояки, находящегося в наилучших отношениях с золотой молодежью и со всеми проститутками квартала Оперы, весьма полезными для его торговли.

По другую сторону патриарха Леемансa, сдвинув стулья и стаканы, милуются Шифра и ее супруг. Они так редко видятся с тех пор, как началась афера! Для всех Д. Том Льюис живет в Лондоне, а на самом деле он уединился в замке Курбвуа, целыми днями ловит удочкой рыбу за неимением другой разновидности дурачков или же ради забавы проделывает с Шприхтами невероятные вещи. Шифра, более томная, чем испанская королева, церемонная и разряженная, вечно в ожидании короля, ведет жизнь дамы высшего полусвета, а это жизнь утомительная и вместе с тем до того неинтересная, что подобного сорта дамы чаще всего

объединяются и проводят время вдвоем, чтобы не так скучно было на долгих прогулках без спутников или же в часы опостылевшего досуга. Но у графини Сплит подруги нет. С девицами легкого поведения, с опустившимися женщинами сомнительной репутации она не знается, честные женщины нигде ее не видят, а роя бездельников вокруг нее, обыкновенно наполняющих салоны, посещаемые только мужчинами, не потерпел бы Христиан. Вот Шифра и сидит одна в будуаре с расписанным потолком, с зеркалами, украшенными гирляндами роз и гирляндами амуров, карабкающихся вверх по рамам, и в зеркалах этих отражается лишь ее лицо с безразличным, скучающим выражением, говорящим о том, до чего надоели ей приторные чувства, расточаемые королем у ее ног, - так доводят до одурения ароматы, курящиеся в золотых чашах. С какой радостью променяла бы она все это унылое великолепие на подвальчик на Королевской, где ее паяц отплясывал перед ней джигу во славу “ловкого хода”! А между тем она может только писать ему, уведомлять о том, идет ли дело на лад.

Вот почему она так счастлива сегодня вечером, вот почему она так ластится к мужу, подзуживает, подзадоривает его:

- Да ну же, посмеши меня!

И Том старается вовсю, но его оживление наигранно, после каждой вспышки он возвращается к тягостной думе, - он не высказывает ее, но я бьюсь об заклад, что угадал: Том Льюис ревнив. Он знает, что между Христианом и Шифрой пока еще ничего нет, что Шифра хитра и без гарантий не отдастся, но роковая минута близка: как только бумага будет подписана, придется выполнить обещание. И, смею вас уверить, наш друг Том волнуется, тревожится, а ведь, казалось бы, он свободен от каких бы то ни было предрассудков и смотрит на вещи трезво. Но сегодня жена особенно хороша собой, ее туалет и его отделка особенно пикантны, титул графини словно облагораживает ее черты, зажигает огонь в ее глазах, убирает ее волосы под корону с жемчужными зубцами, и по телу Тома пробегает мелкая боязливая лихорадочная дрожь. Как видно, Д. Том Льюис не на высоте своего призвания, эта роль ему не по плечу. Неизвестно из-за чего он готов забрать жену и погубить все дело. Но его удерживает стыд, страх показаться смешным, да и потом, сколько всажено в это предприятие денег! Графиня никогда бы не подумала, что несчастного Тома станут одолевать сомнения, что в душе у него начнется разлад. Том делает вид,

что ему очень весело; в сердце у него кинжал, а он жестикулирует, забавляет сидящих за столом рассказами о некоторых славных штуках агентства и в конце концов так расшевеливает старика Лееманса и даже бесстрастного Пишри, что и они, в свою очередь, выкладывают самые хитроумные из своих плутней, самые удачные свои мистификации, которые могут оценить только знатоки.

А что ж тут такого? Ведь они в своей компании, среди сообщников, среди товарищей, - здесь можно быть нараспашку. И они раскрывают все карты, показывают аукционный зал с изнанки, показывают его капканы и западни, рассказывают, как оптовики, по виду - конкуренты, объединяются, какие это ловкачи, какие это надувалы, что это за таинственная масонская ложа, какой глухой забор из засаленных воротничков и потертых сюртуков сразу вырастает между редкой вещью и прихотью покупателя и вынуждает его делать глупости, платить безумные деньги. Происходит настоящее состязание в циничных историях, - кто из них самый большой жох, кто из них самый отъявленный жулик?

- Вы никогда не слыхали, что я выкинул с Мора и с египетским фонарем? - маленькими глоточками, со смаком отхлебывая кофе, спрашивает Лееманс и в сотый раз, точно старый солдат - о самом удачном для него сражении, принимается рассказывать о том, как некий левантинец в стесненных обстоятельствах уступил ему фонарь за две тысячи франков и как он, Лееманс, в тот же день перепродал фонарь уже за сорок тысяч председателю совета министров, получив двойные комиссионные: пятьсот франков с левантинца и пять тысяч с герцога. Прелесть рассказа составляют хитрости, уловки, то, как Леемансу удалось заморочить голову богатому и тщеславному клиенту: “Да, конечно, вещь чудесная, но дорогая, баснословно дорогая… Нет, ваша светлость, это безумие, пусть лучше кто-нибудь другой… Я убежден, что Сисмондо… Ах, черт возьми, какая дивная работа, какая тонкая резьба - можно различить каждое звено цепочки!..”

Воодушевленный хохотом, от которого, кажется, дрожит стол, старик перелистывает на скатерти записную книжку с обтрепанными краями и черпает вдохновение из цифр, дат, адресов. Известные любители рассортированы здесь, как невесты с богатым приданым в большой книге г-на де Фуа, со всеми их особенностями и пристрастиями, отдельно брюнеты, отдельно блондины, в этой графе - те, на кого нужно наседать, в

этой - те, кто ценит вещи не по их действительной стоимости, а в зависимости от того, как дорого за них просят, в этой - любители-скептики, в этой - любители наивные, которым, всучивая брак, можно сказать: “Но только смотрите, никому не уступайте!..” Для Леемانса его книжечка - целое состояние.

Шифре хочется, чтобы ее муж тоже блеснул.

- А ну-ка, Том, - говорит она, - расскажи, что ты выкинул по приезде в Париж. Помнишь свое первое дельце на улице Суфло?

Муженек не заставляет себя упрашивать: для прочищения глотки он прикладывается к рюмочке и начинает повесть о том, как он лет десять тому назад, прожившись и прогорев, с одной-единственной монетой в сто су в кармане, вернулся из Лондона и от своего старого товарища, которого случайно встретил в английском кабачке недалеко от вокзала, узнал, что агентства заняты сейчас крупной аферой - сватовством мадемуазель Божар, дочери подрядчика: у нее двенадцать миллионов приданого, и она решила во что бы то ни стало выйти за важного барина, за настоящего барина. Обещают-де отличные комиссионные, ищеек тьма. Д. Тома Льюиса это последнее обстоятельство не обескуражило, - он идет в кабинет для чтения, просматривает все французские гербовники, “Готский альманах”, “Ботен” и в конце концов находит семейство, принадлежащее к древнему, весьма древнему роду, который сплелся с другими наидревнейшими родами, и проживающее на улице Суфло. Несоответствие между титулом и местожительством объясняется, видимо, оскудением или же каким-либо темным пятном. “Маркиз Икс на каком этаже?” Том жертвует последней серебряной монетой ради того, чтобы получить у швейцара кое-какие сведения: да, действительно, высшая знать… Вдовец… У него есть сын, который оканчивает Сен-сирское военное училище, и восемнадцатилетняя дочь, прекрасно воспитанная… “Платит за помещение, газ, воду и уборку комнат две тысячи франков”, - прибавляет швейцар, полагая, что все это говорит в пользу жильца. “Такой-то мне и нужен”, - думает Д. Том Льюис и, слегка смущенный парадной лестницей, статуей при входе, креслами на каждой площадке, всей этой современной пышностью, которой никак не соответствуют его поношенное платье, дырявые башмаки и то более чем щекотливое дело, ради которого он сюда явился, поднимается по ступеням.

- Дойдя до середины лестницы, я чуть было не повернул обратно, -

повествует делец. - Ну, а потом набрался храбрости и решил, была не была, попытать счастья. Я сказал себе: “У тебя есть ум, есть апломб, ты должен добывать себе пропитание… Самое главное - находчивость!..” Проникшись этим, я взбежал на тот этаж, который мне указали. Меня провели в большую залу, - мысленно я мигом составил опись находившегося в ней имущества: две-три старинные вещи - остатки прежней роскоши, портрет кисти Ларжильера, и тут же следы вопиющей бедности: продавленный диван, кресла, из которых вылез весь волос, от нетопленого мраморного камина в комнате только еще холодней. Входит глава семьи, осанистый, очень шикарный старикан, как две капли воды похожий на Самсона в роли маркиза из “Мадемуазель де ла Сельер”. “Ваше сиятельство! У вас есть сын?” При первых же моих словах Самсон в негодовании встает. Я называю цифру: двенадцать миллионов… Он опять садится, и мы с ним беседуем… Он без околичностей признается, что его состояние не равноценно его имени, что у него всего-навсего двадцать тысяч франков ренты и что он не прочь позолотить свой герб. Сын должен получить сто тысяч франков на руки. “О ваше сиятельство! Ради вашего имени…” Затем мы устанавливаем размер причитающихся мне комиссионных, и тут я заторопился - меня, дескать, ждут в конторе. А какая там контора! Я не знал, где бы переночевать… Но у дверей старик останавливает меня и с самым невинным видом заявляет: “Послушайте! Вы произвели на меня впечатление милейшего человека… Я хочу предложить вам одну вещь: выдайте замуж мою дочь… Она бесприданница. Уж если на то пошло, двадцать тысяч франков ренты - это неточная цифра. Больше половины надо откинуть… Зато я могу моему зятю выхлопотать в Романье титул графа… Кроме того, если он в армии, то благодаря моим родственным связям с военным министром он легко продвинется по службе”. Я расспросил его поподробнее. “Можете, говорю, на меня рассчитывать, ваше сиятельство…” Только за порог - чья-то рука хвать меня за плечо… Оборачиваюсь - Самсон как-то чудно смотрит на меня и хихикает. “А еще говорит, я!..” - “Что вы хотите этим сказать, ваше сиятельство?” - “Ну да, ну да, я еще не совсем развалина, и если бы представился случай…” В конце концов он сознался, что запутался в долгах, а платить нечем. “Ей-богу, мистер Том, если вы откопаете какую-нибудь славную купчиху, старую деву или вдову, и узнаете, что у нее солидный капитал, то посылайте ее ко мне вместе с ее мошной… Я сделаю ее маркизой”. Мое образование было закончено. Выйдя от старика, я понял, как надо себя вести в парижском обществе. Агентство Льюиса было учреждено уже тогда, хотя пока еще только у меня в голове…

Эту чудную историю Том Льюис рассказывал в лицах. Он вставал, садился, изображал старого барина, важность которого быстро сменилась богемным цинизмом, показывал, как тот расстилал носовой платок на колене, а на платок клал ногу, как постепенно, в три приема, раскрывал перед Томом всю безотрадность истинного положения вещей. Ну прямо сцена из “Племянника Рамо”, но только это был племянник Рамо девятнадцатого века, без пудры, без грации, без скрипки, и что-то в нем было грубое, хищное, сквозь шутовской тон прощелыги из пригорода прорывалось злобное рычание английского бульдога. Слушатели смеялись, от души веселились, делали из рассказа Тома философические и цинические выводы.

- Понимаете, мои милые, - говорил старик Лееманс, - если бы продавцы редкостей объединились, они бы завладели целым светом… В наше время торгуют всем. Нужно добиться, чтобы все шло к нам и, проходя через наши руки, оставляло нам хоть кусочек кожицы… Вы не можете себе представить, сколько дел было обделано за сорок лет в этой трущобе, именуемой улицей Эгинара, чего-чего я только не продавал, не менял, не переплавлял, не подновлял!.. Мне недоставало лишь подержанной короны… Теперь и корона есть, теперь она у меня в руках…

Он встал и поднял бокал, глаза его светились хищным огнем.

- За торговлю редкими вещами, дети мои!

В глубине комнаты Дарне, навострив уши под черным кантальским чепцом, за всеми наблюдала, впивала в себя каждое слово, - она рассчитывала после смерти “хозяина” открыть собственное заведение и сейчас брала уроки коммерции.

Внезапно раздался яростный звон колокольчика, такой хриплый, точно колокольчик был болен застарелым бронхитом. Все вздрогнули. Кто бы это мог быть в такой поздний час?

- Это Лебо… - сказал папаша. - Кто же еще…

Собравшиеся давно не видели камердинера и оттого особенно радостно приветствовали его, но он вошел бледный, осунувшийся, стиснув зубы, в угнетенном состоянии, с убитым видом.

- Садись, старый хитрюга!.. - сказал Лееманс, освобождая место между собой и дочерью.

- Дьявольщина!.. - оглядев раскрасневшиеся лица, стол и остатки пиршества, буркнул тот. - Да тут, я вижу, идет пир горой!..

Замечание сделано мрачным тоном. Все несколько встревоженно переглядываются… Ну да, черт возьми, здесь идет пир горой, всем весело. А с чего горевать-то?

Лебо ошеломлен:

- Как?.. Вы ничего не знаете?.. Когда же вы видели короля, графиня?..

- Утром видела… вчера видела… Я каждый день с ним вижусь.

- И он ничего вам не сказал про ужасное объяснение?..

И Лебо в двух словах рассказывает о том, как был сожжен акт отречения от престола, а вместе с актом, надо полагать, сгорела, мол, и вся их афера.

- Ах дрянь!.. Он меня оплел!.. - кричит Шифра.

Том, крайне обеспокоенный, смотрит на жену проникающим в душу взглядом. Неужели она проявила безрассудную слабость?.. Но Шифра не расположена объясняться по этому поводу, - она не помнит себя от гнева, от злобы на Христиана: ведь он целую неделю изощрялся во лжи, чтобы скрыть от нее истинную причину задержки с подписанием акта… Ах трус, трус и враль!.. Но почему же Лебо не предупредил их?..

- Почему не предупредил?.. - улыбаясь своей отвратительной улыбкой, переспрашивает камердинер. - Никак не мог… Десять дней провел в пути… Пятьсот миль без отдыха, без остановки… И письма не напишешь: за мной учинил неослабный надзор этот страшный монах, францисканец, - рожа у него зверская, а ножом орудует, как заправский бандит… Он следил за каждым моим движением; под тем предлогом, что он плохо говорит по-французски и что без переводчика его не поймут, он не отпускал меня ни на шаг… Дело в том, что в Сен-Мандэ мне не доверяют, - меня нарочно услали, чтобы в мое отсутствие затеять грандиозное дело…

В глазах у всех безмолвный вопрос:

- Какое дело?..

- Насколько я понимаю, они задумали поход в Далмацию… Это чертов гасконец задурил им головы… Я давно вам долбил, что прежде всего надо избавиться от гасконца…

Как в Сен-Мандэ ни таятся от камердинера, а он все-таки учуял приготовления: каждый час отправляются письма, происходят тайные совещания. Однажды, открыв альбом акварелей, который маленькая сумасбродка Розен бросила на самом видном месте, он обнаружил выполненные ею эскизы форменной одежды для “иллирийских добровольцев”, для “драгунов истинной веры”, для “синих рубашек” и для “кирасиров правого дела”. В другой раз он подслушал важный разговор между княгиней и г-жой Сильвис относительно формы и размера кокард. Эскизы и обрывки слов навели его на мысль о великом походе. Какое-то отношение к походу имеет, вероятно, и его вынужденное путешествие. Похожий на горбуна черный человечек, к которому его посылали в горы Наварры, по-видимому, выдающийся полководец, и, должно быть, этому полководцу поручено командовать армией под началом короля.

- Как? Король тоже отправляется?.. - вскричал папаша Лееманс и бросил уничтожающий взгляд на дочь.

Вслед за этим восклицанием хлынул шумный поток слов:

- А наши деньги?

- А векселя?

- Это подлость!

- Это грабеж!

А так как в наши дни политика - ко всякой бочке гвоздь, то ярый сторонник Империи Пишри, сразу ставший жестким, как его волосяной воротничок, выражает неодобрение Республике:

- Угрожать спокойствию суверенного государства!.. При Империи они

бы этого не посмели!..

- Знай об этом президент, он бы, конечно, не потерпел… - с важным видом замечает Д. Том Льюис. - Надо его уведомить, надо действовать…

- Да, я уже об этом думал, - снова заговорил Лебо. - К сожалению, я ничего точного, ничего определенного сообщить не могу. Меня не станут слушать. Да и потом, в Сен-Мандэ сейчас никому не доверяют. Приняты все меры, чтобы отвести глаза… Нынче, например, день рождения королевы… В особняке Розена по этому случаю великое торжество… Попробуйте втолкуйте властям, что танцующие - заговорщики и что они собираются воевать!.. А между тем это не обычный бал…

Только тут все обращают внимание, что камердинер одет соответственно, что он в изящных туфлях, в белом галстуке. Ему поручено устройство буфетов, он должен немедленно вернуться на остров Св. Людовика. Графиня, подумав, обращается к лакею:

- Послушайте, Лебо: ведь вы будете знать, едет король или не едет, не так ли?.. Вас поставят в известность хотя бы для того, чтобы вы успели уложить его вещи… Так вот, предупредите меня за час, - клянусь вам, что поход не состоится.

Она произносит эти слова спокойно, с медлительной, но твердой решимостью. Д. Том Льюис погрузился в размышления, каким образом Шифра удержит короля, компаньоны озадаченно подсчитывают, во что обойдется им неуспех аферы, а в это время Лебо, ступая на носки, возвращается на бал через лабиринт улочек, выступающих из темноты старыми крышами, решетками на окнах, подъездами, на которых красуются гербы, через весь этот аристократический квартал прошлого века, ныне застроенный фабриками и мастерскими, в течение целого дня сотрясаемый грохотом ломовых подвод, кишащий бедным людом, а ночью вновь принимающий своеобразный облик мертвого города.

Праздник, летний ночной праздник, был виден и слышен издалека, он изливал на оба берега Сены потоки звуков, а вместе с потоками звуков та оконечность острова, которая кажется приподнятой над рябью реки круглой кормой стоящего на якоре гигантского корабля, изливала свет, похожий на багровую мглу зарева. На более близком расстоянии можно

было различить пламеневшие сквозь штофные занавески высокие окна, разноцветные огни жирандолей, прикрепленных к стволам вековых густолиственных деревьев сада, а на Анжуйской набережной, обыкновенно в эту пору уже погруженной в сон, фонари карет сверлили ночной мрак своими неподвижными зрачками. Со времен свадьбы Герберта особняк Розена не видел подобного праздника, причем этот праздник был даже еще разбросаннее, еще многолюднее, - все свои окна и двери дом распахнул навстречу красоте звездной ночи.

Нижний этаж представлял собой длинную анфиладу зал с церковной вышины стенами, украшенными живописью и старинной позолотой, - зал, где голландские и венецианские люстры и мавританские фонари освещали причудливое их убранство: обои, на которых дрожали золотисто-зеленые и золотисто-красные отсветы, тяжелые раки чистого серебра, тончайшей работы изделия из слоновой кости в драгоценной оправе, старинные потемневшие от времени зеркала, ковчежцы, знамена, - одним словом, сокровища Черногории и Герцеговины, которые парижский вкус сумел расставить и объединить так, что у посетителей не создавалось впечатления чего-то кричащего, чересчур экзотического. Оркестр, помещавшийся на возвышении из бывшей молельни, напоминавшей молельню в Шенонсо, был скрыт за орифламмами, осенявшими кресла королевы и короля. И, как противовес былому, современные вальсы, все в бликах редкостных дорогих вещей, которые привели бы в восторг папашу Лееманса, вальсы подмывающие, вихревые, с круженьем длинных нарядных шлейфов, с блеском глаз, глядевших неподвижно, с колыхавшимися облачками взбитых волос, звучали как вызов, бросаемый старине блистательной юностью, роем светлых, хрупких, воздушных видений и черных призраков с покрытыми влажною бледностью лицами. Время от времени из этого движущегося круга сплетенных фигур, из этого скопления шелковых тканей, привносивших в бальную музыку свое кокетливое и таинственное шуршанье, вырывалась какая-то пара, немного погодя две головы, склоненные одна на правое, другая на левое плечо, возникали уже за стеклянной дверью, озаренные белой молнией, падавшей на них с фронтона, где, вытянувшийся в длину, пламенел светом газовых лампочек вензель королевы, и ритм вальса продолжал кружить эту пару по аллеям сада, но кружилась она уже не так уверенно, с заминками, вызванными тем, что музыка доносилась сюда приглушенно: теперь это был не танец, а ходьба в ногу, плавная прогулка среди благоуханных зарослей магнолий и роз. В общем, если не считать всевозможных диковин

и необычности убранства, если не считать нескольких русых славянок с характерной для этого типа женщин негой в движениях, то поверхностный взгляд мог принять это сборище за одно из тех светских развлечений, которые Сен-Жерменское предместье, представленное сегодня в особняке Розена самыми древними и самыми громкими именами, устраивает время от времени в старых садах на Университетской, где танец переходит с натертого паркета на лужайку и где черноту фраков оживляют светлые панталоны, - за одно из тех летних увеселений под открытым небом, где люди держатся вольно и непринужденно.

Старого герцога неделю тому назад скрючила подагра, и теперь он из комнаты на третьем этаже прислушивался к отголоскам бала и глушил под одеялом болезненные стоны и казарменную брань, а бранил он свою хворь за ту жестокую шутку, которую она с ним сыграла, приковав его к постели в такой день и не дав ему возможности побыть в обществе чудной молодежи, завтра уезжающей из Парижа. Пароль был уже известен, места сражений избраны, и этот бал являлся прощальным балом, своего рода вызовом сомнительности успеха в будущей войне, а также предосторожностью против любопытства французской полиции.. Сам герцог не мог выступить вместе с добровольцами, но его утешало сознание, что в деле будут участвовать его сын Герберт и его золото, так как король и королева милостиво разрешили ему взять на себя все расходы по экспедиции. На его постели вперемешку со стратегическими картами и с планами сражений валялись счета за поставленные магазинные коробки для ружей, за обувь, за одеяла, за провиант, и Розен тщательно проверял их, страшно дергая усами, - это была гримаса монархиста, героически борющегося с инстинктами жмота и скопидома. Порой ему не хватало какой-нибудь цифры, какой-нибудь справки, - тогда он посылал за Гербертом: это был для него предлог, чтобы хоть на несколько минут задержать под пологом своего взрослого сына, с которым он завтра впервые в жизни расстанется, которого он, быть может, никогда больше не увидит, к которому он испытывал безграничную нежность, и нежность эта прорывалась сквозь суровость обхождения и сквозь нарочитую торжественность пауз. Но князю не сиделось на месте: его тянуло вниз к приглашенным, а главное, ему жаль было терять те немногие часы, которые он мог провести со своей ненаглядной Колеттой.

Сегодня Колетта, помогавшая Герберту принимать гостей ее тестя в первой зале, была как-то особенно красива и элегантна в своем узком, перешитом из стихаря греческого епископа и отделанном старинными кружевами платье, матовый отблеск которого выгодно оттенял ее хрупкую красоту, в этот вечер носившую отпечаток какой-то почти строгой таинственности. Благодаря этому отпечатку ее черты казались спокойнее, а глаза - темнее, такого же темно-голубого цвета, как маленькая кокарда, шевелившаяся вместе с ее кудряшками под бриллиантовой эгреткой… Тсс! Это выполненная по рисунку княгини кокарда иллирийского добровольца, отправляющегося в поход… Да уж, последние три месяца очаровательная малютка не сидела сложа руки! Она переписывала воззвания, носила их тайком во францисканский монастырь, рисовала эскизы костюмов и знамен, сбивала, как ей казалось, со следа мерещившуюся ей всюду полицию, - так играла она роль знатной дамы-роялистки, образ которой она составила себе по книгам, читанным ею в обители Сердца Христова. Одного-единственного пункта не хватало в этой программе вандейского разбоя: Колетта не могла отправиться в поход, не могла последовать за Гербертом. А ведь на уме у нее был теперь Герберт, только Герберт: по благодетельному свойству своей натуры она думала теперь о короле столько же, сколько о злосчастной обезьянке уистити, столь жестоко - на верную гибель - вышвырнутой из окна. Колетте по двум причинам пришлось отказать себе в удовольствии надеть мужской костюм и высокие сапожки: первая причина - это служба у королевы; вторая причина была интимного характера, и о ней Колетта вчера шепотом сообщила мужу. Да, если Колетта не ошибается, по истечении некоторого срока, каковой нетрудно, впрочем, определить, приняв за исходную точку день заседания в Академии, семья Розенов пополнится новым членом, и коль скоро Коллета не делает ни одного тура вальса по великолепным залам, то как же можно подвергать столь отрадный, столь драгоценный залог продолжения рода превратностям кампании, которая, конечно, не обойдется без ожесточенных и кровопролитных схваток? На долю одной маленькой женщины выпало столько секретов, и хотя уста ее были скреплены печатью тайны, но ее обворожительные в своей болтливости глазки, а также томный вид, с каким она опиралась на руку Герберта, все рассказывали за нее.

Внезапно оркестр смолкает, танцы прекращаются, все, кто сидел,

встают, входят Христиан и Фредерика. Они проходят три залы, сверкающие национальными сокровищами, и королева всюду видит свой вензель из цветов, из лампочек, из драгоценных камней, все здесь напоминает им обоим о славе отечества. Наконец у входа в сад они останавливаются… Никто еще не представлял монархию с таким горделивым блеском, как эта чета, достойная быть вычеканенной на монетах, имеющих хождение в их стране, или на фронтоне королевского дворца. Особенно хороша королева, помолодевшая на десять лет в этом прелестном белом платье и не пожелавшая надеть никаких драгоценностей, кроме тяжелого янтарного ожерелья, к которому привешен крест. Это ожерелье - благословение самого папы, легенду о нем правоверные католики рассказывают друг другу шепотом. Фредерика носила его в Дубровнике, пока продолжалась осада, дважды теряла, под обстрелом отправлялась на поиски и чудом находила. Эта вещь вызывает у Фредерики суеверное чувство, она дорожит ожерельем потому, что с ним связан данный ею обет, обет королевы, а что его золотистые бусинки создают особый очаровательный эффект, как бы дробя отблеск ее волос, - это для нее не имеет значения.

Государь и государыня с сияющими лицами все еще любуются празднеством, феерическим освещением сада, как вдруг в зарослях рододендрона раздаются три ни на что не похожих, душераздирающих, мощных удара смычков. Все явившиеся на бал славяне вздрагивают, узнав звуки гузл, длинные грифы которых выступают из темной зелени. Начинается гудящая прелюдия, идущий издалека прибой звуковых волн, и прибой этот близится, нарастает, вздымается, разливается вширь. Это как бы тяжелая, насыщенная электричеством туча, которую по временам прорезает молния наиболее проворного смычка и из которой вдруг хлынул грозовой, страстный, героический ритм народной песни о Родойце, представляющей собой и пляску, и гимн: под эту песню иллирийцы пляшут на всех праздниках, и с этой песней на устах они бросаются в бой, ибо она отражает всю сложность душевных движений, запечатленных в старинной легенде. Гайдук Родойца попадает к туркам; замыслив побег, он притворяется мертвым. Гайдуку жгут огнем грудь - он не шевелится. Ему суют за пазуху горячую от солнца змею, ему забивают под ногти двадцать гвоздей - он неподвижен, как изваяние. Наконец к нему подводят Гайкуну, самую статную, самую красивую девушку графства Цары, и она, напевая

иллирийскую народную песню, начинает плясать. Заслышав первые такты, заслышав бренчанье мониста из цехинов на шее красавицы, зачуяв дрожь бахромы ее пояса, Родойца невольно улыбается, открывает глаза, и ему бы, уж верно, несдобровать, когда бы плясунья стремительным движением не прикрыла его оживившееся лицо шелковым платком, которым она все время играет и которым она перед концом пляски взмахивает у себя над головой. Так был спасен гайдук, и вот почему уже двести лет, как песня о Родойце заменяет Иллирии национальный гимн.

Услышав ее звуки под небом чужбины, все иллирийцы, и мужчины и женщины, побледнели. Призыв гузл, которым из глубины залы аккомпанирует под сурдинку оркестр, - это словно крик буревестника над рокотом волн, это голос самой родины, полный воспоминаний и слез, полный сожалений и неизреченных надежд. Огромные тяжелые смычки в форме луков ударяют не по грубым струнам, а по натянутым до отказа нервам, по чутко резонирующим фибрам. Молодые люди, гордые и смелые, с осанкой гайдуков, ощущают в себе непоколебимое мужество Родойцы, столь щедро вознагражденное женской любовью. Прекрасные далматинки, статные, как Гайкуна, лелеют в своем сердце нежность к героям. Старики при мысли о далекой отчизне, матери - при взгляде на сыновей, все чуть не плачут, все, если бы не король и не королева, слили бы свои голоса с тем пронзительным, невероятной силы воплем, который играющие на гузлах музыканты в заключительном взрыве созвучий устремляют к звездам.

Затем гости снова танцуют - танцуют с подъемом, с увлечением, которого никак нельзя было ожидать от людей, веселящихся для вида. Лебо прав: в самом деле, это бал необычный. Что-то зажигательное, лихорадочное, страстное чувствуется в руках, обвивающихся вокруг талий, в самозабвении танцующих, в тех искрометных взглядах, которыми они обмениваются, в самом ритме вальсов, в самом ритме мазурок, в которых слышится порою звон шпор и стремян. Такая жаркая торопливость, такое изнемогающее упоение наступают обыкновенно к концу бала, в последний час веселья, когда от утренней зари бледнеют окна. А здесь бал только-только начался, и уже горят обтянутые перчатками руки, и учащенно

бьются сердца под букетами, прикрепленными к корсажам, или под осыпанным бриллиантами аграфом. И когда проносятся в танце юноша и девушка, у которых кружатся головы от вальса и от любви, их провожают долгой умиленной улыбкой. Каждый из присутствующих знает, что все эти красивые танцоры, все эти иллирийские дворяне, изгнанные вместе с государем и государыней, а равно и французские дворяне, всегда готовые отдать свою кровь за благородное дело, рано утром отправятся в опасный и смелый поход. Даже в случае победы сколькие из этих отважных юношей, которых так много записалось в добровольцы, вернутся домой? Не пройдет и недели, и сколькие из них уткнутся лицом в землю на склонах гор, и перед смертью в их ушах, в которых бешено застучит кровь, все еще будет звучать подмывающий мотив мазурки! Близость опасности - вот что примешивает к оживлению бала тревогу кануна похода, вот отчего в глазах блестят слезы томления и вспыхивают зарницы отваги! Можно ли отказать в просьбе тому, кто завтра отбывает и кто, быть может, падет в бою? О, как крепко сжимает объятия, как ускоряет признания витающая в зале смерть, в такт мелодии скрипок задевающая вас крылом! О эта быстролетная любовь, встреча бабочек-однодневок, пронизанных одним и тем же лучом солнца! Они никогда раньше не виделись и, конечно, не увидятся впредь, но сердца их уже связаны. Некоторые, наиболее самолюбивые, преодолевая волнение, силятся усмехнуться, но сколько нежности в этой иронии! И все это кружится, с запрокинутыми головами, с развевающимися локонами, и каждой паре чудится, что она одна во всей зале, что она заключена, что она заверчена в заколдованные сцепленные круги вальса Брамса или мазурки Шопена.

Не менее других взвинчен, не менее других взволнован Элизе Меро: звуки гузл, то нежные, то исполненные дикой удали, пробудили его душу, душу бродяги и смельчака, которая живет в каждом сыне солнечного юга, вызвали в нем страстное желание идти далеко-далеко, по неведомым дорогам, навстречу свету, навстречу приключениям, навстречу боям, желание совершить смелый, доблестный подвиг, чтобы им восхищались женщины. Он не танцевал, он не намеревался идти воевать, а опьянение героического бала передалось и ему. Сознание, что вся эта молодежь готова пролить кровь, что ее влечет к опасным и живописным схваткам, а он остается со стариками и детьми, сознание, что этот крестовый поход, дело его рук, осуществится без него, причиняло ему непередаваемую

грусть и боль. Что такое идея по сравнению с деянием?.. Тоску, тягу к смерти, навеянные южанину танцами и песнями славян, быть может, еще усиливала ослепительная горделивость Фредерики, прошедшей мимо него под руку с Христианом. Как она, должно быть, счастлива тем, что почувствовала наконец в муже воина, короля!.. Гайкуна! Гайкуна! Под бряцанье оружия ты способна все забыть, все простить: измену, обман. Ты превыше всего ценишь в человеке мужество, и на мужество ты всегда набросишь платок, теплый от слез или овеянный твоим легким благоуханием… Элизе все еще сокрушался, как вдруг Гайкуна, заметив в углу залы высокий лоб поэта, а над ним - густые волнистые волосы, непокорность которых свидетельствовала о несветскости этого человека, улыбнулась ему и сделала знак подойти. Быть может, она разгадала причину его грусти.

- Какой чудный бал, господин Меро! - Тут она понизила голос: - Я и этим обязана вам… Да что говорить: мы вам стольким обязаны!.. Не знаю, как вас и благодарить.

В самом деле: это его могучая вера раздула все погасшие пламена, вдохнула надежду в отчаявшихся, вызвала тот подъем, которым можно будет воспользоваться завтра. Королева этого не забывает. Во всем блестящем обществе ни к кому еще не обратилась бы она с таким почтительным дружелюбием, ни к кому еще не устремила бы при всех, стоя в центре благоговеющего круга, образовавшегося вокруг государя и государыни, признательного, ласкового взгляда. Но Христиан II снова берет Фредерику под руку.

- Маркиз де Эсета здесь… - говорит он Элизе. - Вы его видели?

- Я его не знаю, ваше величество…

- А он уверяет, что вы с ним старые друзья… Да вот он!..

Маркиз де Эсета должен был возглавить экспедицию вместо заболевшего старого генерала Розена. Во время последнего набега герцога Пальмы он показал себя выдающимся полководцем; если бы его послушали, стычка не кончилась бы так плачевно. Удостоверившись в том, что он даром потратил столько усилий, что сам претендент подал сигнал к бегству и подал пример остальным, cabecilla вдруг почувствовал, что все ему надоело, и, впав в мизантропию, ушел в горы к баскам и там поселился, вдали от ребяческих заговоров, от обманчивых надежд и от маханья картонным мечом, которое только истощало его душевные силы. Он хотел умереть в безвестности, у себя на родине, однако, плененный заразительной горячностью монархических убеждений о. Алфея и молвою о смелости Христиана II, решил еще раз попытать счастья. Слава старого бесстрашного партизана, романтическая жизнь, в которой было столько изгнаний, гонений, лихих наскоков, жестокость фанатика, - все это сделало из маркиза Хосе Марии де Эсета фигуру почти легендарную и вызывало к нему особый интерес участников бала.

- Здравствуй, Эли! - сказал он, подходя с заранее протянутой для пожатия рукой и называя Меро тем именем, каким его называли в детстве, во времена Королевского заповедника. - Да это же я… твой бывший учитель… господин Папель!

Не только черный фрак, увешанный крестами и орденами, и белый галстук - его не изменили даже двадцать лет, что протекли с тех пор над этой громадной головой, насаженной на туловище карлика и до того закоптелой от пороха и от горного солнца, что его характерная грозная жила на лбу была теперь не так заметна. Его роялистское упорство тоже как будто не так выпирало, точно cabecilla оставил на дне своего баскского берета, который он в последний день кампании зашвырнул в ручей, какую-то часть былых верований, какую-то часть молодых упований.

Элизе был крайне изумлен, увидев своего бывшего учителя, который сделал из него именно то, что он представлял собою теперь.

- Понимаешь, мой маленький Эли…

”Маленький Эли” был на два фута выше учителя и здорово поседел за это время.

- …Все кончено, королей больше нет… Идея еще жива, а люди уж не те. Все они выбиты из седла и не в состоянии снова сесть на коней, да их вовсе и не тянет… Ах, чего я только не насмотрелся, чего я только не насмотрелся за эту войну!..

Лоб у Хосе Марии покрылся багровым налетом, глаза налились кровью, зрачки расширились, точно он и сейчас еще видел перед собой трусость, измену, позор.

- Но ведь не все же короли одинаковы, - возразил Меро, - я, например, уверен, что Христиан…

- И твой не лучше нашего… Мальчишка, повеса… Ни мысли, ни воли в этих глазах вертопраха… Ты только взгляни на него!

Он показал на короля - тот в это время вальсировал; глаза у Христиана блестели влажным блеском, на лбу выступил пот, маленькая круглая голова так низко наклонилась над оголенным плечом его дамы, что

казалось, будто он вот-вот совсем ее уронит, а его открытый рот словно вбирал исходящее от плеча благоухание. Эта пара пронеслась так близко от них, что они оба ощутили на лицах шумное ее дыхание, но во все растущем упоении балом танцующие не заметили собеседников. В зале стало тесно: гостям хотелось посмотреть на Христиана II, который лучше всех в своем королевстве танцевал вальс, а потому Эсета и Меро укрылись в глубокой амбразуре одного из раскрытых окон, выходивших на Анжуйскую набережную. Здесь они пробыли долго, овеваемые с одной стороны бальным шумом и вихрем, а с другой - свежим полумраком, успокоительной ночной тишиной.

- Короли ни во что не верят, короли ни к чему не стремятся. Зачем же мы ради них из кожи вон лезем? - с мрачным видом говорил испанец.

- Итак, вы изверились… И все-таки едете?

- Еду.

- Без всякой надежды?

- Нет, в надежде… в надежде только на то, что я сложу наконец голову, мою бедную голову, которую мне негде приклонить.

- А король?

- О, за него я совершенно спокоен!..

Что он этим хотел сказать? Что Христиан пока еще не сел на коня или же что, подобно своему двоюродному братцу, герцогу Пальма, он из любого сражения выйдет целым и невредимым? Эсета так этого и не объяснил…

Перед их взором яростными вихрями кружился бал, но Элизе смотрел теперь на него сквозь уныние своего бывшего учителя и сквозь свое собственное разочарование. Было бесконечно жаль храбрую молодежь, которая так весело собиралась идти на войну под командой отрезвевших полководцев, и померещилось Элизе, будто весь этот праздник, его суматоха, его огни заволакиваются пороховым дымом: то не праздничное веселье, то пыл сражения, кончающегося разгромом, и вот уже подбирают тела безвестных бойцов. Чтобы отогнать от себя зловещее видение, Элизе облокотился на подоконник, окинул взглядом пустынную набережную, на которую дворец бросал световые четырехугольники, такие огромные, что, не помещаясь на набережной, они ложились и на воду, и прислушался к плеску реки: Сена, бурливая, мятежная у этой оконечности острова, сливая с жалобами скрипок, с душераздирающими воплями гузл шум своих бешено крутившихся водоворотов, своих волн, разбивавшихся о быки, то часто вздымалась, словно грудь, которую душат рыдания, то разливалась широким обессиливающим потоком, словно кровь из зияющей раны…

XII

С ночным поездом

”Мы отбываем сегодня в одиннадцать вечера с Лионского вокзала. Место назначения неизвестно. Вероятно, или Сетт, или Ницца, или Марсель. Примите меры”.

Когда эта записка, которую наспех нацарапал Лебо, попала на Мессинскую, графиня Сплит только что вышла из ванны; освежившаяся, благоухающая, разнеженная, она по дороге из спальни в будуар заботливо поливала цветы в корзинах и комнатные растения, надев для прогулки по зимнему саду длинные, до локтей, светлые шведские перчатки. Записка не очень ее взволновала; немного подумав в спокойном полусвете комнаты с опущенными жалюзи, графиня быстро и решительно повела плечами, что означало: “Ну что ж, конец - делу венец…” - и, чтобы встретить короля во всеоружии, сейчас же позвонила горничной.

- Что вы наденете, сударыня?

”Сударыня” посоветовалась с зеркалом.

- Ничего не надену… Я не буду переодеваться…

В самом деле: ничто ей так не шло, как этот длинный светлый фланелевый капот, облегавший ее тело мягкими складками, с громадным, как у девочки, бантом сзади, и ее прическа: черные волосы, взбитые, завитые, собранные кверху, открывали затылок и линию плеч, цвет которых, судя по началу, должен был быть ярче, чем цвет ее лица: их гладкая кожа отливала теплым янтарем.

Графиня верно рассчитала, что никакой другой туалет не сравнится с дезабилье, в котором она выглядела совсем по-домашнему, выглядела маленькой девочкой, - именно такой ее особенно любил Христиан, но из-за этого она вынуждена была завтракать в спальне: в таком виде она не могла выйти в столовую. Она ввела в своем доме строгий этикет; причуды, богемные привычки - все это она оставила в Курбвуа. После завтрака она перешла в будуар, к которому примыкала веранда, окнами с частым переплетом выходившая на улицу, села поуютнее, вся розовая от проникавшего сквозь штору света, как когда-то давно - у мещанского окошечка family, и принялась высматривать короля. Раньше двух часов Христиан никогда к ней не приезжал, но как только пробило два, эту уравновешенную натуру охватила неведомая ей прежде тревога, она познала пытку ожидания: началось с легкой дрожи, напоминающей рябь на воде, а затем эта дрожь перешла в самую настоящую лихорадку, от которой сотрясается все тело и звенит в ушах. В такую пору экипажи редки на залитой светом тихой, обсаженной платанами и застроенной новыми

домами улице, упирающейся в золоченую решетку парка Монсо с его фонарями, насквозь пронизанными лучами солнца. При каждом стуке колес Шифра приподнимала штору, и боль разочарования всякий раз становилась в ней острее от роскошного покоя, которым веяло на нее снаружи, от этой провинциальной тишины.

Что же, однако, случилось? Неужели он уедет, не повидавшись с ней?

Она пыталась найти причины, поводы, но когда ждешь, то ждешь всем существом, все в тебе напряжено, мысли, текучие, бессвязные, не додумываются до конца, как не договариваются слетающие с губ слова. Эту муку, это обмирание всего тела, до кончиков ногтей, когда туго натянутые нервы внезапно ослабевают, испытывала сейчас графиня. Снова и снова поднимала она штору из розового тика. Теплый ветер колыхал ветви, похожие на зеленые султаны, тянуло свежестью от мостовой, на которую била из шланга мощная струя воды, мгновенно прекращавшаяся, как только появлялись экипажи, теперь уже более многочисленные, так как пять часов - это время прогулки в Булонский лес. Наконец, истерзанная ужасной мыслью, что король бросил ее, графиня послала два письма: одно - принцу Аксельскому, другое - в клуб; затем оделась (не могла же она оставаться до вечера в костюме девочки, вышедшей из ванны!) и опять начала бродить из спальни в будуар и обратно, из спальни в уборную и обратно, а потом уже по всему дому - так скорей проходило время.

Графиня Сплит приобрела не птичью клетку кокотки и не один из тех ошеломительных домов, какими мнимые миллиардеры загромоздили новые кварталы парижского Запада, а изящный особняк под стать названиям близлежащих улиц - улиц Мурильо, Веласкеса, Ван-Дейка, отличавшийся от соседних домов решительно всем, начиная с отделки фасада и кончая дверным молотком. Построенное графом Потницким для своей любовницы, некрасивой женщины, которой он каждое утро клал на мраморную доску туалетного столика сложенный вчетверо тысячефранковый билет, это восхитительное обиталище после смерти богатого поляка, не оставившего никакого завещания, было продано за два миллиона вместе с его музейной обстановкой, и обладательницей всех сокровищ сделалась Шифра.

По тяжелой, резного дерева, лестнице, перила которой выдержат карету с лошадьми и которая служит строгой красоте хозяйки темным фоном, как

на картине кого-нибудь из фламандских мастеров, графиня Сплит спускается в первый этаж, состоящий из трех залов: первый зал - саксонский, это небольшая комната в стиле Людовика XV, содержащая изумительную коллекцию ваз, статуэток, эмалей, того хрупкого искусства XVIII века, которое как бы вылеплено розовыми пальчиками фавориток и оживлено лукавством их улыбок; в зале слоновой кости под двойными витринами розового стекла выставлены китайские вещицы: человечки, деревья с плодами из драгоценных камней, рыбки с нефритовыми глазами, и тут же - изделия из слоновой кости, относящиеся к эпохе Средневековья: фигурки со страдальческим, страстным выражением, распятия, на которых кровь из красного воска производит впечатление настоящих кровавых пятен на человеческом теле мертвенной белизны; наконец, третий зал, с таким освещением, какое бывает в мастерских, с обитыми сафьяном стенами, папаша Лееманс еще не успел обставить. Обычно душа продавщицы редкостей радуется при виде всех этих чудесных вещей, которые кажутся владелице еще красивее оттого, что они достались ей даром, но сегодня она ходит взад и вперед, ни на что не глядя, ничего не видя, мысли ее далеко, она теряется в мучительных догадках… Что же это такое?.. Уехать не простившись?.. Значит, он ее разлюбил?.. А ей-то казалось, что она его поймала, что она держит его в руках!..

Возвращается слуга. О короле ничего не известно. Его нигде не видно. Это так похоже на Христиана!.. Зная свою слабохарактерность, он предпочел скрыться, бежать… Прилив бешеной злобы на секунду выводит из равновесия эту женщину, которая вообще-то отлично умеет владеть собой. Если бы не долгий опыт продавщицы, проставляющий перед ее мысленным взором цену каждой вещи, она бы переломала, она бы перебила здесь все. Она опускается в кресло, и при свете гаснущего дня, в котором меркнут все ее сокровища, ей представляется, что они от нее уходят, что они исчезают вместе с мечтой о несметном богатстве.

Дверь распахивается настежь.

- Кушать подано, ваше сиятельство…

Приходится садиться за стол одной в пышной столовой, украшенной принадлежащими кисти Франса Гальса и оцененными в восемьсот тысяч франков восемью громадными портретами, а с портретов на нее глядят суровые бледные лица, которым придают особенно напряженное,

торжественное выражение высокие брыжи, но все же не такое торжественное, как у метрдотеля в белом галстуке, расставляющего на серванте блюда, подаваемые с невозмутимым видом на стол двумя продувными бестиями в нанковых парах. Оскорбительность контраста между богатством сервировки и угрозой одиночества уязвляет графиню Сплит. Уж не заподозрила ли чего-нибудь прислуга? С какими-то подчеркнуто церемонными и в то же время презрительными минами ждут, когда она пообедает, лакеи, неподвижные и важные, как помощники фотографа, только что заморозившие клиента перед объективом. Однако покинутая женщина мало-помалу берет себя в руки, к ней возвращается присущее ей хладнокровие… Нет, она так просто его не выпустит!.. Сам король ей безразличен. Ей важна афера, “ловкий ход”, ей совестно перед сообщниками… Отлично! План готов… Поднявшись в свою комнату, она написала два слова Тому; затем, пока слуги в полуподвальном этаже обедали и болтали о том, что нынешний день прошел у хозяйки в одиночестве и в волнениях, ее сиятельство своими ловкими ручками уложила чемодан, часто путешествовавший вместе с ней из агентства в Курбвуа, на случай холодной ночи накинула на плечи пальто из некрашеной шерсти и, тайком выйдя из своего дворца, с чемоданчиком в руке, точно получившая расчет компаньонка, направилась к ближайшей стоянке экипажей.

Для Христиана II этот день оказался не менее беспокойным. Накануне он оставался с королевой на балу до утра, а когда проснулся, в голове и в душе у него все еще призывно гудели гузлы. Приготовления к отъезду, осмотр оружия и генеральского мундира, который он надевал последний раз в Дубровнике, - всем этим он был занят до одиннадцати под наблюдением и надзором Лебо, крайне озабоченного, но не осмеливавшегося слишком далеко заходить в своих выспрашивающих намеках. Затем для малочисленного иллирийского двора о. Алфей отслужил краткую обедню в зале, превращенном в молельню: камин превратили в престол, бархатное покрывало застелили вышитой скатертью. Никого из Розенов не было: старик лежал в постели, княгиня поехала на вокзал провожать мужа, - Герберт и еще кое-кто из молодых людей уезжали раньше всех. Эсета собирался выехать со следующим поездом, - чтобы усыпить бдительность полиции, решено было отправлять маленькое войско небольшими партиями, в течение всего дня. От этой мессы для немногих, напомнившей молящимся о днях минувшей смуты, от вдохновенного лица монаха, от его воинственных движений и интонаций

пахло не только ладаном, но и порохом, близость битв придавала особую торжественность богослужению.

За завтраком король, чтобы его не поминали лихом, старался напоследок обворожить окружающих, был почтительно-ласков с королевой, недоверчивая холодность которой несколько умеряла его нежность, и все же из-за сложности испытываемого всеми чувства завтрак прошел натянуто. Мальчик робко наблюдал за родителями - та ужасная ночная сцена неизгладимо врезалась в его молодую память, и воспоминание о ней заставляло его не по-детски страдать. Маркиза Сильвис заранее испускала тяжелые прощальные вздохи. Зато Элизе был снова полон надежд и не мог сдержать своей радости при мысли о том, что его давнишняя мечта в ближайшее время сбудется, при мысли о контрреволюционном перевороте, осуществленном руками народа, при мысли о том, как во дворец ворвется мятеж и введет туда короля. В успехе он не сомневался. У Христиана такой уверенности не было, однако, если не считать той тихой грусти, какая обычно охватывает человека перед отъездом, в ожидании, что скоро вокруг него образуется пустота одиночества, что скоро ему предстоит оторваться от окружающих его предметов и живых людей, душа его была спокойна; более того, он испытывал облегчение: ведь положение у него безвыходное, он запутался в сроках платежей, в долгах чести, так что отъезд - это для него спасение. В случае победы долги покроет цивильный лист. Ну, а если поражение - тогда конец всему… тогда самоубийство, пуля в лоб… Так он разом покончит все счеты - и денежные и сердечные. И эта беспечность короля производила скорей приятное впечатление как противоположность озабоченности королевы и восторженности Элизе. Но вот, когда они все трое беседовали в саду, мимо них прошел лакей.

- Скажите Сами, что я велю заложить карету, - распорядился Христиан.

- Вы куда?

- Да это я из предосторожности… Вчерашний бал, наверное, наделал в Париже шуму… Мне надо показаться, пусть меня увидят в клубе, на бульваре… Не беспокойтесь: обедать я буду дома.

Веселый, как школьник, выпорхнувший из класса и очутившийся на воле, Христиан взбежал на крыльцо.

- Пока он не уедет из Парижа, я не найду себе места от беспокойства! - сказала королева.

И Меро, знавший короля не хуже ее, не придумал ничего, что могло бы ее успокоить.

А между тем король принял твердое решение. Во время мессы он дал обет не видеться с Шифрой, - он отчетливо сознавал, что, если только она захочет его удержать, если только она обовьет его шею руками, у него недостанет сил уйти от нее. Итак, он с самыми благими намерениями отправился в клуб и обнаружил там несколько лысых любителей виста, молча шлепавших картами, и сонное царство вокруг большого стола в кабинете для чтения. Всю ночь в клубе шла игра, зато сейчас тут было пустынно и мертво. Утром, когда вся компания с его высочеством принцем Аксельским во главе высыпала на улицу, мимо клуба проходило, стуча копытами и позванивая бубенчиками, стадо ослиц. Его высочество велел позвать погонщика. Господа попили парного молока в бокалах для шампанского, а затем, будучи навеселе, сели верхом на бедных животных и, невзирая на их ляганье и на вопли погонщика, устроили презабавные steeplechase [25 - Скачки с препятствиями (англ.).]. Надо было слышать, как восторгался величественный директор Большого клуба г-н Бонейль:

- Нет, это было так смешно! Его высочество на маленькой ослице!.. Ведь он же на редкость длинноног - можете себе представить, как высоко пришлось ему задирать ноги!.. А выражение лица, как всегда, бесстрастное… Жаль, что вас при этом не было, ваше величество!..

Его величество тоже пожалел, что не присутствовал при милой шутке сумасбродов… Счастливец этот принц Аксельский! Поссорился со своим дядей-королем, из-за дворцовых интриг вынужден был покинуть родину, путь к престолу ему, по всей вероятности, закрыт, потому что старый монарх собирается жениться вторично, на молоденькой, и наплодить кучу наследников. И все это его нисколько не огорчает. Весело проводить время в Париже куда интереснее, чем проводить у себя на родине ту или иную политику. И мало-помалу Христианом, который развалился на диване, пропитавшемся заразительной расслабленностью наследного принца, овладело шутливое, скептически-насмешливое расположение духа. Вчерашний подъем, завтрашнее смелое предприятие - все это уже теряло в глазах молодого короля, снова попавшего в атмосферу клубного безделья,

волшебный ореол величия и славы. Он положительно разлагался в этой среде. И, чтобы стряхнуть с себя оцепенение, действовавшее, как яд, от которого во всех жилах леденеет кровь, он встал и вышел на свежий воздух - туда, где люди двигались, действовали, жили.

Три часа. В это время он обыкновенно, позавтракав в клубе или у Миньона, отправлялся на Мессинскую. Ноги сами понесли его по знакомой дороге к летнему Парижу: этот летний Париж больше того, другого, он не так пьянит, как тот, но зато сколько здесь прелестных уголков, как приятно ходить по улицам, где меж камней мостовой прорастает трава, где над светлым асфальтом раскинулся темный шатер листвы!

А сколько красивых женщин, прячась под зонтиками, скользит по тротуарам, как они изящны, как жизнерадостны, как полны тонкого обаяния! Кто еще из женщин умеет так ходить по улицам, у кого еще такая игривая походка, кто еще умеет так мило болтать, так одеваться и так раздеваться, как они? Ах, Париж, Париж, город доступных удовольствий, город быстротекущих часов! И подумать только, что ради того, чтобы отойти от соблазна, он еще, чего доброго, сломит себе шею! А сколько он пережил здесь блаженных минут, с каким знанием дела доставляли ему здесь полноту наслаждений!

Исполненный благодарного чувства, славянин горящим взором смотрел на проходивших мимо женщин, пленявших его одной какой-нибудь чертой, развевающимся кружевным подолом юбки. Как не похож был на короля-рыцаря, который нынче утром, стоя на коленях между женой и сыном, молился о даровании ему победы в борьбе за королевство, этот сердцеед, задравший нос, ухарски заломивший набекрень шляпу на своей маленькой круглой курчавой голове, раскрасневшийся от лихорадки желаний! Фредерика не зря проклинала дух Парижа, недаром она боялась за неустойчивый нрав Христиана: как в некоторых винах, которые нельзя долго хранить, в нем постоянно шло брожение.

На углу бульвара Осман и Мессинской Христиан остановился, чтобы пропустить экипажи. Только тут он опомнился. Как это он сюда зашел, да еще так быстро?.. На фоне мглистого заката вырисовывались две башенки дома Потницкого, этого парижского замка с верандой, скрытой от взоров, точно альков… Соблазн велик!.. Отчего бы ему туда не войти, отчего бы ему не взглянуть в последний раз на женщину, с которой отныне у него

будет связано такое ощущение, словно во рту у него все пересохло от жажды, - ощущение, какое оставляет неутоленная страсть?

Внутренние колебания Христиана внешне выражались в том, что все его слабое тело трепетало, словно тростинка; наконец, после минутной отчаянной душевной борьбы, сделав над собой героическое усилие, он прыгнул в проезжавший мимо открытый экипаж и велел ехать в клуб. Если бы не обещание, которое он дал Богу утром, за мессой, у него не хватило бы на это решимости. Для его трусливой души, души богобоязненной католички, обет был превыше всего.

В клубе Христиан нашел письмо от Шифры и, еще не распечатав его, а лишь вдохнув исходивший от него запах мускуса, угадал на расстоянии то лихорадочное волнение, в котором, как на огне, сгорала Шифра. Принц вручил ему еще одно письмо от нее - несколько коротких умоляющих фраз, написанных таким почерком, какого не знали конторские книги Тома. Но, принадлежа к числу людей, которые на виду всегда подтягиваются, Христиан II, попав в дружеское окружение, под ободряющими взглядами почувствовал себя увереннее. Он сунул руку в карман и скомкал письма. Постепенно подходила прелестная клубная молодежь, вся еще под впечатлением истории с ослицами, о которой во всех подробностях рассказывалось в одной из утренних газет. Листок переходил из рук в руки, вызывая тот неудержимый утробный смех, от которого люди, кажется, сейчас лопнут.

- Что, кутнем сегодня вечером? - спрашивали молодые господа, поглощая содовую воду, - в клубе был целый склад этой лечебной воды.

Заразившись общим настроением, король дал себя увести обедать в кафе “Лондон”, но не в одну из тех зал, где знакомые обои не однажды плясали перед его пьяными глазами и где на зеркалах были вдоль и поперек написаны имена собутыльников, образуя прихотливый узор, подобный узору инея на окне, а в один из погребов, в одну из тех очаровательных катакомб, где строй бочек и одинаковых, снабженных фарфоровыми этикетками ящиков с бутылками тянулся до самого подвала Комической оперы. Здесь все сорта французских вин спали мирным сном. Стол поставили посредине, - там, где, отражая мерцание газовых рожков и отсветы жирандолей цветного стекла, поблескивали лежавшие одна на другой зеленые бутылки с шато-икемом. Это была идея Ватле, которому

хотелось отметить отъезд Христиана II чем-нибудь оригинальным, - о ней знали только он сам и принц. Но удовольствие было испорчено - непроспавшихся собутыльников скоро прохватила сырость, сочившаяся со стен и с потолка. Куриный Хвост засыпал, вздрагивал и опять засыпал. Забавник все больше молчал, принужденно улыбался, через каждые пять минут поглядывал на часы. Быть может, он думал о королеве, о том, что его долгое отсутствие волнует ее.

Во время десерта появились женщины, постоянно обедавшие в кафе "Лондон"; узнав, что внизу именитые гости, они встали из-за стола, официанты с канделябрами в руках повели их в подвал, и они, проклиная собственное безрассудство и взвизгивая от страха, пробирались, задрав юбки, между ящиками и бочками. Почти все они были декольтированы. Не прошло и пяти минут, как они уже посинели; сидя на коленях у молодых людей, которых до известной степени защищали от холода поднятые воротники, они кашляли и дрожали.

- Как бы не нажить чахотку из-за этой остроумной затеи… - заметила одна из них, более зябкая, а может быть, просто менее взбалмошная.

Решили пить кофе в зале, и, пока все перебирались в другое помещение, Христиан исчез. Было около девяти. Карета ждала его у подъезда.

- На Мессинскую!.. - процедил он сквозь зубы.

Христиан словно обезумел. В течение всего обеда он видел только ее, только ее; вдыхая запах прикасавшихся к нему оголенных женских тел, он мечтал о том, как он овладеет ею. Да, да, сжать эту женщину в объятиях! Больше она ни слезами, ни мольбами его не разжалобит…

- Барыни нет дома.

Пылающие угли облили холодной водой. "Барыни нет дома". В этом Христиана убеждал беспорядок в особняке, полном незнакомого народу и брошенном на прислугу, цветные ленты и полосатые жилеты которой скрылись при его появлении. Он не спросил больше ни о чем и, внезапно отрезвев, заглянул в бездонную пропасть, куда он чуть было не свалился. Клятвопреступление, измена короне!.. В его горячих пальцах появились четки. Пока экипаж вез его в Сен-Мандэ, мимо фантастических видений и ночных страхов леса, он в знак благодарности перебирал четки и шептал

Ave.

- Король! - объявил Элизе, - он караулил его у окна залы и вдруг увидел два фонаря кареты, молниями прорезавших темноту двора.

Король! Это было первое слово, произнесенное в доме после обеда. Будто по волшебству, все лица сразу прояснились, языки развязались. Даже королева, несмотря на внешнее спокойствие и силу воли, не могла удержаться от радостного восклицания. Она думала, что все потеряно, что Христиан, бросив друзей, опозорив себя навсегда, остался у этой женщины. За три часа мучительного ожидания всем, кто окружал королеву, приходила в голову та же самая мысль, беспокоились все, даже малолетний Цара, которого Фредерика не укладывала спать: сознавая всю тревожность, всю драматичность царившего в доме молчания, Цара не задавал ни одного из тех жестоких, попадающих в самую точку вопросов, которые звонким голосом задают обыкновенно дети, - он уткнулся в толстый альбом и, только услыхав, что король приехал, поднял свою милую головку и показал лицо, омытое слезами, которые он беззвучно проливал в течение целого часа. Некоторое время спустя Цару спросили, отчего он так горевал, - оказывается, он боялся, что отец уедет, не поцеловав его. Младенческой любящей душе наследника молодой, остроумный, веселый отец казался шаловливым и проказливым старшим братом, обаятельным старшим братом, однако доставляющим матери немало огорчений.

Послышался голос Христиана, торопливо, отрывисто отдававшего приказания. Затем Христиан поднялся к себе и через пять минут появился, уже одетый по-дорожному: в маленькой шляпе с кокетливой пряжкой и синим шнуром, в тонких гетрах, доходивших до икр, он напоминал туриста на взморье с картины Ватле. Однако в этом щеголе явственно проступал монарх - он угадывался во властном, внушительном взоре, в готовности выказать доблесть при любых обстоятельствах. Он подошел к королеве и шепотом извинился за опоздание. Все еще бледная от волнения, она сказала ему тихо:

- Если б вы не вернулись, я бы поехала с Царой вместо вас.

Он понял, что она это говорит не для красного словца, - на одну минуту он представил ее себе с ребенком на руках, под пулями, представил с той же ясностью, с какой он во время той ужасной сцены видел на подоконнике ее и мальчика, перед лицом смерти покорно закрывшего свои прекрасные глаза. Христиан ничего не ответил Фредерике, - он лишь стремительным движением поднес ее руку к губам, а затем с юношеской порывистостью притянул Фредерику к себе.

- Прости!.. Прости!..

Простить королева еще могла бы, но в дверях залы она заметила собравшегося ехать со своим господином лакея Лебо, темную личность, поверенного во всех похождениях и изменах Христиана. И пока она осторожным движением высвобождалась из объятий мужа, у нее мелькнула страшная мысль: “Что, если он лжет?.. Что, если он не уедет?” Угадав ее мысль, Христиан обратился к Меро:

- Проводите меня на вокзал!.. Сами вас отвезет домой.

Времени в его распоряжении оставалось мало, и он поспешил проститься, каждому сказал ласковое слово - Босковичу, маркизе, взял Цару на колени, объяснил ему, что он задумал поход ради того, чтобы отвоевать королевство, велел ему не огорчать маму и прибавил, что если Цара больше не увидит отца, то пусть помнит, что отец умер за отечество, исполняя свой королевский долг. Это была небольшая речь в духе Людовика XIV, надо отдать справедливость Христиану - недурная по форме, и малолетний наследник слушал ее внимательно, слегка, впрочем, огорченный серьезностью слов, исходивших из этих улыбчивых уст. Но Христиан, человек минуты, натура донельзя непостоянная, изменчивая, скоро пожалел, что расчувствовался; теперь в голове у него был только отъезд и случайности войны, и в самый последний момент это сожаление и эти думы удержали его от трогательной сцены. Он всем помахал рукой на прощанье, низко поклонился королеве и вышел.

Если бы Элизе Меро в течение трех лет близко не наблюдал семейную жизнь Христиана и Фредерики, в которой не было лада из-за позорных слабостей Христиана, из-за его низких поступков, он ни за что бы не узнал завсегдатая Большого клуба, по прозвищу Забавник, в том мужественном и самолюбивом государе, который сейчас, когда они мчались на Лионский

вокзал, делился с ним своими планами, замыслами, своими продуманными и широкими политическими взглядами.

Роялистская вера учителя, к которой неизменно примешивалась известная доля суеверия, видела в этой перемене перст Божий, преимущество особы королевского рода; в роковую минуту король непременно скажется, ибо в нем проснется помазанник Божий, в нем заговорит наследственность. И это нравственное возрождение Христиана, предшествовавшее другому, которое должно было наступить, его предвещавшее, причиняло Элизе необъяснимую, непонятную ему самому боль, будило в нем благородную ревность, а откуда в нем такое чувство - в это ему не хотелось углубляться. Пока Лебо брал билеты и сдавал багаж, Христиан и Элизе расхаживали по обширному залу ожидания, и этот таинственный ночной отъезд напомнил Христиану о Шифре, о нежных проводах на вокзале Сен-Лазар. Под влиянием нахлынувших воспоминаний он взглянул на проходившую мимо женщину: да, она одного с ней роста, и что-то общее в походке - скромной и вместе с тем кокетливой…

Бедный Христиан, бедный король поневоле!

Но вот Лебо отворяет дверцу, и Христиан в вагоне; чтобы не возбуждать подозрений, в общем вагоне. Он садится в уголок; ему не терпится как можно скорее покончить с прошлым, быть уже далеко. А между тем отрыв от прошлого происходит слишком медленно, и это его нервирует. Раздается свисток, поезд вздрагивает, потягивается, и вот он уже с грохотом подскакивает на мостах и, миновав спящие пригороды, темноту которых пронзают выстроившиеся в ряд фонари, вырывается на полевой простор. Христиан облегченно вздыхает; он чувствует себя уверенно, чувствует, что он спасен, что он в безопасности. Будь он один в вагоне, он бы, кажется, запел. Но там, у другого окна, явно не желая привлекать к себе внимание, забилась в угол, съежилась чья-то маленькая черная тень. Это женщина. Но какая она? Молодая, старая, уродливая, красивая? Король по привычке покосился на нее. Тень не пошевелилась, шевелятся только крылышки ее шляпки, поджатые, как крылья у спящей птицы. “Спит… Что ж, последуем ее примеру…” Король вытягивается, укрывается пледом; некоторое время он еще смутно различает в окне чуть видные, расплывающиеся очертания кустов и деревьев, как бы опрокидывающихся друг на друга, семафоры, тучи, стремительно

мчащиеся по теплому небу. Но когда его отяжелевшие веки наконец смыкаются, он ощущает на своем лице ласковое прикосновение чьих-то мягких волос, чьих-то опущенных ресниц, ощущает насыщенное запахом фиалок дыхание и слышит шепот у самых своих губ:

- Противный!.. Даже не простился!

Через десять часов Христиан II проснулся от грома пушек, при ослепительном свете ясного деревенского солнца, лучи которого проникали сквозь шептавшуюся листву. Он только что ехал верхом, осыпаемый градом картечи, впереди своего войска по крутой горной тропе, идущей от дубровникской гавани к крепости. Но это было во сне, а в действительности он лежал на широкой кровати, в постели, развороченной, точно поле сражения, в глазах и в голове у него стоял туман, во всем своем разомлевшем теле он ощущал приятную усталость. Что же с ним произошло? Мало-помалу он огляделся и все вспомнил. Он находился в Фонтенебло, в гостинице “Фазан”, и смотрел в окно, в которое была видна на голубом фоне покрытая лесом гряда гор; что же касается орудийного грохота, то это была учебная стрельба. И воплощением живой яви, олицетворенной связью его впечатлений была Шифра, - она сидела за одним из тех неизбежных письменных столов, какие теперь можно встретить только в гостиницах, и что-то быстро писала скрипучим пером.

Увидев в зеркале восхищенный, благодарный взор короля, Шифра, не двигаясь, не оборачиваясь, ответила ему нежным взглядом и воздушным поцелуем, который она ему послала на кончике пера, и преспокойно продолжала писать, улыбаясь одними углами ангельски невинного ротика.

- Я посылаю депешу своим, чтобы они не волновались… - сказала она, вставая.

Как только слуга взял депешу и вышел, Шифра, у которой не было теперь никаких забот, растворила окно, и в комнату, точно вода из шлюза, хлынул яркий солнечный свет.

- Боже, как хорошо!..

Она подсела к своему возлюбленному. Ей было весело, ей безумно

хотелось, воспользовавшись чудным днем, подышать деревенским воздухом, погулять в лесу. У них еще оставалось много времени, - они приехали сюда с ночным поездом, и с таким же поездом Христиан должен был выехать нынче ночью один, так как Лебо он отправил вперед предупредить Эсету и его дворян о том, что высадка задерживается на сутки. Влюбленный славянин предпочел бы, чтобы это блаженство длилось здесь, за задернутыми занавесками, длилось до последнего часа, до последней минуты. Но женщины романтичнее мужчин. И вот тотчас после завтрака наемное ландо повезло их по дивным аллеям, между правильной формы лужаек, между рассаженных в шахматном порядке деревьев, делающих здешний лес похожим на версальский парк, и сходство это сохраняется до тех пор, пока за грядой скал не начнется живописная глушь. Это была первая совместная прогулка Христиана и Шифры, и Христиан наслаждался кратковременным счастьем накануне лютой битвы и возможной гибели.

Они ехали под неоглядным зеленым сводом, откуда легкими неподвижными прядями свешивалась листва буков, пронизанная лучами высоко стоявшего в небе солнца, которому трудно было пробивать многоярусную, первобытно буйную зелень. Поэтическая душа, жившая в славянине, расцветала под этим кровом, где весь горизонт заслонял ему профиль любимой женщины, где он предавался воспоминаниям о ее ласках, лишь о них мечтал, их жаждал. Жить бы вдвоем, только вдвоем, в домике лесника, крытом соломой и мохом, а внутри чтобы это было уютное, роскошно обставленное гнездышко!.. Он допытывался, когда она его полюбила, какое впечатление он произвел на нее при первой встрече. Он читал и переводил ей стихи иллирийских поэтов и в лад стихам нежно целовал ее в глаза и в шею, а она слушала, притворялась, что понимает, что-то лепетала, а глаза у нее слипались после бессонной ночи.

Вечная нестройность любовного дуэта! Христиана тянуло в места уединенные, безлюдные, Шифра, напротив, выискивала в лесу чем-нибудь знаменитые уголки, снабженные ярлычками достопримечательности, вокруг которых настроили кабачков, лавочек, где торгуют изделиями из можжевельника, настроили хижин и лачуг, откуда, заслышав издали стук колес, выбегают составляющие особое племя проводники и предлагают показать дрожащие камни, плачущие скалы и деревья, в которые ударила молния. Шифра надеялась таким образом избежать скучной однотонной песни любви, а Христиан восхищался трогательным терпением, с каким

она слушала длиннейшие рассказы добрых поселян, у которых так много свободного времени и которые поэтому все делают не торопясь.

Во Франшаре ей захотелось напиться воды из знаменитого, бывшего монастырского, колодца, такого глубокого, что ведро с водой вытаскивается из него около двадцати минут. Христиана это очень забавляло!.. Тут же добрая женщина, увешанная медалями, как старый жандарм, показала им красивые места, показала болото, на берегу которого в старину разделывали тушу убитого на охоте оленя; она столько лет подряд рассказывала одно и то же, в одних и те же выражениях, что ей уже стало казаться, будто и она когда-то жила в монастыре, а триста лет спустя, в эпоху Первой империи, присутствовала при увеселениях, которые устраивал двор на лоне природы.

- Здесь, господа, великий император сиживал по вечерам со своей свитой.

Она показывала в кустах вереска каменную скамью, на которой могло усесться человека три-четыре, и с особенной важностью продолжала:

- Напротив садилась императрица с придворными дамами…

Вызванные из небытия громкие титулы зловеще звучали среди осыпающихся скал, поросших кривыми деревьями и сухим дроком.

- Поедем дальше, Шифра!.. - торопил Христиан, но Шифра засмотрелась на площадку, куда, по словам чичероне, приводили маленького короля Римского, и он на руках у гувернантки издали протягивал ручонки своим августейшим родителям. Призрак малолетнего принца напомнил иллирийскому королю его маленького сына. Среди этой суровой природы возник Цара - он сидел на руках у Фредерики и смотрел на него большими грустными глазами, как бы спрашивая, что он тут делает. Но смутное напоминание о долге Христиан сумел быстро в себе заглушить. И опять они ехали под сенью то высоких, то низкорослых дубов, мимо охотничьих домиков, на которых были начертаны славные имена, по травянистым ложбинам, по дорогам, которые вились над громоздившимися одна на другую гранитными глыбами, над провалами, на дне которых сосны распахивали краснозем своими крепкими, вылезшими на поверхность корнями.

Наконец они выехали на окутанную непроницаемым мраком лесную дорогу с глубокими колеями, в которых так и стояла вода. По обеим сторонам дороги ряды деревьев, точно ряды колонн, образовывали нечто вроде церковного нефа, в тишине которого слышался лишь топот убегающей лани да шорох сухих листьев, червонцами устилавших землю. Бесконечной грустью веяло от высоких стволов, от леса без птиц, пустынного и гулкого, как покинутый дом. Христиан все еще пылал страстью, но чем ближе к вечеру, тем все гуще становились в его страсти тона печали и скорби. Он сказал Шифре, что перед отъездом составил завещание, и поделился с ней чувством, которое он испытал, оттого что должен был в расцвете сил объявлять свою волю как бы из могилы.

- Да, занятие невеселое… - думая о другом, проговорила Шифра.

Но Христиан был так уверен в ее любви, он так привык быть любимым, что не обратил внимания на ее рассеянность. Он даже стал заранее утешать ее на случай, если с ним произойдет несчастье, и дал совет, как ей быть без него: продать дом, поселиться в деревне и жить воспоминаниями. Толковал он обо всем этом с очаровательным фатовством, искренне и простодушно, да ведь ему и в самом деле теснила сердце печаль разлуки, он только принимал ее за предчувствие смерти. Держа Шифру за руку, он тихим голосом говорил ей о загробной жизни. На шее у него висел образок Божьей Матери, с которым он никогда не расставался. Он снял его и отдал ей. Можете себе представить, как счастлива была Шифра!..

Вскоре артиллерийский лагерь, видневшийся сквозь ветви деревьев, ряды серых палаток, легкий дым, распряженные и стреноженные на ночь лошади дали мыслям короля другое направление. Мельканье мундиров, ученье на чистом воздухе, под лучами заката, заражающий своей бодростью вид солдат - вся эта бьющая ключом лагерная жизнь пробуждала в короле инстинкты кочевого воинственного племени. Экипаж, катившийся по зеленому ковру широкой дороги, привлекал внимание солдат, занятых устройством палаток и варкой супа. Они с улыбкой смотрели на “шпака” и его пригожую спутницу, а Христиану хотелось заговорить с ними, обратиться к ним с приветствием, он жадно ловил взглядом между рядами деревьев границу лагеря. Затрубил рожок, другие ему ответили. Неподалеку от палатки одного из старших офицеров на валу взвивался на дыбы, раздувал ноздри и ржал при воинственных звуках рожка арабский, редкой красоты, конь с развевавшейся на ветру гривой.

Глаза у славянина заблестели. Еще несколько дней, и какая яркая начнется для него жизнь, как хорош он будет с саблей в руке! Жаль, что Лебо уехал в Марсель и увез его вещи. Ему так хочется показаться Шифре в генеральском мундире! Воодушевившись, он уже рисовал себе взятые с бою города, бегущих республиканцев, свой триумфальный въезд в Любляну по расцвеченным флагами улицам. И Шифра будет там с ним, это уже решено. Он ее туда выпишет и поместит в дивном дворце у городских ворот. Они будут видеться так же свободно, как в Париже. Шифра почти никак не отзывалась на эти фантазии Христиана. Конечно, она бы предпочла, чтобы он принадлежал ей всецело, и Христиан ценил ее молчаливое самопожертвование, показывавшее, что она достойна своего высокого положения - положения королевской любовницы.

Ах, как он любил ее и как незаметно пролетело время в гостинице "Фазан", в красной комнате, где длинные светлые занавески отгородили их от летнего вечера в маленьком городишке с редкими фонарями, с неизменным шушуканьем у ворот, с гуляющими, которые быстро расходятся по домам, стоит только трубам и барабанам проиграть вечернюю зорю. Сколько поцелуев, страстных объятий, пламенных клятв прибавилось к поцелуям и клятвам, звучавшим минувшею ночью здесь, в этой комнате, за банальнейшим пологом! В сладком изнеможении, прижавшись друг к другу, они слышали, как громко стучат их сердца, как шелестит в ветвях деревьев и колышет занавески теплый ветер, как, словно в арабском патио, журчит фонтан в садике при гостинице, где красным мерцающим светом горела в конторе одна на все здание лампа.

Час ночи. Пора ехать. Христиан боялся острой боли последней минуты; он полагал, что ему надо будет преодолевать силу женских просьб и ласк, что ему надо будет призвать на помощь все свое мужество. Но у Шифры любовь была на втором плане, больше всего она дорожила честью своего венчанного любовника, а потому была готова еще раньше Христиана и объявила, что поедет провожать его на станцию… Если бы Христиан слышал вздох облегчения, который вырвался у этой бессердечной твари, когда, очутившись одна на платформе, она увидела, что два зеленых глаза змеившегося поезда погасли во тьме! Если бы он знал, как весело ей было трястись в пустом омнибусе, ехавшем по выбитой мостовой Фонтенебло, - весело при мысли, что остаток ночи она проведет в гостинице одна, если бы он подслушал, каким невозмутимым, без малейшего намека на волнение страсти, тоном говорила она себе:

- Лишь бы Том успел!..

Том, разумеется, успел, потому что когда Христиан II, по прибытии поезда в Марсель, с чемоданчиком в руке стал выходить из вагона, то, к великому его изумлению, ему преградил дорогу человек в плоской фуражке с серебряным галуном и чрезвычайно вежливо предложил зайти на минутку к нему в кабинет.

- Зачем?.. Кто вы такой? - громко спросил король.

Плоская фуражка назвала себя:

- Я начальник железнодорожной охраны!..

В кабинете начальника сидел префект Марселя, бывший журналист, с рыжей бородой, с живым и умным лицом.

- К сожалению, государь, я уполномочен вам объявить, что ваше путешествие должно окончиться здесь… - подчеркнуто любезным тоном заговорил префект. - Правительство моей страны не может допустить, чтобы государь, воспользовавшись гостеприимством, которое ему оказала Франция, составлял заговор и поднимал вооруженное восстание против дружественной нам державы.

Король пытался возражать, но префект досконально знал весь план экспедиции:

- Вы должны были сесть на корабль в Марселе, а ваши сообщники - в Сетте, на пароход “Джерси”… Высадку предполагалось произвести в Гравозе. Сигнал: две ракеты - одна с парохода, другая с суши… Как видите, мы располагаем точными сведениями… В Дубровнике осведомлены не хуже, чем мы, так что я избавил вас от самой настоящей ловушки.

Христиан II недоумевал: кто мог сообщить французским властям такие подробности? Ведь об этом знали только он, Эсета, королева и еще одна женщина, но она была, конечно, вне подозрений.

Префект улыбался в свою рыжую бороду:

- Полноте, государь, покоритесь судьбе! Вас постигла неудача. В другой раз вы будете счастливее, а кроме того - осторожнее… Ну, а теперь, ваше величество, пожалуйте ко мне в префектуру, - там вы найдете надежное убежище. Вам больше негде спрятаться от назойливого любопытства. В городе всё про вас знают…

Христиан ответил не сразу. Он окинул взглядом тесное служебное помещение, убогую казенную обстановку: зеленое кресло, зеленые папки, фаянсовую печь, огромные карты, изборожденные линиями железных дорог… Так вот где суждено разбиться его героической мечте, вот где суждено отзвучать последним отголоскам песни о Родойце! Сам себе он напоминал воздухоплавателя, мечтавшего взлететь выше гор и почти сейчас же упавшего на крышу крестьянской лачужки: его аэростат спустил воздух и имеет теперь самый жалкий вид, ибо это уже не аэростат, а самый обыкновенный чехол из прорезиненного холста.

Христиан, однако, принял предложение префекта и вынужден был признать, что свою квартиру префект обставил на столичный манер и что его супруга - прелестная женщина, да к тому же еще отличная музыкантша: после обеда, за которым обсуждались новости дня, она села за фортепьяно и проиграла все недавно полученные из Парижа пьесы. У нее был красивый голос, приятная манера петь; в конце концов Христиан подсел к ней и заговорил о музыке, об опере. Вместе с “Царицей Савской” и “Продавщицей духов” на фортепьяно лежали “Иллирийские напевы”. Жена префекта спросила короля, в каком темпе должны исполняться иллирийские народные песни и каковы их отличительные особенности. Христиан II напел ей “Очи, как летнее небо, лазурные” и “Заплетайте косы, девицы, да послушайте меня”.

А в то время как он, облокотившись на фортепьяно, обаятельный, томный, подчеркивал голосом скорбное звучание песен и принимал скорбные позы изгнанника, - там, на море Иллирии, чьи напевы далеко окрест разносили волны, отделанные белоснежным кружевом пены, и

ощетинившиеся кактусами берега, прекрасная восторженная молодежь, которую Лебо не счел нужным предупредить, весело держала курс на гибель, восклицая: “Да здравствует Христиан Второй!”

XIII

В часовне

”Родная моя!

Наше дело разбирал военный трибунал в театре Корсо, и после десятичасового заседания г-на де Эсета и меня снова препроводили в дубровникскую крепость. На этом заседании нас единогласно приговорили к смертной казни.

Представь себе, на душе у меня стало легче. По крайней мере теперь нам ясно, что нас ожидает, и мы уже не в одиночке. Я читаю твои дорогие письма и могу написать тебе. А то меня больше всего угнетала полная неизвестность. Ведь я ничего не знал ни о тебе, ни об отце, ни о короле, - я думал, что он пал жертвой какой-нибудь военной хитрости. По счастью, для его величества это было неудачное приключение, и только, да еще он потерял нескольких верных слуг. Могло бы выйти хуже.

О том, как было дело, вы, конечно, знаете из газет. Случилось что-то непонятное, из-за чего контрприказ короля до нас так и не дошел, и в семь часов вечера мы были в условленном месте, у подветренных островов. Мы с Эсетой - на палубе, остальные - в рубке, все как один вооруженные, все в военной форме, у каждого на фуражке твоя хорошенькая кокарда.

Крейсируем час, два, три. Ничего не видно, кроме рыбачьих лодок да больших сторожевых фелюг. Темнеет, над морем поднимается туман, это может помешать нашей встрече с государем. После долгого ожидания мы склоняемся к мысли, что, вернее всего, пароход его величества, не заметив нас, прошел мимо и пристал к берегу. В самом деле, с берега, как раз с той его точки, где должны ждать нашего сигнала, взвивается к небу ракета. Это означает: “Высаживайтесь”. Никаких сомнений: король там. Скорее к нему!

Местность я знал хорошо (сколько раз я охотился там на уток!) и потому принял на себя командование первой шлюпкой; Эсета командовал второй, г-н де Мирмон - третьей, с парижанами. Иллирийцы, все до одного, находились на моем судне, и сердца наши бились особенно сильно. Ведь встававший из тумана черный берег с вертящимся красным огоньком гравозского маяка - это же наша родина! Однако почему так жутко молчит берег? Бушуют волны, вяло хлопают мокрые паруса, но не слышно ни малейшего шороха, которым непременно выдает себя даже притаившаяся толпа: кто-нибудь нечаянно звякнет оружием, кто-нибудь да переведет дыхание.

- Я вижу наших!.. - шепчет мне Джордже.

Мы прыгаем на сушу; оказывается, то, что мы принимали за королевских добровольцев, - это кактусы и ряд посаженных вдоль берега берберийских смоковниц. Иду вперед. Никого. Но в песке вмятины, следы чьих-то ног. Я говорю маркизу:

- Что-то подозрительно!.. Вернемся на суда.

К несчастью, подоспели парижане. А разве их удержишь!.. Рассыпались

по берегу, обшаривают заросли, кусты… Вдруг огонь, ружейная трескотня, крики: “Измена!.. Измена!.. Отчаливай!” Бежим к шлюпкам. Сгрудились, как стадо баранов, толкотня, давка, сумятица, ноги вязнут в песке… При свете как раз к этому времени взошедшей луны мы увидели, что наши английские моряки изо всех сил гребут к пароходу, и тут поднялась безобразная паника… Впрочем, длилась она недолго. Эсета первый с револьвером в руке ринулся на врагов:

- Avanti!.. Avanti! [26 - Вперед!.. Вперед!.. (итал.)]

Ах, что за голос! Он прокатился по всему взморью. И мы устремились вслед за Эсетой… Но силы у нас были неравные: полсотни добровольцев против целого войска!.. Нам оставалось одно - погибнуть. И все наши так и поступили - умерли геройской смертью. Поццо, Мелида, маленький Сорис, твой прошлогодний поклонник, Генрих Требинье, кричавший мне во время самой жаркой схватки: “Эй, Герберт! Тут только гузл не хватает!..”, Иоанн Велико, рубивший головы врагам и при этом во все горло распевавший “Родойцу”, - все полегли. Я видел их на берегу - они лежали на песке и смотрели в небо. Волны прибоя, верно, уже унесли в море славных участников нашего последнего бала!.. А вот мы с маркизом оказались менее удачливыми: только мы двое и уцелели; нас схватили, скрутили нам руки, связали, посадили обоих на одного мула и доставили в Дубровник, и дорогой твой Герберт рычал от бессильной ярости, а Эсета совершенно спокойно повторял:

- Это было неизбежно!.. Я так и знал!..

Чудак! Как мог он знать заранее, что нам устроят ловушку, засаду, что, когда мы сойдем на берег, нас будут расстреливать в упор пулями и картечью? А если знал, так зачем же он нас сюда завез? Как бы то ни было, мы разбиты, придется все начинать сначала, но уж вперед надо быть осторожнее.

Твои дорогие письма, которые я все время читаю и перечитываю, мне наконец объяснили, почему так затянулось следствие по нашему делу, почему так часто наведывались в крепость разные судейские чины, почему моя жизнь и жизнь маркиза явилась предметом длительной торговли, чем были вызваны все эти приливы и отливы, вся эта проволочка. Негодяи временно держали нас в качестве заложников, рассчитывая на то, что король, не пожелавший отказаться от престола за сотни миллионов, отречется, чтобы спасти жизнь двум своим верным слугам. И ты на него сердишься, моя дорогая; ослепленная любовью ко мне, ты удивляешься, почему мой отец не замолвил словечко за сына. Но разве Розен способен на такую низость?.. А между тем бедный старик меня любит, моя смерть будет для него страшным ударом. Ты обвиняешь государя и государыню в черствости, но мы не смеем осуждать их за ту высшую точку зрения, с какой они распоряжаются судьбами людей. Их обязанности и права не укладываются в обычные рамки. Обратись к Меро - уж он тебе растолкует как нельзя лучше! Я все это чувствую, да вот беда - выразить не умею. Все это у меня в груди, а наружу вырваться не может. У меня язык неповоротливый. Сколько раз это мне мешало в отношениях с тобой! Ведь я тебя так люблю, но у меня никогда не хватало слов, чтобы высказать тебе свою любовь. Нас разделяет столько миль, да еще такая толстая железная решетка, но вот и сейчас, стоит мне представить себе твои прекрасные серые глаза, глаза настоящей парижанки, твой лукавый ротик, твой носик, который всегда морщится, когда ты посмеиваешься надо мной, и я теряюсь, робею.

И все же, прежде чем покинуть тебя навеки, я считаю своим долгом чистосердечно тебе признаться, что никого на свете я не любил так, как тебя, что я начал жить с того дня, когда я впервые тебя увидел. Помнишь, Колетта? Это было в магазине на Королевской, у Тома Льюиса. Мы встретились с тобой будто бы случайно. Ты пробовала фортепьяно, ты играла и напевала что-то очень веселое, а мне почему-то захотелось плакать… И я в тебя влюбился… Ну, кто бы мог подумать! Парижский брак, брак через агентство, превратился в брак по любви! И с тех пор я ни в свете, ни в каком-либо другом обществе не встречал женщины столь же обворожительной, как моя Коллета. Можешь не сомневаться: ты всегда

была со мной, даже когда мы расставались. Бывало, только вспомню твою милую мордочку - и сразу повеселею, сижу один в комнате и хохочу. Да, да, со мной всегда это случалось при мысли о тебе, мне всегда хотелось смеяться от умиления… По правде сказать, Колетта, положение наше ужасно, а еще ужаснее то, что нам все время стараются об этом напомнить. Мы с Эсетой находимся в часовне. Вернее, это тесная келья с оштукатуренными стенами; здесь стоит престол, за которым для нас перед самой казнью отслужат мессу, подле каждой кровати - гроб, а над кроватью - дощечка с надписью: “Смертник”. Несмотря на это, келья не кажется мне мрачной. Я думаю о моей Колетте и забываю об угрозе смерти. А когда я дотягиваюсь до тюремного окошка, этот чудный край, дорога, идущая вниз от Дубровника к Гравозе, алоэ, кактусы, синее небо, синее море - все мне приводит на память наше свадебное путешествие, горную тропу из Монако в Монте-Карло, звон бубенчиков на шее у мулов, такой же радостный и легкий, как наше счастье. О моя милая женушка, ненаглядная моя спутница! Как ты была хороша и как бы я хотел путешествовать с тобой по возможности дольше!..

Ты видишь, что твой образ всегда со мной и что он все побеждает; он со мной даже на пороге смерти, и он будет со мной в смертный мой час: скоро-скоро нас выведут на расстрел, туда, к Морским воротам, и он будет у меня на груди, в ладанке, - это даст мне силы с улыбкой упасть под выстрелами. Не горюй же, моя родная! Почаще думай о малютке, о нашем будущем ребенке. Береги себя ради него, а когда он уже начнет понимать, скажи ему, что я умер стоя, как полагается солдату, с двумя именами на устах: с именем моей жены и с именем моего короля.

Мне бы хотелось оставить что-нибудь тебе на память о моих последних минутах, но у меня отобрали все ценные вещи: часы, обручальное кольцо, булавку. У меня остались только белые перчатки, которые я берег для въезда в Дубровник. Я их надену, чтобы встретить смерть с честью. Тюремный священник дал мне слово, что потом отошлет их тебе.

Ну, моя дорогая Колетта, прощай! Не плачь! Я тебя об этом прошу, а сам ничего не вижу от слез. Постарайся утешить моего отца. Бедный старик! Как он меня журил, когда я опаздывал на службу! Теперь уж я отслужился!.. Прощай!.. Прощай!.. А ведь мне еще столько надо тебе сказать!.. Нет, довольно, пора идти на смерть. Такая уж у меня судьба!.. Колетта, прощай!

Герберт Розен".

XIV

Развязка

- У вас есть только одно средство, ваше величество.

- Какое же, дорогой Меро?.. Я готов на все.

Меро колебался. То, что он хотел сказать, представлялось ему чрезвычайно важным, - это был разговор не для бильярдной, куда король затащил его сыграть партию после завтрака. Но по удивительной иронии судьбы, преследующей низложенных самодержцев, участь иллирийской монархии решилась именно здесь, у зеленого сукна, по которому в траурной тишине сен-мандэйского дома с глухим, зловещим стуком катались шары.

- Так что же?.. - вытянувшись для того, чтобы достать кием шар, спросил Христиан II.

- Вот что, государь…

Меро подождал, пока Христиан сделает карамболь, который советник Боскович потом благоговейно отметил на доске, и не без смущения

продолжал:

- Иллирийский народ ничем не отличается от других народов, ваше величество. Он преклоняется перед успехом, перед силой, и я боюсь, что роковой исход нашего последнего предприятия…

Король повернул к нему побагровевшее лицо:

- Ближе к делу, дорогой мой… В цветах красноречия я не нуждаюсь.

- Вы должны отречься, государь… - грубым тоном сказал гасконец.

Христиан взглянул на него с изумлением:

- От чего отречься?.. У меня же ничего нет… Прекрасный подарок сделал бы я моему сыну… Я уверен, что он предпочел бы новый велосипед, чем неопределенное обещание короны к его совершеннолетию.

Меро сослался на королеву Галисии. Находясь в изгнании, она отказалась от престола в пользу сына. Только благодаря этому дон Леонсьо недавно занял престол.

- Восемнадцать - двенадцать!.. - резко выкрикнул Христиан. - Господин советник! Почему вы не маркируете?

Боскович подпрыгнул, как испуганный заяц, и бросился к доске, а король напряг все свои физические и умственные силы, стараясь бить “от трех бортов”. Элизе смотрел на него, смотрел, и его роялистские убеждения подверглись суровому испытанию: вот он, этот покрывший себя позором, потрепанный франт с открытой костлявой шеей; на нем свободная фланелевая куртка; в глазах у него, на губах, на крыльях носа видны следы желтухи, от которой он еще как следует не оправился и которая продержала его почти целый месяц в постели. Гравозский разгром, горькая участь всех этих молодых людей, душераздирающие сцены, которые разыгрывались в маленьком сен-мандэйском дворе, пока разбиралось дело Герберта и Эсеты, Колетта, валявшаяся в ногах у своего бывшего любовника, чтобы тот спас жизнь ее мужу, дни томительного ожидания, та настороженность, с какой он прислушивался: вот-вот раздастся страшный залп по команде, поданной как бы им самим, а тут еще материальные заботы, первые векселя Пишри, представленные ко

взысканию, - вся свирепость обрушившегося на него злого рока не сломила беспечный нрав славянина, но его здоровье она подорвала.

После очередного карамболя Христиан сделал передышку, тщательно натер мелом кий и, не глядя на Меро, спросил:

- А как смотрит королева на мое отречение?.. Вы с ней не говорили?

- Королева тоже думает, что вам надо отречься, ваше величество.

- А! - слегка вздрогнув, сухо произнес король.

Странно устроен человек! Христиан обиделся на женщину, которую он не любил, чьей недоверчивой холодности и ясного взгляда он побаивался, которую он обвинял в том, что она все время видит в нем короля, что она надоедает ему постоянными напоминаниями о его правах и обязанностях, - обиделся за то, что она уже не верит в него, что она жертвует им ради счастья сына. Разумеется, он не ощущал боли обманутой любви, это не был для него удар в самое сердце, от которого хочется кричать на крик, - нет, он ощущал холод, какой остается у нас в душе после измены друга, после того как мы утратили чье-нибудь доверие.

- А ты как думаешь, Боскович? - неожиданно обратился король к советнику, который всем своим скопческим, встревоженным лицом напряженно следил за мимикой Элизе Меро.

Вместо ответа у ботаника вырвался быстрый жест участника итальянской пантомимы: он развел руками и втянул голову в плечи; это было безмолвное chi lo sa? [27 - Как знать? (итал.)], до того несмелое, до того ни к чему не обязывающее, что король не мог удержаться от смеха.

- Выслушав мнение нашего совета, мы изъявляем согласие отречься когда угодно, - насмешливо проговорил он в нос.

Затем его величество с еще большим увлечением принялся загонять шары в лузы, что было совсем не на руку Элизе, горевшему нетерпением уведомить королеву об успехе переговоров, которые ей не хотелось вести самой, ибо призрак короля все еще внушал ей уважение, - протягивая руку к опостылевшей ему короне, она чувствовала, что рука у нее дрожит.

Через несколько дней после разговора Меро с Христианом состоялось отречение короля от престола. Начальник военной и гражданской свиты короля стоически предложил для этой церемонии, которую полагается обставлять наивозможной пышностью и которая требует строжайшего соблюдения всех формальностей, великолепную анфиладу своих комнат. Но гравозская трагедия была еще слишком свежа для зал, где еще не смолкло эхо последнего бала. В самом деле, всем было бы там очень тяжело, в этом могли бы усмотреть дурное предзнаменование для будущего царствования. Несколько французских и иллирийских благородных семейств, подпись которых была необходима на имевшем такое огромное значение акте, пригласили в Сен-Мандэ.

К двум часам дня кареты начали съезжаться, звонки раздавались один за другим, приглашенные медленно поднимались по длинным коврам, разостланным от входа в залу до самого крыльца, и у входа их встречал затянутый в генеральский мундир герцог Розен, с лентой Большого иллирийского креста на шее, поверх всех своих орденов, с той самой лентой, которую он, никому ни слова не сказав, перестал надевать, как только до него дошла скандальная история с парикмахером Бискара, носившим точно такой же знак отличия поверх своей куртки “Фигаро”. На рукаве и на эфесе шпаги у Розена чернел длинный, совершенно новый креп, но еще более знаменательным, чем креп, было то, что Розен по-стариковски тряс головой, как бы бессознательно отвечая на все: “Нет, нет…” - эта привычка осталась у него со времени происходивших при нем и надрывавших ему душу споров из-за помилования Герберта, - споров, в которых он наотрез отказался участвовать, невзирая на мольбы Колетты и подавляя бунтовавшее в нем отцовское чувство. Казалось, его маленькая трясущаяся головка, похожая на головку пустельги, не выдержала этого противоестественного отказа, и в наказание за отказ он осужден с той поры говорить “нет” всякому впечатлению, всякому чувству, даже самой жизни, ибо ничто уже не трогало, ничто уже не занимало его после трагической гибели сына.

Была здесь и княгиня Колетта в свидетельствовавшем о ее хорошем вкусе, отделанном блондами черном платье, и с таким же достоинством, с каким она носила траур, носила она и свое вдовство, озаренное надеждой, которая проглядывала в ее располневшей фигуре, в более медленной, чем прежде, походке. Даже в горе - а гибель Герберта была для нее настоящим горем - эта мелкая душонка модистки, заполненная разным вздором и не

переродившаяся после жестокого удара судьбы, благодаря будущему ребенку находила удовлетворение своему кокетливому тщеславию во всякой мишуре. Великолепное детское приданое, с ленточками, с кружевцами, на котором она вышивала княжескую корону, а под ней оригинальный вензель, - все это отвлекало Колетту от печальных дум. Мальчика она назовет Венцеславом или Витольдом, дочку - Вильгельминой; во всяком случае, имя ребенка будет на букву W, потому что эта буква аристократическая, и на белье она выйдет очень красиво.

Колетта делилась своими планами с г-жой Сильвис, как вдруг раздался стук алебарды, вслед за тем распахнулась дверь, и слуга доложил о приезде князя и княгини Требинье, Сорис, герцога Джордже, герцогини Мелида, графов Поццо, Мирмона, Велико… Казалось, будто звонкое эхо донесло из Гравозы, с окровавленного побережья, имена юных жертв. Но еще более тяжелое впечатление, несмотря на принятые меры, несмотря на пышные ливреи, на новые обои, производило то, что все приглашенные были тоже в глубоком трауре, и это сообщало церемонии что-то фатальное, что-то похоронное: на всех были черные одежды, черные перчатки; женщины чувствовали себя связанно в мрачных шерстяных платьях, замедлявших походку, сковывавших движения. То был траур стариков, отцов и матерей, еще более темный, еще более гнетущий, еще более несправедливый, чем всякий другой. Многие из этих несчастных сегодня в первый раз после катастрофы выехали из дому; их извлекла из уединения, из затвора преданность династии. Они выпрямлялись при входе, призывали на помощь все свое мужество. Но когда эти зловещие зеркала одного и того же горя смотрелись друг в друга, то головы их сами собой опускались, плечи вздрагивали и поджимались, каждый чувствовал, что к его глазам подступают слезы, и видел слезы на глазах у другого, каждый чувствовал, что из груди его просится вздох, и слышал, как кто-то рядом с трудом удерживается от вздоха. И скоро нервное состояние передалось всем, зала наполнилась протяжными рыданиями, вдруг переходившими в крик, подавленными стонами. Не плакал один лишь старик Розен, - высокий, негнущийся, непреклонный, он продолжал делать неумолимый знак головой: “Нет, нет… он должен умереть!..”

Вечером в кафе “Лондон” его королевское высочество принц Аксельский, который тоже был приглашен подписать акт, рассказывал, что у него было такое чувство, как будто он присутствует на похоронах по первому разряду, как будто вся семья в сборе и ожидает выноса. В самом

деле, наследный принц вначале имел там жалкий вид. Всеобщее безмолвное отчаяние стесняло, оледеняло его, он с ужасом глядел на всех этих старых парок - и вдруг увидел маленькую княгиню Розен. Героиня знаменитого завтрака на набережной Орсе возбудила его любопытство, и он поспешил подсесть к ней. В глубине души весьма польщенная его вниманием, Колетта улыбалась его высочеству грустной сентиментальной улыбкой, не подозревая, что в это самое время обращенный на нее взгляд его серо-зеленых тусклых глаз снимает совершенно точную мерку с костюма разносчика, некогда плотно облегавшего ее аппетитную фигурку.

- Господа! Король!

Христиан II, бледный как полотно, с озабоченным лицом, вошел первым, ведя за руку сына. Малолетнему принцу заранее внушили, что ему надлежит быть серьезным, и это ему явно шло, а черная куртка и длинные панталоны, которые он сегодня надел в первый раз и в которых он выступал не без гордости, со степенной грацией подростка, усиливали общее впечатление серьезности. Вслед за ними появилась королева; она была очень хороша в отделанном кружевами ослепительном сиреневом платье и по своей душевной прямоте не могла сдержать той радости, которая так же ярко сверкала среди окружавшей ее скорби, как сверкало ее светлое платье на фоне траурных одежд. Она была так счастлива, так эгоистически счастлива, что ее не тянуло склониться перед возвышенным страданием тех, кто явился нынче по ее зову, и она не замечала ни раскачивавшихся деревьев в саду, ни запотевших окон, ни пасмури, как всегда, на неделе Всех Святых затягивавшей холодною мглой низкое сырое небо. Этот день остался в ее памяти ясным и теплым. Как верно подмечено, что все внутри нас и что внешний мир преображают и окрашивают наши чувства с их причудливыми переливами красок!

Христиан II стоял у камина, справа от него - граф Цара, слева - Фредерика, поодаль за письменным столом сидел Боскович в мантии королевского советника. Как только все разместились, король еле слышно заговорил о том, что он намерен подписать отречение и объявить своим подданным, что его на это подвигнуло. Потом поднялся с места Боскович и своим невнятным, тоненьким голоском прочел обращение Христиана к народу, в котором сжато, в общих чертах, излагалась история его царствования, говорилось о надеждах первых лет, о последовавших затем разочарованиях и недоразумениях, что в конце концов и побудило короля

отойти от государственных дел и вверить своего сына великодушию иллирийского народа. Краткое послание, в каждой фразе которого чувствовалась хватка Элизе Меро, Боскович читал без всякого выражения, точно определитель растений, и это давало возможность мысли слушателей уловить все, что было ненужного, пустопорожнего в отречении изгнанного государя, в передаче несуществующей власти, в передаче всеми отрицаемых и никем не признаваемых прав. Самый акт отречения огласил вслед за тем король, и составлен он был следующим образом:

”Мы, Христиан Второй, король Иллирийский и Далматинский, великий князь Боснийский и Герцеговинский, и прочая, и прочая, объявляем, что мы по своей доброй воле и без всякого постороннего влияния оставляем и передаем нашему сыну Карлу-Алексею-Леопольду, графу Гетца и Цары, все наши политические права, сохраняя за собой лишь права гражданские, а именно - права родителя и опекуна”.

Как только король кончил читать, все по знаку герцога Розена стали подходить к столу и подписываться. Несколько минут, с промежутками, с паузами, которых требовал церемониал, слышалось шарканье ног, шуршанье материй и прерывистый, с нажимом скрип перьев. Затем началось целование руки.

Шествие открыл Христиан II; исполняя тяжкий для него долг, - отец оказывал почести сыну! - он прикоснулся к тонким пальчикам Цары, и в этом его движении была бьющая на эффект грация, но не благоговение. Зато королева припала к руке сына в страстном, почти молитвенном порыве, - покровительница, наседка становилась верноподданной. Потом наступила очередь принца Аксельского; после него, соблюдая иерархический чин, потянулись важные особы, и чин этот утомил малолетнего короля, хотя его чистые глазки по-прежнему глядели на всех с очаровательным достоинством, а его белая, прорезанная голубыми жилками ручка с четырехугольными ногтями, как у ребенка, который еще играет в детские игры, и с чересчур широкими запястьями, что объяснялось неравномерностью роста, была по-прежнему протянута для поцелуя. Все эти дворяне, как бы ни был для них торжествен момент, несмотря на всю глубину их горя, ни за что не уступили бы своей очереди, зависевшей от титула и от числа зубцов на короне. Меро, спешившего к своему ученику, неожиданно остановил возглас:

- Позвольте, сударь!

Меро попятился и увидел прямо перед собой сердитое лицо страдавшего мучительной одышкой старого астматика князя Требинье, у которого были такие выкаченные глаза, словно он только ими и дышал. Приверженец старых традиций, Элизе почтительно уступил дорогу этому живому мертвецу и подошел к руке последним. Когда он уже отходил, стоявшая рядом с сыном Фредерика, точно мать новобрачной, полагающая, что некоторая доля приветствий и улыбок относится к ней, успела взволнованно и торжествующе прошептать:

- Свершилось!

В ее тоне звучала ничем не омраченная, почти жестокая радость, несказанно приятное чувство облегчения.

Свершилось!.. Это значит, что диадема защищена от торговых сделок и от повреждений. Наконец-то Фредерика может спокойно спать, дышать, жить, теперь ее перестанут терзать дурные предчувствия, которые всегда потом сбывались и которые при каждой роковой развязке давали ей повод говорить, как Эсета: “Я так и знала…” Ее сын не окажется не у власти, ее сын будет королем… Да он уже и сейчас король! Смотрите, какая у него гордая осанка, сколько величавой благосклонности в его взоре!..

Но едва лишь церемония окончилась, всем сразу стало ясно, какой он еще ребенок, ибо Леопольд V, сияя от счастья, бросился к старому Иоанну Велико и сообщил ему важную новость:

- Знаешь, крестный: у меня есть пони!.. Хорошенький маленький пони, мой собственный!.. Генерал будет учить меня ездить верхом, и мама тоже.

Около него теснились подданные, склоняли перед ним головы, смотрели на него с обожанием, а в это время Христиан, в общем одинокий, забытый, испытывал странное, непередаваемое ощущение, будто, как только с головы у него сняли тяжесть, как только у него отобрали корону, голове его стало холодно. А голова у него и правда кружилась. Но ведь он уже давно мечтал об отречении! Не он ли проклинал бремя ответственности, которое на него возлагает королевский сан? В таком случае откуда это неприятное состояние, откуда эта грусть - именно сейчас, когда берег поплыл и перед ним открываются новые дали?

- Ну что, мой бедный Христиан? Насколько я понимаю, сегодня ваша очередь принимать в подарок уистити?.. - в виде - своеобразного, впрочем, - утешения шепнул ему принц Аксельский. - Вам повезло… Как бы я был счастлив, если б такая карта выпала мне, если б мне можно было никогда не уезжать из дивного Парижа и не управлять моими белобрюхими тюленями!..

Он еще некоторое время продолжал в том же духе, потом, воспользовавшись тем, что в суматохе никто на них не обращал внимания, оба исчезли. Королева видела, как они уходили, слышала, как со двора выехал фаэтон. Прежде его легкие колеса, удаляясь, всякий раз проезжали по ее сердцу… А какое ей до этого дело теперь? Иллирийского короля парижанки у нее уже не отнимут…

На другой день после событий в Гравозе, в первые мгновения жгучего стыда Христиан поклялся, что с Шифрой у него все кончено. Пока он, мнительный, как все южане, лежал больной, он если и думал о своей возлюбленной, то не иначе как осыпая ее проклятиями, сваливая всю вину на нее, но чуть только дело пошло на поправку, кровь снова в нем заиграла, а когда человек решительно ничего не делает, воспоминания, перемежающиеся мечтами, имеют над ним неодолимую власть, и намерения Христиана переменились. Он начал робко оправдывать эту женщину, он уже видел во всем происшедшем превратность судьбы, неисповедимость путей Провидения, на которое, кстати сказать, католики любят перекладывать тягостную ответственность. Наконец однажды он отважился спросить Лебо, не знает ли он чего-нибудь о графине. Вместо ответа лакей принес массу коротеньких писем, полученных во время болезни Христиана, нежных, пламенных, стыдливых, - это была стая белых голубок, воркующих о любви. Страсть Христиана вспыхнула с прежней силой, и, в надежде тотчас по выздоровлении возобновить роман, прерванный в Фонтенебло, он ответил ей, еще лежа в постели.

А пока что Д. Том Льюис и его супруга приятно проводили время в особняке на Мессинской. Агент по обслуживанию иностранцев не вынес тоски одиночества в Курбвуа. Ему не хватало деловой атмосферы, не хватало торговых оборотов, а главное, ему было необходимо, чтобы Шифра им восхищалась. Помимо всего прочего, он ревновал - ревновал

глупой, неотвязной, мучительной ревностью, застрявшей в нем, точно кость в горле: кажется, проглотил - нет, опять кольнуло! И ведь никому не пожалуешься, не скажешь: “Поглядите, что у меня в горле”. Бедный Том Льюис, угодивший в им же самим поставленный капкан, изобретатель и в то же время жертва “ловкого хода”!.. Особенно его мучила поездка Шифры в Фонтенебло. В разговорах с ней он неоднократно возвращался к этому предмету, но Шифра всякий раз прерывала его вполне естественным смехом:

- Да что с тобой, мой милый Том?.. С чего это тебе в голову взбрело?

Ему ничего не оставалось, как тоже расхохотаться, - ведь он же прекрасно понимал, что все их отношения основаны на дурачестве, на зубоскальстве и что влечение к нему Шифры, влечение потаскушки к прощелыге, моментально пройдет, как только она убедится, что он ревнив, сентиментален, что он такой же “надоедный”, как все остальные мужчины. В глубине души он страдал, он скучал без нее, этого мало - он писал ей стихи. Да, да, этот самый разъезжавший в кебе человечек, этот изворотливый француз, чтобы отвлечься от черных мыслей, написал Шифре стихотворение, сочинил внушенную ему его претенциозным невежеством чудовищную галиматью, вроде той, которую отбирают при обыске у иных заключенных, сидящих в одиночке. Право, если бы Христиан II вовремя не заболел, то вместо него слег бы Д. Том Льюис.

Я предоставляю читателям вообразить радостную встречу паяца с его красоткой и как рады были они пожить некоторое время вдвоем. Том с остервенением отплясывал джигу, кувыркался на ковре. Ни дать ни взять обезьяна в благодушном настроении или Ариэль, которому позволено проказничать в доме. Шифра каталась от смеха; она только немножко стеснялась прислуги, относившейся к “мужу мадам” с глубочайшим презрением. Метрдотель прямо заявил, что он ни за что не станет прислуживать за столом “мужу мадам”, а так как это был изумительный метрдотель, выбранный и присланный Шифре самим королем, то она не

стала с ним спорить, - горничная накрывала супругам в будуаре. Когда к Шифре являлся с визитом Ватле или принц Аксельский, Д. Том Льюис вынужден был прятаться в уборной. Ни один муж не согласился бы на столь унизительное положение, но Том обожал свою жену, и обладал ею он один, да еще в такой обстановке, в которой она казалась ему неизмеримо прекраснее, чем прежде. В общем, он был еще самым счастливым из всей шайки, которая уже проявляла беспокойство из-за отсрочек и задержек. Чувствовался какой-то камень преткновения, какая-то заминка в столь удачно начатом деле. Король ничего не платил по старым векселям, а все только, к великому ужасу Пишри и папаши Лееманса, выдавал новые. Лебо старался их подбодрить:

- Потерпите, потерпите!.. Все будет в порядке… Это дело верное…

Но ведь он-то ничем не рисковал, а у них бумажники были туго набиты векселями на иллирийской государственной бумаге. Бедный “папаша”, растерявший всю свою самоуверенность, каждое утро приходил на Мессинскую к дочке и к зятю за нравственной поддержкой:

- Так вы думаете, наша возьмет?..

И он безропотно учитывал векселя, учитывал без конца, ибо единственным способом догнать убежавшие деньги было посылать за ними вдогонку еще и еще.

В один прекрасный день графиня, собираясь на прогулку в Булонский лес, под отеческим присмотром Тома семенила из своей комнаты в уборную и обратно, а Том, развалившись с сигарой во рту на шезлонге и заложив пальцы за жилет, с наслаждением наблюдал, как эта красивая женщина одевается, как она натягивает перчатки, как она, глядя в зеркало,

принимает те позы, какие будет потом принимать в экипаже. Она была сейчас необыкновенно хороша в шляпе с опущенной на лоб вуалью, в пышном и теплом осеннем платье. На звон ее браслетов, на дрожь гагата, которым была отделана ее накидка, отзывался то веселым перебором сбруи, то сытым фырканьем лошадей дожидавшийся под окнами роскошный выезд, в котором все до последней мелочи было даром иллирийского короля. Сегодня она выезжала вместе с Томом, брала его покататься вокруг озера в первый день парижского осеннего сезона, под хмурым небом, выгодно оттеняющим новые моды и отдохнувшие после долгой жизни на даче лица парижан. Том, весьма элегантный, одетый с чисто английским шиком, предвкушал удовольствие, которое ему доставит таинственная прогулка в двухместной карете, где он будет сидеть, вжавшись в угол, рядом с прелестной графиней.

Барыня готова, можно ехать. Последний взгляд на себя в зеркало.

- Идем!..

Неожиданно внизу отворяется входная дверь, раздается звонок за звонком…

- Король!..

Муж, страшно вращая глазами, мгновенно скрывается в уборной, а Шифра подбегает к окну как раз в ту минуту, когда Христиан II с видом победителя всходит на крыльцо. Он не идет, а парит, за плечами у него выросли крылья. “Как она обрадуется!” - поднимаясь по ступенькам, думает он.

Красотка соображает, что есть какие-то новости, и соответственно настраивается. Для начала она, изумленно и радостно вскрикнув, падает в его объятия, и он кладет ее на козетку и опускается на колени.

- Да, да… Это я… И теперь уже навсегда!

Она смотрит на него большими, безумными от любви и надежды глазами. А он купается, он утопает в том свете, который они излучают.

- Все кончено… Иллирийского короля больше нет. Есть просто человек, который будет любить тебя всю жизнь.

- Это слишком большое счастье… Я боюсь верить.

- На, читай!..

Она берет в руки пергамент, медленно развертывает его.

- Так, значит, ты правда отрекся, Христиан?

- Я сделал еще лучше…

Христиан встает с колен, и, пока Шифра пробегает текст отречения, он

не отрывает от нее взгляда и самодовольно покручивает ус. Однако, видя, что она все еще не улавливает самой сути, он принимается объяснять разницу между отречением безоговорочным и отречением в чью-либо пользу; он доказывает ей, что он и в этом случае свободен от каких бы то ни было обязательств, что он снял с себя всякую ответственность, в то же время не предрешая судьбу сына. Вот только деньги… Но ведь они с Шифрой будут счастливы и без этих миллионов.

Шифра уже не читала, она с хищной улыбкой слушала Христиана, оскалив свои хорошенькие зубки как бы с целью ухватить ими то, что он говорил. Впрочем, она все уже поняла, отлично поняла! У нее уже не было никаких сомнений, что все их мечты разлетелись, что денежки, вложенные в дело, от них уплыли, она ясно представляла себе, как будут злы ее отец, Пишри и вся шайка, оставшаяся на бобах из-за одного неверного шага этого простофили. Она думала о стольких напрасных жертвах, о том, что последние полгода у нее была невыносимая жизнь, что ей до тошноты надоело лгать, что ей осточертели приторные ласки, думала о своем бедном Томе, который сидит сейчас у нее в уборной и старается не дышать, в то время как этот, уверенный в том, что он любим, уверенный в своей неотразимости, уверенный в том, что он победил, что он подавил ее своим великодушием, стоит перед ней и ждет от нее прилива нежности. Это было так смешно, во всем этом была такая глубокая, такая беспощадная ирония!.. Шифра встала, и на нее напал дикий хохот, дерзкий, оскорбительный хохот, от которого к ее щекам мгновенно прилила кровь, - этот смех всколыхнул осадок со дна ее грубой натуры. Проходя мимо остолбеневшего Христиана, она крикнула ему:

- Убирайся вон, болван!

И сейчас же заперлась у себя в комнате тройным поворотом ключа.

Когда Христиан, оставшийся без гроша, без короны, без жены, без

возлюбленной, спускался по лестнице, то вид у него был несколько необычный.

XV

Малолетний король

О магия слов! В шести буквах, составляющих слово “король”, как будто заключена некая кабалистическая сила. С тех пор как ученика Меро стали называть уже не графом Царой, а королем Леопольдом Пятым, он преобразился. Старательный, мягкий как воск, бравший не способностями, а усидчивостью, он начал выходить из пелен, он сбрасывал с себя спячку; он все время находился в состоянии крайнего возбуждения, и этот внутренний огонь закалял его тело. Врожденная лень, привычка развалиться в кресле и попросить кого-нибудь почитать книжку или рассказать сказку, потребность слушать, питаться чужими мыслями - все это сменилось живостью, которую детские игры уже не удовлетворяли. Пришлось старому генералу Розену, разбитому, сгорбившемуся, собраться с силами и дать ему первые уроки стрельбы, фехтования, верховой езды. Трогательное впечатление производил бывший пандур, каждый день, ровно в девять утра, появлявшийся в синем фраке, зажав в руке хлыст, на садовой лужайке, превращенной теперь в манеж, и с видом многоопытного Франкони исполнявший обязанности берейтора при короле, которого он время от времени почтительно поправлял. Маленький Леопольд, серьезный и важный, чуткий к малейшим указаниям берейтора, то ехал рысью, то переходил на галоп, а королева, следя за ним с крыльца, делала замечания, давала советы:

- Держитесь прямее, государь!.. Отпустите поводья!

В иных случаях искусная наездница для большей наглядности бросалась к сыну и показывала различные приемы. И как же Фредерика была счастлива в тот день, когда она на своей лошади, приноравливавшейся к шагу пони, на котором ехал сын, рискнула отправиться с ним в лес! Преодолев материнский страх, она с разбега пустила лошадей крупной рысью, - издали были видны два быстро удалявшихся силуэта: силуэт мальчика и силуэт высокой амазонки, показывавшей ему дорогу, и так они духом домчались до Жуанвиля. После того как ее муж отрекся от престола, в ней тоже произошла перемена. Ей, слепо верившей в Божественное право, казалось, что сан короля охраняет ребенка, что он служит ему щитом. Ее любовь к сыну была все так же сильна и глубока, но теперь она избегала внешних проявлений чувства, оно уже не выражалось у нее в бурных ласках. Вечером она по-прежнему заходила к сыну в комнату, но уже не для того, чтобы удостовериться, хорошо ли Цара укрыт, не для того, чтобы поправить ему одеяльце. Теперь все эти заботы лежали на камердинере, а Фредерика словно боялась изнежить сына, боялась, как бы ее слишком мягкие руки не замедлили развитие его мужской воли. Она приходила к нему только для того, чтобы послушать, как он читает перед сном извлеченную из Книги Царств чудную молитву, которой его научил о. Алфей:

”Господи Боже мой, Ты поставил раба Твоего царем, но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб Твой - среди народа Твоего, который избрал Ты. Даруй же рабу Твоему сердце разумное…”

Звонкий детский голосок звучал все громче и уверенней, в нем слышались властные нотки, слышалась убежденность, тем более трогательная, что молился он в изгнании, в неказистом предместье, за тридевять земель от гадательного трона. Но для Фредерики ее Леопольд уже царствовал, и в свой вечерний поцелуй она вкладывала столько раболепной гордости, столько обожания, столько неизъяснимого благоговения, что Элизе, пытаясь разобраться в этом сложном материнском чувстве, вспоминал старинные святочные песни, которые он слышал на родине, - в них Святая Дева поет над яслями, где лежит младенец Иисус:

Ты Господь и Бог мой,

Я Твоя раба.

В течение нескольких месяцев, в течение всей зимы ничто не омрачило счастья королевы, на ее небе не появилось ни единого облачка. Нечаянно ее покой смутил Меро. Они так долго мечтали об одном и том же, так давно они научились изливать друг другу душу в постоянно встречающихся взглядах, так долго, рука с рукой, шли к единой цели, что в конце концов между ними установились непринужденные отношения, и эта близость духовная и житейская вдруг неизвестно почему начала стеснять Фредерику. Ей уже не удавалось наедине с ним думать о своем, ее пугало то большое место, какое этот чужой ей человек занимал в самых интимных ее мыслях. Быть может, она догадывалась о том, что творится у него в душе? Быть может, ее уже начало обжигать разгоравшееся так близко от нее пламя, которое день ото дня становилось все жарче и опаснее? Женщину в таких случаях не обманешь. Королеве хотелось укрыться от огня, стряхнуть с себя наваждение. Но как? В смятении душевном она обратилась за помощью к постоянному советчику замужней католички - к духовнику.

Когда о. Алфей не вел по деревням роялистской пропаганды, руководил королевой он. На иного человека только взглянешь, и он тебе виден до дна. В этом иллирийском священнике с лицом корсара, в его крови, в его ухватках, в чертах его лица было что-то от ускоков, что-то от этих птиц-разбойников, птиц-буревестников, былых пенителей латинских морей. Сын рыбака из гавани Цара, он вырос у моря, пропах смолой и рыбой, но вот однажды на его красивый голос обратили внимание францисканцы, и он из юнги превратился сначала в певчего, потом все возвышался в монастыре и наконец сделался одним из руководителей конгрегации. Но все же он сохранил в себе свойственную морякам горячность, а кожа его оставалась по-прежнему обветренной - даже холод монастырских стен так и не снял с

нее этого налета. Еще надо отдать ему справедливость: он не был ни ханжой, ни трусом и, когда надо, по серьезному поводу, без колебаний брался за нож, принимал участие в coltellata [28 - Поножовщине (итал.).]. Если ему нужно было срочно заняться политикой, то он утром отбарабанивал молитвы за день, а то и за два вперед. “Так дело скорей будет”, - без тени иронии пояснял он. Цельный как в любви, так и в ненависти, о. Алфей души не чаял в воспитателе, которого он же и ввел в этот дом. Вот почему, когда королева завела с ним разговор о своих переживаниях, о своих сомнениях, он сначала притворился, что не понимает, о чем идет речь. Королева проявила упорство - тогда он вспылил и заговорил с ней грубо, как с обыкновенной грешницей, как с какой-нибудь зажиточной хозяйкой одной из мастерских в Дубровнике…

И не стыдно ей примешивать к благородному делу всякую чепуху? Разве ей есть на что пожаловаться? Разве Меро недостаточно с ней почтителен? Так стоит ли из-за чистого ханжества, из-за кокетства женщины, вообразившей, что она неотразима, лишаться человека, которого, конечно, сам Господь поставил на их пути ради торжества монархии?.. К этому он на языке моряка с итальянской напыщенностью, смягчаемой тонкой улыбкой духовной особы, прибавил, что попутный ветер посылается нам Провидением и что ему не противятся:

- Ставь паруса и выходи в море!

Женщина с самым твердым характером не устоит перед благовидными предлогами. Покоренная монашеской казуистикой, Фредерика пришла к заключению, что она действительно не имеет права отказываться от такого помощника в борьбе за дело ее сына. Ей только надо быть начеку, ей нельзя распускаться. Чем она рискует? Ей без большого труда удалось убедить себя, что она неверно истолковала преданность Элизе, его восторженно-дружеское к ней отношение… А на самом деле он любил ее страстно. Сколько раз он гнал от себя это совершенно особое, глубокое чувство, но оно медленно, окольными путями возвращалось к нему и

наконец с всепобеждающим деспотизмом завоевателя поселилось у него в душе. До сих пор Элизе Меро был уверен, что он не способен любить. В те времена, когда он ходил по Латинскому кварталу и проповедовал роялизм, богемные девицы, не понимавшие ни слова из того, о чем он говорил, по очереди отчаянно влюблялись в его красивый голос, в его горящие глаза, в его идеальной формы лоб, ибо всех Магдалин неудержимо влечет к апостолам. Он наклонялся с улыбкой и срывал то, что ему дарили, но под тонким слоем приветливости и ласковости таил свойственное южанам неодолимое презрение к женскому полу. Прежде чем проникнуть в его сердце, любовь должна была сначала пройти через его упрямую голову. Лишь после того как это совершилось, его восхищение гордой душой Фредерики, восхищение достоинством патрицианки, с каким она переносила свое злополучие, постепенно переросло в тесном доме и в тесном кругу изгнанников, при ежечасном, ежеминутном общении, при том, что они так часто делили горе пополам, в настоящую, хотя и смиренную, скромную, безнадежную страсть, которая теплится вдали, словно свеча бедняка на нижней ступени алтаря.

А равнодушная к безмолвным драмам жизнь шла, по видимости, все так же, и наконец наступил сентябрь. Однажды после завтрака королева предложила герцогу, Элизе и г-же Сильвис, исполнявшей обязанности фрейлины вместо взявшей отпуск маленькой княгини, погулять, и сейчас она шла по саду, вся залитая ярким солнечным светом, и так же светло было у нее на душе. Она вела за собою свиту по тенистым аллеям маленького английского парка, между рядами увитых плющом деревьев, временами оборачивалась и бросала какое-нибудь слово или целую фразу с грациозной решительностью, которая ничуть не вредила ее женской прелести. Сегодня она была особенно оживлена и весела. Утром пришли известия из Иллирии: отречение короля произвело прекрасное впечатление, имя Леопольда V уже приобрело популярность среди сельского населения, Элизе Меро ликовал:

- Я вам предсказывал, герцог, что они будут боготворить маленького короля!.. Понимаете, что я хочу сказать? Дети способствуют возрождению былых привязанностей… Мы как бы дали им новую религию со всей ее

непосредственностью, со всем ее молитвенным жаром…

Быстрым, характерным для него движением обеих рук откинув со лба свои длинные волосы, он начал одну из тех вдохновенных импровизаций, которые совершенно преображали его, - так одетый в рубище, сидящий на корточках, истомленный араб становится неузнаваем верхом на коне.

- Ну, теперь пошел! - со скучающим видом, тихо проговорила маркиза.

А королева, чтобы удобнее было слушать, села на скамейку, под плакучим ясенем. Остальные почтительно окружили ее. Однако постепенно аудитория начала редеть. Первая в знак протеста удалилась г-жа Сильвис - она не упускала случая выразить учителю свое неудовольствие. Герцога вызвали по делу. Фредерика и Элизе остались одни. Элизе этого не заметил и, стоя на свету, скользившем по его благородному, возбужденному лицу, точно по граням твердого камня, продолжал говорить. Он был сейчас обаятелен - это было обаяние ума, влекущее, захватывающее, и оно застигло Фредерику врасплох, так что она не успела скрыть восхищение. Прочитал ли он это в ее зеленых глазах? Испытал ли он потрясение, которое вызывается чьим-нибудь острым чувством, возникающим совсем близко от нас? Как бы то ни было, Элизе забормотал, потом вдруг смешался и, трепеща, охватил потупившуюся королеву, ее золотистые волосы, по которым бегали солнечные зайчики, долгим, жгучим, как признание, взглядом… Фредерике казалось, будто ее пронизывает солнце, только еще более ослепительное, еще сильнее волнующее, чем то, которое в небе, но у нее не было сил отвернуться. И когда, придя в ужас от тех слов, которые уже подступали к его губам, Элизе внезапно отпрянул, она, плененная этим человеком, вся в его магнетической власти, вдруг почувствовала, что жизнь от нее уходит. Это было что-то вроде душевного обморока, и она, обессиленная, уничтоженная, так и осталась сидеть на скамейке… На песке расходившихся в разные стороны аллей колыхались лиловые тени. В чашах фонтана переливалась вода, освежая по-летнему знойный полдень.

В тишине цветущего сада был слышен шелест крылышек, реявший над благоухающими клумбами, и сухой треск карабина - это маленький король стрелял в своем тире, в том конце сада, за которым начинался лес.

В осенении покоя королеву пробудили к жизни гнев, возмущение… Ее ужалил, ее оскорбил взгляд Элизе… Что с ней случилось? Уж не сон ли то был?.. Как может надменная Фредерика, которая некогда в шуме и блеске придворных празднеств отвергала столько поклонников, да еще самых родовитых, самых знатных, она, свято оберегавшая свое сердце, как может она отдать его безвестному человеку, простолюдину? Слезы униженного величия жгли ей глаза. И сквозь путаницу мыслей в ней еле слышно звучали пророческие слова старика Розена: “Богема изгнания…” Да, только изгнание с его пачкающим панибратством позволило этому подчиненному… Однако чувство презрения к нему, которое она вызывала в себе, умерялось признанием его заслуг. Что бы с ними со всеми было, если бы не он? Ей припомнилось волнение первой встречи, когда она, слушая его, оживала. В дальнейшем, пока Христиан гонялся за наслаждениями, кто взялся управлять их судьбой, кто заглаживал неловкости короля, кто скрывал его преступления? И потом эти ежедневные доказательства беспредельной преданности! Делу, которое ему было поручено, он отдавал все свои способности, весь свой темперамент, весь свой яркий талант - отдавал самоотверженно, бескорыстно оставаясь в тени. В конце концов ему удалось воспитать маленького короля, настоящего короля, которым она гордится, будущего властелина Иллирии… В неукротимом порыве благодарной нежности выхватив из прошлого то мгновение, когда она в разгар венсенского праздника оперлась на руку Элизе, королева закрыла глаза, совсем как тогда, и предалась отрадным думам о благородном, преданном сердце, бившемся, как ей казалось, около нее.

Внезапно раздался выстрел, заставивший птиц вспорхнуть на деревья, а за ним последовал крик - такие страшные детские крики слышатся матерям в их беспокойном сне; это был душераздирающий вопль отчаяния, и от него сразу потемнело небо, а сад, пытаясь вместить в себя всю бесконечность страдания, словно расширился. По аллеям забегали люди.

Со стороны тира хриплым, не своим голосом звал на помощь учитель. Фредерика мгновенно очутилась там.

Тир был устроен под зеленою сенью молодых буков, в глубине парка, где вились хмель и глицинии и где трава росла буйно, оттого что земля здесь была тучная. На проволочной сетке висели картонные щиты; в щитах на равном расстоянии одна от другой неумолимо зияли дыры. Мальчик, откинувшись навзничь, неподвижно лежал на земле, и лицо у него было белое-белое, с красным пятном под правым раненым, закрытым глазом, из которого капали не слезы, а кровь. Элизе стоял перед ним на коленях и, ломая руки, кричал:

- Это я!.. Это я!..

Он проходил мимо… Государь попросил его попробовать ружье, и по несчастной случайности пуля, ударившись в железную планку, рикошетом попала в государя… Но королева не слушала Элизе. Влекомая материнским инстинктом, инстинктом спасительницы, она не вскрикнула и не запричитала, - она молча схватила ребенка и понесла его к фонтану. Слуги бросились ей помочь - она жестом приказала не мешать, уперла колено в закраину бассейна, на колено положила безжизненное тело маленького короля и подставила под струю его бледное личико, которое она так любила, его белокурые волосы, зловеще свисавшие, растекавшиеся ручейками до самых посиневших век, и это зловещее красное пятнышко, - вода смывала его, а оно снова и снова проступало между ресниц, все такое же маленькое, но все более яркое. Фредерика не произносила ни слова, она ни о чем не думала. В мокром насквозь, измятом батистовом платье, прилипшем к ее красивому телу, она мраморной наядой склонилась над своим ребенком - она сторожила его. Какая грозная минута, какое жестокое ожидание!.. Наконец вода оживила раненого мальчика, - он вздрогнул, потянулся, точно со сна, и простонал.

- Жив!.. - как безумная, закричала Фредерика.

Только тут она подняла голову и увидела Меро, - его бледное лицо, его пришибленный вид, казалось, молили о прощении. Тогда Фредерика вспомнила все, что она пережила, сидя на скамейке, и это воспоминание слилось у нее с нежданным ужасом случившейся беды и с сознанием своей слабости, скорым возмездием за которую явилось несчастье, постигшее ее ребенка. В ней вспыхнула злоба на этого человека, на самое себя…

- Прочь!.. Прочь!.. Чтобы я никогда тебя больше не видела!.. - метнув в него испепеляющий взгляд, крикнула она.

Так Фредерика при всех призналась ему в любви - призналась для того, чтобы наказать себя за нее, для того, чтобы от нее излечиться; смело назвав его на “ты”, она, как оскорбление, бросила свое чувство ему в лицо.

XVI

В темной комнате

- Жила-была в государстве Ольденбургском графиня Поникау, и в день ее свадьбы гномы принесли ей в подарок три золотых хлебца…

Это г-жа Сильвис рассказывает сказку в темной комнате, где все окна закрыты наглухо, а шторы спущены до полу. Маленький король лежит на кушетке, а королева, похожая на белое привидение, прикладывает лед к его перевязанному лбу и меняет каждые две минуты, днем и ночью, целую неделю. Как она выжила без сна, почти без пищи, сидя на узком изголовье

диванчика и в промежутках между перевязками, чтобы прощупать слабый пульс больного сына, хватая его руку, вызывающую у нее после льда ощущение, которого она каждый раз с ужасом ждет, - ощущение, что у мальчика жар?

Маленький король не отпускает мать ни на шаг, ни на шаг! Темнота большой комнаты населена для него чудищами и страшилищами. Читать он не может, подержать в руках игрушку тоже не может - отсюда это пугающее Фредерику состояние оцепенения.

- Тебе больно? - поминутно спрашивает она.

- Нет… Мне скучно… - слабым голосом отвечает мальчик.

И вот, чтобы рассеять скуку, чтобы населить мрачные пределы комнаты видениями светлыми, г-жа Сильвис снова вводит его в баснословный мир - мир старинных немецких замков, мир кобольдов, танцующих у подножия башни, где принцесса в ожидании Синей птицы сидит за хрустальной прялкой.

Слушая эти длиннейшие сказки, королева приходит в отчаяние. У нее такое чувство, как будто разрушают здание, в которое она вложила столько труда, как будто на ее глазах разбирают по камешку Триумфальную арку. Вот что чудится ей в потемках, в долгие часы затвора. До поры до времени ее сильнее беспокоит то, что мальчик опять попал в женские руки, что опять это Цара со всеми его слабостями, чем самая рана, о серьезных последствиях которой она пока еще не догадывается. Когда врач с лампой в руке, на минуту откинув покровы густого мрака, поднимает повязку и пытается каплей атропина возбудить чувствительность пораженного глаза, маленький больной не кричит, не отводит руку доктора, и это вселяет в сердце матери надежду. Никто не решается сказать ей, что нечувствительность, что спокойствие нервов - признак омертвелости органа. Пуля, отскочив от железной планки, хотя и утратила свою силу, а все же задела и повредила сетчатку. Правый глаз безвозвратно потерян. Поэтому все усилия направлены к тому, чтобы спасти другой, которому грозит опасность из-за корреляции органа зрения, превращающей его в единый инструмент с двумя ветвями. О, если бы королева ясно представляла себе размеры бедствия! А ведь она твердо верит, что благодаря ее уходу, благодаря ее неусыпным заботам несчастный случай

не оставит следов, и уже заговаривает с мальчиком о первом выезде:

- Леопольд! Вам не хочется погулять в лесу?

О, Леопольд был бы в восторге, если бы его взяли в лес! Ему хочется опять туда, на праздник, - он как-то раз был там с матерью и с учителем. И вдруг он прерывает себя:

- А где же господин Элизе?.. Почему он ко мне не заходит?

Ему объясняют, что воспитатель отправился путешествовать - и надолго. Этот ответ его удовлетворяет. Думать утомительно, говорить тоже. И он снова впадает в состояние угрюмого безразличия, возвращается в тот зыбкий мир, что создают в своем воображении больные, мешая сны с действительностью, с предметами, которые кажутся им неподвижными, оттого что окружающие боятся передвигать их, боятся стукнуть ими. Кто-то входит, кто-то уходит; на шепот отвечают шепотом, чьи-то шаги идут навстречу другим. Королева ничего не слышит, ничем не занимается, кроме перевязок. Время от времени Христиан толкает дверь, которую, чтобы не так душно было в этой келье, плотно не закрывают, и, желая рассмешить сына и вызвать его на разговор, делано веселым и беспечным тоном говорит ему какую-нибудь забавную чепуху. Но голос отца, звучащий особенно фальшиво здесь, где все полно воспоминаний о недавнем несчастье, пугает сына. В его детской поврежденной памяти, которую выстрел Элизе застлал своим дымом, неожиданно всплывают отдельные моменты сцен, разыгрывавшихся прежде, ему вспоминается мать, то безнадежно ожидающая, то бунтующая - в тот вечер, когда она, держа его на руках, чуть было не бросилась с четвертого этажа. Сын отвечает отцу тихо, сквозь зубы. Тогда Христиан обращается к жене:

- Отдохните, Фредерика, так же нельзя!.. Ради нашего мальчика!..

Рука государя, настойчивая, умоляющая, стискивает руку матери, и мать успокаивает его столь же красноречивым пожатием:

- Нет, нет, не бойтесь!.. Я никуда не уйду…

Она холодно перекидывается несколькими словами с мужем, а затем Христиан снова остается один на один со своими мрачными думами.

Последнее время неудачи преследовали Христиана, а тут еще ужасный случай с сыном! Чувство полного одиночества, чувство разочарования, чувство растерянности владеют им. Ах, если бы жена простила его!.. Он ощущает потребность, которую испытывают бесхребетные люди в несчастье, - потребность прижаться к кому-нибудь, положить голову на дружескую грудь, выплакать горе, облегчить совесть чистосердечными признаниями, с тем чтобы потом, уже со спокойной душой, опять пуститься в разгул и начать изменять направо и налево. Но сердце Фредерики навек потеряно для него. А теперь еще сын отворачивается от его ласк. Он думает обо всем этом, стоя в темной комнате, у изножья кровати, между тем как королева, у которой все рассчитано по минутам, берет из миски лед, прикладывает его к мокрой повязке и, чтобы удостовериться, нет ли у мальчика жара, приподнимает повязку и целует его лобик, а г-жа Сильвис пресерьезно рассказывает законному самодержцу Иллирийского и Далматинского королевств сказку о трех золотых хлебцах.

Христиан выходит из комнаты (его исчезновение еще менее заметно, чем приход) и начинает уныло бродить по молчаливому прибранному дому, в котором за установленным раз навсегда порядком следит старик Розен, - все так же прямо держась, но уже с трясущейся головой, он ходит туда-сюда: из особняка направляется то к службам, то в интендантство. Оранжерея и сад цветут по-прежнему, уистити, почуяв тепло, наполняют клетку короткими криками и прыжками. Пони государя, которого водит под уздцы конюх, прогуливается по устланному соломой двору, останавливается у крыльца и грустно скашивает ореховые глаза в ту сторону, откуда прежде появлялся маленький король. Особняк все так же изящен и комфортабелен, но чувствуется, что его обитатели чего-то ждут,

на что-то надеются, что над всей жизнью в доме отяготела неизвестность, что в нем царит тишина, какая наступает после оглушительного удара грома. Но особенно щемит сердце при виде трех окон наверху, с наглухо закрытыми ставнями даже в те часы, когда все кругом распахнуто навстречу воздуху и свету: ведь за этими ставнями скрывается тайна страдания и болезни.

Выгнанный из королевского дома, Меро поселился поблизости и все ходит и ходит кругом и с отчаянием глядит на закрытые окна. Он добровольно обрек себя на эту пытку, на эту казнь. Он приходит сюда каждое утро и со страхом смотрит, не открыты ли окна и не вьется ли наружу дымок погасшей свечи. Местные жители привыкли к нему. Продавщица игрушек, которая перестает трещать своими трещотками, когда этот верзила с таким несчастным видом проходит мимо нее, и продавцы шаров, и служащий трамвайной станции, пленник своего маленького деревянного барака, - все считают, что он немножко “того”. И в самом деле: его отчаяние граничит с помешательством. Не влюбленный унижен в нем, о нет! Королева хорошо сделала, что прогнала его, - он это заслужил, да и что значит неразделенная страсть рядом с полным крушением всех надежд? Мечтать о том, что он создаст короля, поставить перед собой эту благородную задачу - и все уничтожить, все разбить своими руками!.. В Фредерике и Христиане страдало родительское чувство, но Элизе переживал случившееся не менее тяжело, чем они. Он лишен был возможности ухаживать за больным, безотлучно при нем находиться - это утешение было ему недоступно; ему даже редко удавалось узнать, как себя чувствует мальчик, оттого что слуги возненавидели его после несчастья. Только бывавший в доме лесничий передавал ему то, что сам слышал в людской, и до Меро все доходило в преувеличенном виде, ибо у простонародья есть какая-то потребность сгущать темные краски. То маленький король ослеп, то у него воспаление мозга, а королева будто бы решила уморить себя голодом. Удрученный Элизе целый день потом, под впечатлением безотрадных вестей, бродил по лесу до тех пор, пока у него не подкашивались ноги, а затем выходил на опушку, прятался в густой траве цветущего луга - по воскресеньям ее приминали гуляющие, но в будни луг был пустынен и являл собой по-деревенски уединенный уголок - и следил за домом.

Однажды под вечер он лежал прямо на траве, дыша луговою свежестью и глядя на дом, - сквозь переплет ветвей видно было, как на его стенах меркнут лучи заката. Расходились по домам продавцы шаров; начинали вечерний обход сторожа; в погоне за мошкарой, вместе с солнцем спускающейся поближе к земле, над высокой травой описывали широкие круги ласточки. Тоскливое время дня! Уставший нравственно и физически, Элизе погружался в море этой тоски, и в его душе полным голосом начинали говорить воспоминания и тревоги, ибо только в час, когда природа молчит, мы можем надеяться, что она услышит наш душевный разлад. Случайно его ушедший внутрь взгляд заметил развинченную походку, квакерскую шляпу, белый жилет и гетры Босковича. Г-н советник, крайне взволнованный, бережно неся какой-то предмет, завернутый в носовой платок, быстро шел мелкими женскими шажками. При виде Элизе он не выразил изумления и, как будто ничего не случилось, без малейшей натянутости, самым непринужденным тоном заговорил:

- Дорогой Меро! Перед вами счастливейший человек в мире.

- Ах, боже мой!.. Что такое?.. Разве здоровье государя…

Ботаник, сделав скорбное лицо, сообщил, что государь все в том же положении: полный покой, темная комната, мучительная неизвестность, о да, очень мучительная! Затем внезапно переменил разговор:

- Угадайте, что я несу?.. Осторожней! Растение ломкое, может осыпаться земля… Это клематит, но только не ваш обыкновенный садовый клематит… Нет, это clematis dalmatica… [29 - Клематит далматинский… (лат.).] Совершенно особая, карликовая разновидность, - она встречается только там, у нас… Я сперва усомнился, заколебался… Я с самой весны за ним наблюдаю… Но посмотрите на стебель, на венчики… А запах? Он

пахнет толченым миндалем…

С величайшей осторожностью развернув носовой платок, Боскович высвободил хрупкое уродливое растение, цветок, молочная белизна которого незаметно для глаза переходила в зелень листьев, почти сливалась с нею. Меро начал было расспрашивать Босковича, пытался хоть что-нибудь выведать, но так ничего и не добился от маньяка, всецело поглощенного своей страстью, своей находкой. А ведь тут и впрямь было чему подивиться: Боскович набрел на единственный экземпляр растеньица, выросшего в шестистах милях от родины! У цветов есть не только своя история, но и свои романы. И вот такой воображаемый роман рассказывал сейчас этот чудак самому себе, полагая, что рассказывает его Меро:

- По какой прихоти почвы, вследствие какой геологической тайны перелетное зернышко пустило росток у подножья дуба в Сен-Мандэ? Впрочем, такие случаи бывают. Один мой приятель-ботаник нашел в Пиренеях цветок из Лапландии. Это зависит от воздушных течений, от случайных наносов… Чудо состоит в том, что этот малютка вырос по соседству со своими тоже изгнанными соотечественниками… И посмотрите, как хорошо он себя чувствует на чужбине!.. Только слегка побледнел в изгнании, но усики вот-вот начнут виться…

Освещенный лучами заходящего солнца, Боскович предавался блаженному созерцанию своего клематита. Но вдруг он спохватился:

- А, черт! Время позднее… Надо идти… Прощайте!

- Я пойду с вами, - заявил Элизе.

Боскович обомлел. Он присутствовал при той сцене, знал, при каких обстоятельствах воспитатель ушел; впрочем, он был уверен, что Элизе уволили только в связи с несчастным случаем… Но все-таки что могут подумать? Что скажет королева?

- Никто меня не увидит, господин советник… Вы проведете меня со стороны авеню, и я незаметно прошмыгну в комнату…

- Как? Вы хотите…

- Хочу подойти к государю и услышать его голос, но так, чтобы он не подозревал, что я здесь…

Слабохарактерный Боскович восклицал, возражал, но все-таки шел вперед, подталкиваемый волей Элизе, который шагал сзади, не обращая внимания на его протесты.

Какое сильное волнение охватило Элизе, когда прятавшаяся в зелени плюща калитка отворилась и он очутился в саду, на том самом месте, где в его жизнь ударила молния!

- Подождите меня здесь, - трясясь как в лихорадке, проговорил советник. - Как только слуги сядут ужинать, я приду вам сказать… Тогда вы никого не встретите на лестнице…

После того рокового дня никто близко не подходил к тиру. Сломанная

ограда и следы ног, бегавших взад и вперед по песку, живо напомнили Элизе всю картину. На проволочной сетке висели все те же изрешеченные щиты, в фонтане, будто неиссякаемый источник слез, струилась вода, в этот грустный час набегающих сумерек отливавшая сталью, и Элизе послышался такой же рыдающий, как напев фонтана, голос королевы: “Прочь!.. Прочь!..” - навсегда оставивший в нем двойственное ощущение обиды и ласки… Наконец вернулся Боскович, и они, прячась за деревьями, прокрались к дому. В стеклянной галерее, выходившей в сад и заменявшей классную, книги, в определенном порядке разложенные на столе, и два заранее приготовленных для ученика и учителя стула с присущей неодушевленным предметам жестокой косностью ожидали следующего урока. От этого так же больно сжималось сердце, как и от тишины в тех комнатах, где еще так недавно резвился и шумел ребенок, по десять раз в день смехом и песнями прочерчивая свой узкий круговой путь.

Пройдя ярко освещенную лестницу, шедший впереди Боскович ввел Элизе в смежную со спальней короля комнату, такую же темную, как спальня, куда не должна была проникать даже узенькая полоска света. Горел только ночник в глубине алькова, среди пузырьков с лекарствами.

- Около него королева и госпожа Сильвис… Но только смотрите: ни единого слова!.. И возвращайтесь скорее…

Элизе не слушал его наставлений - с бьющимся и замирающим сердцем он уже стоял на пороге. Его еще не освоившийся взгляд бессилен был просверлить кромешную тьму. Он ничего не различал, зато из дальнего угла комнаты до него доходил монотонно читавший вечерние молитвы детский голос, слабый, унылый, тоскливый, лишь отдаленно напоминавший голос маленького короля. Дойдя до очередного Amen, мальчик прервал чтение:

- Мама! А молитву королей читать?

- Конечно, читай, милый, - проговорил приятный низкий голос, тембр которого тоже изменился: он чуть-чуть качался на верхах, - так стирается по краям металл, на который по капле сочится едкая жидкость.

Государь ответил не сразу:

- А мне казалось… Я думал, что это уже не нужно…

- Почему? - живо спросила королева.

- По-моему, мне теперь совсем не о том надо молиться… - старчески рассудительным тоном заметил маленький король.

Однако послушный мальчик взял в нем верх, и он пересилил себя:

- Но раз тебе хочется, мама, то я сейчас, я сейчас…

И он медленно, дрожащим, звучавшим покорностью голосом начал:

- ”Господи Боже мой, ты поставил раба Твоего царем, но я отрок малый, не знаю ни моего выхода, ни входа. И раб Твой - среди народа Твоего, который избрал Ты…”

У дверей послышалось приглушенное рыдание.

Королева вздрогнула.

- Кто там?.. Это вы, Христиан? - окликнула она, когда дверь уже затворилась.

В конце недели доктор объявил, что пора перестать мучить бедного ребенка - надо впустить в комнату немного света.

- Уже?.. - воскликнула Фредерика. - А ведь вы меня предупреждали, что это протянется больше месяца!

У доктора не хватило духу сказать королеве, что глаз мертв, безнадежно мертв, и что поэтому необходимость в строгом режиме отпала. Тем не менее он вывернулся, - он напустил туману, а у медиков именно так выражается жалость к людям. Королева ничего не поняла, и никто из окружающих не взял на себя смелости сказать ей правду. Так как религия обладает исключительным правом наносить любые раны, даже такие, которые она сама не умеет заживлять, то решили подождать о. Алфея. Этот резкий и грубый монах, орудовавший словом Божиим, точно дубинкой, должен был разбить одним страшным ударом все честолюбивые помыслы Фредерики. В тот день, когда с сыном стряслась беда, мать страдала за него: крик бедного мальчика, его обморок, кровь, сочившаяся у него из глаза, - все это перевернуло ей душу. Новое горе касалось непосредственно королевы. Ее сын обезображен, изувечен! Она мечтала о триумфе, который будет устроен красавцу, - как же она покажет иллирийцам калеку? Она не могла простить доктору, что он обманул ее. Короли даже в изгнании

становятся жертвами собственного величия и человеческой трусости!

Чтобы избежать слишком резкого перехода от темноты к свету, на окна, прежде чем настежь распахнуть их, повесили занавески из зеленой саржи, и, когда действующие лица печальной драмы взглянули друг на друга при дневном свете, они сразу заметили перемены, происшедшие с ними за время их добровольного заточения. Фредерика постарела; чтобы прикрыть пряди седых волос, она вынуждена была изменить прическу: теперь она зачесывала волосы на виски. Малолетний государь, без кровинки в лице, скрывал свой правый глаз под повязкой. Казалось, все его лицо, затканное сеткой мелких складок и преждевременных морщин, ощущало тяжесть этой повязки. Для него начиналась новая жизнь - жизнь раненого! Поврежденность одного чувства повлияла на все остальные: так, за столом ему снова надо было выучиться есть, потому что ложка и вилка перестали его слушаться, - вместо рта он подносил их ко лбу или к уху. Он смеялся тихим смешком больного ребенка, а королева поминутно отворачивалась, чтобы никто не видел ее слез. В саду начались другие неприятности. Мальчик ступал неуверенно, на каждом шагу спотыкался, принимал кривую линию за прямую, падал или при малейшем препятствии боязливо отшатывался, хватался за руку матери, цеплялся за ее юбку, двигался в знакомых уголках парка так, словно там всюду были расставлены западни. Королева пыталась по крайней мере пробудить его разум, но потрясение было, видимо, слишком сильно: вместе с лучом зрения, должно быть, погас один из лучей его умственных способностей. Бедный мальчик отлично понимал, какое горе причиняет он своим состоянием матери, - всякий раз, как она к нему обращалась, он с усилием поднимал голову и, словно прося прощения за свой физический недостаток, робко скашивал на нее здоровый глаз. Но он не мог победить в себе безотчетного, чисто нервного страха. Когда он впервые после несчастного случая услышал выстрел, раздавшийся на опушке леса, с ним едва не приключилась падучая. Точно так же, когда ему в первый раз после долгого перерыва предложили покататься на пони, он задрожал всем телом.

- Нет, нет!.. Пожалуйста, не надо!.. - прижимаясь к Фредерике, говорил он. - Поедем лучше в ландо!.. Я боюсь!..

- Да чего же бояться?

- Я боюсь… Я так боюсь!..

Ни уговоры, ни просьбы на него не действовали.

- Ну, что ж, заложите ландо, - подавляя в себе глухое раздражение, приказала королева.

Дело происходило глубокой осенью, в чудный воскресный день, напоминавший то, майское, воскресенье, когда они поехали в Венсенский лес. Но сегодня рассыпавшееся по аллеям и лужайкам простонародье злило Фредерику. Веселье под открытым небом, запах съестного вызвали у нее отвращение. От каждой группы людей, смеявшихся, нарядно одетых, на нее веяло унынием и убожеством жизни. В том, что у мамы скучное выражение лица, мальчик считал виноватым себя, и он старался согнать с ее прекрасного лица хмурые морщины и боязливо ластился к ней.

- Ты на меня не сердишься, мама, что я не поехал на пони?

Нет, она на него не сердилась. Но что же он будет делать в день коронации, когда верноподданные призовут его? Король должен уметь ездить верхом.

Маленькое сморщенное личико повернулось к королеве и вопросительно

посмотрело на нее единственным глазом:

- А ты уверена, что, раз я стал таким, они меня не расхотят?

Он имел вид заморыша, маленького старичка. Тем не менее Фредерика притворилась возмущенной тем, как могла ему прийти в голову подобная мысль, и нарочно заговорила о совершенно слепом вестфальском короле.

- Да ведь это одна насмешка, а не король!.. Его прогнали.

Тогда она рассказала ему историю Иоанна Богемского: во время битвы при Креси он велел своим рыцарям вывести его вперед, дабы он мог достать врагов мечом, и они подвели его так близко, что на другой день их всех нашли убитыми, тела их были распростерты на земле, их кони связаны вместе.

- Как это страшно!.. Как это страшно!.. - повторял Леопольд.

Подобно тому как он жил жизнью волшебных сказок, когда ему их рассказывала маркиза, сейчас он был весь там, в этом героическом предании, - маленький, слабый, дрожащий от страха, меньше всего похожий на короля.

До сих пор они ехали берегом озера, а теперь свернули в аллею, до того узкую, что если по ней ехал один экипаж, то уж больше там никому нельзя было ни пройти, ни проехать. Какой-то человек шарахнулся при их

приближении - мальчик из-за повязки не успел разглядеть, кто это, зато королева сразу узнала его. Величественная, суровая, она движением головы показала ему на прильнувшего к ней несчастного калеку, на сломанное произведение их искусства, на обломок, на осколок великого рода. Это была их последняя встреча. С того дня Меро никогда больше не появлялся в Сен-Мандэ.

XVII

Fides, spes

Герцог Розен вошел первым.

- Здесь сыровато… После смерти моего сына эти комнаты ни разу не открывались, - с надменным видом объявил он.

И правда: в роскошной анфиладе комнат нижнего этажа, где когда-то так гордо звучали гузлы и где все оставалось на тех же местах, что и в бальную ночь, было холодно, как в склепе, и пахло плесенью. По-прежнему стояли два высоких кресла резного дерева, для короля и для королевы, выше их были только великолепные, кованого железа, пюпитры для музыкантов. Кресла, образовавшие замкнутый круг, составляли особое отделение для аристократии. Паркетный пол все еще покрывала бальная пыль: ленты, засохшие цветы, обрывки измятого газа. Чувствовалось, что декораторы поспешили снять украшения, гирлянды зелени и закрыть окна и двери зал, напоминавших о празднике в доме, облачившемся в траур. Такая же заброшенность наблюдалась и в засыпанном сухими листьями саду, над которым уже пронеслась зима, а потом изобилующая буйной и дикой растительностью весна, но и весной никто не навел здесь порядка. По прихоти горя, которое требует, чтобы все вокруг страдало и все вокруг запустело, герцог не позволил к чему бы то ни было притрагиваться и не пожелал жить в своем дворце.

После гравозских событий, после того как Колетта, у которой были

трудные роды, уехала на поправку вместе со своим маленьким W в Ниццу, герцогу стало невыносимо тяжело возвращаться одному в дом на Анжуйской набережной, и ему стелили постель в интендантстве. По всей вероятности, он предполагал со временем продать особняк, а пока что начал распродавать загромождавшие его великолепные старинные вещи. Вот почему в венецианских зеркалах, уснувших после той ночи, когда в них отражались танцевавшие венгерку влюбленные пары, блеск глаз и свечей, нынче, при холодном, сером свете парижского дня, отражались нелепые фигуры, алчные глаза и плотоядные губы папаши Лееманса и его приспешника г-на Пишри, бледного до синевы, с завитками на висках, с напомаженными и закрученными усами.

Хорошо, что у Лееманса был многолетний опыт старьевщика, сноровка торгаша, хорошо, что он привык принимать участие в комедии, которая требует от человеческой маски уменья изобразить любую ужимку, иначе он непременно вскрикнул бы от радости, от восторга, едва лишь слуга генерала, такой же старый и такой же бравый, как его господин, с громким стуком отворил ставни на огромных окнах, выходивших на северную сторону, и вдруг нежно засияли, начали переливаться дивными тонами дерева, бронзы и слоновой кости бесценные сокровища коллекции, в отличие от коллекции г-жи Сплит, не пронумерованной и не расставленной в строгом порядке, но зато поражавшей своей варварской пышностью, несметностью своих богатств, своей отличной сохранностью. Ни единого изъяна, ни единого повреждения!.. Старик Розен грабил не что подвернется под руку, не так, как другие генералы, которые врываются в какой-нибудь летний дворец, словно ураган, а урагану все равно что ни валить: колокольню или соломенную кровлю хижины. Здесь были представлены чудеса тщательного отбора. Надо было видеть, как старьевщик делал стойки, как вытягивалась его шерстистая морда, как он наводил лупу, как царапал легонько эмаль, как постукивал по звеневшей в ответ бронзе, какое у него было при этом равнодушное, даже презрительное выражение, а между тем все его тело, от головы до ног, от кончиков ногтей до последних волосков его лопатообразной бороды, дрожало, трепетало так, словно по нему проходил электрический ток. Наблюдать за Пишри было не менее интересно. Пишри ничего не понимал в искусстве, вкусом не отличался, и сейчас он только обезьянничал своего сообщника: делал ту же презрительную гримасу, которая, впрочем, быстро сменялась окаменением, когда Лееманс, склонившись над памятной книжкой, куда он все время что-то записывал, шептал ему:

- Это стоит ни мало ни много сто тысяч франков…

Для них обоих в этой коллекции заключалась единственная возможность взять реванш после того “ловкого хода”, из-за которого они так позорно сели в лужу. Однако им приходилось таить свое ликование, оттого что бывший генерал пандуров, недоверчивый и непроницаемый, как все старьевщики, вместе взятые, ходил за ними по пятам и неожиданно вырастал за их спинами, так что, какие бы они рожи ни корчили, провести его было мудрено.

Наконец, пройдя все приемные залы, они дошли до маленькой комнатки, куда надо было подняться на две ступеньки, - комнатки, чудесно убранной в мавританском вкусе: с низенькими диванами, коврами, шкафами, и все до последней вещи было здесь подлинное.

- Это - тоже? - осведомился Лееманс.

Генерал в глубине души заколебался. Это было убежище Колетты в огромном особняке, ее любимая комната, где она проводила редкие часы досуга, где она писала письма. Розену захотелось спасти восточный уголок, который ей так нравился. Но он передумал: нет, продавать так продавать все.

- И это тоже… - холодно ответил он.

Лееманс, привлеченный редкостным арабским столиком, резным, золоченым, с миниатюрными аркадами и галереями, стал рассматривать многочисленные ящички с секретом, ящичек в ящичке, открывавшиеся при помощи невидимой пружины, изящные, до сих пор сохранившие на своем атласном дне запах апельсина и сандала. Запустив в один из них руку, Лееманс услыхал шуршанье.

- Здесь бумаги… - заметил он.

По окончании описи герцог проводил обоих антиквариев до дверей, а затем вспомнил о бумагах, забытых в ящичке. Это была целая пачка писем, перевязанных смятой лентой и впитавших в себя тонкие запахи ящичка. Герцог машинально взглянул и сейчас же узнал почерк, крупный почерк Христиана, своеобразный, неаккуратный, который в течение многих месяцев он видел лишь на векселях и на долговых обязательствах и

который связывался в его представлении только с деньгами. Разумеется, это письма короля к Герберту. Да нет: “Колетта, счастье мое!..” Резким движением герцог сорвал ленту, и вслед за тем около тридцати записок разлетелось по дивану, - в них назначались свидания, изъявлялась благодарность, сообщалось о той или иной любезности; словом, это была самая настоящая адюльтерная переписка во всей своей наводящей скуку банальности, - оканчивалась она извинениями за несостоявшиеся свидания, и нежность в ней убывала, как убывают поздней осенью дни. Почти в каждом письме упоминался надоедливый, преследующий их человек, которого Христиан в шутку называл “Ходячая помеха” или просто “Ход. пом.”, и герцог долго не мог догадаться, кто же это, пока наконец в одном из шутливых писем, не столько пылких, сколько вольных, увидел карикатуру на самого себя, свою маленькую острую головку на длинных лапах аиста. Да, это был он, его морщины, его орлиный нос, его прищуренные глаза. А чтобы уже не оставалось никаких сомнений, в самом низу стояла подпись: “Ходячая помеха на часах, на набережной Орсе”.

Когда старик оправился от неожиданности и когда нанесенное ему оскорбление вырисовалось перед ним во всей своей низости, он невольно вскрикнул от боли, а затем, раздавленный, переполненный чувством стыда, словно одеревенел. Не то удивило Розена, что его сына обманули. Но обманул Герберта не кто-нибудь, а Христиан, ради которого они пожертвовали всем, ради которого Герберт погиб двадцати восьми лет от роду, из-за которого он, Розен, разорялся, распродавал все, вплоть до победных трофеев, лишь бы векселя с королевской подписью не были опротестованы… Отомстить бы ему, снять бы из этой коллекции два любых пистолета!.. Да, но ведь он король! От короля нельзя требовать удовлетворения. И вот что значит магия священного слова: гнев Розена мгновенно утих, и он уже убеждал себя, что, собственно говоря, государь, приволокнувшийся за одной из своих служанок, не так уж виноват, - виноват он, герцог Розен, женивший сына на какой-то Совадон. И теперь он жестоко наказан за свою алчность… Все эти размышления длились не более минуты. Заперев письма на ключ, он выехал в Сен-Мандэ исполнять свои обязанности за письменным столом в интендантстве, где его ожидала куча счетов и бумаг, и на некоторых из этих бумаг он увидел тот же крупный неразборчивый почерк, что и на любовных записках. После этого случая, когда Христиан проходил по двору, он по-прежнему всякий раз замечал в окне интендантства высокую, все такую же бравую, преданную и

бдительную фигуру Ходячей помехи, и ему в голову не могло прийти, что Розену хоть что-нибудь известно.

Только самодержцы в силу многовековых суеверных традиций способны внушать к себе такую безграничную преданность, даже если они ее ничем не заслужили. Бывший самодержец Христиан подождал, пока сын его встанет с постели, а там опять начал прожигать жизнь. Сперва он попробовал вернуть расположение Шифры. Да, несмотря на то, что его грубо и цинично выгнали, несмотря на то, что ему дали отставку, полную отставку, он все-таки продолжал любить Шифру и по первому знаку готов был упасть к ее ногам. А красотка в это время наслаждалась возобновившимся медовым месяцем. Излечившись от честолюбивых увлечений, снова придя в равновесие, из которого ее вывела мечта о миллионах, она решила продать дом, вещи и начать жить с Томом в Курбвуа жизнью почтенных разбогатевших негоциантов, а Шприхтов подавить комфортом, который они там заведут. Д. Том Льюис, напротив, замышлял новые “ходы”: сказочная обстановка, в которой находилась его жена, подбивала Тома учредить новое агентство и поставить его на еще более светскую, еще более роскошную ногу, - такое агентство, где бы торговля велась в перчатках до локтей, где бы дела делались среди цветов, под бальную музыку, на дорожке, огибающей озеро, а вышедший из моды кеб, зачисленный в разряд несерьезных экипажей, он предполагал заменить солидной коляской с ливрейным лакеем и с девизом графини. Уговорить Шифру, у которой он теперь окончательно поселился, ему было не трудно. И вот залы дома на Мессинской открылись для званых обедов и балов, приглашения на которые рассылались от имени графа и графини Сплит. На первых порах эти балы особым многолюдством не отличались. Но женский пол, вначале бунтовавший, в конце концов стал относиться к Тому и его жене как к чете богатых, приехавших из далекого края чужеземцев, иностранное происхождение которых искупается той роскошью, которой они себя обставляют. За Шифрой, снискавшей широкую популярность своими похождениями, ухаживала вся золотая молодежь, и благодаря этому его сиятельство в первую же зиму сумел обделать несколько выгодных дел.

Христиану нельзя было воспретить вход в эти залы, тем более что они так дорого ему обошлись. Кроме того, королевский сан поначалу мог только украсить дом, удостоверить, что это дом порядочный. Словом, он явился туда робко, питая смутную надежду вновь покорить сердце

графини, и прошел не через главный подъезд, а через черный ход. Первое время ему нравилось играть роль обманутого, роль несчастной жертвы, и он, бледный, как его воротничок, каждый день неукоснительно появлялся в золоченой амбразуре окна, где за ним, вращая глазами, следил, где его пригвождал своим взглядом Том Льюис, но вскоре он пал духом, перестал ездить к Шифре и, чтобы забыться, спутался с уличными девками. Как всякий мужчина, который, потеряв любимую женщину, упорно ищет потом ей подобную, он где только не блуждал, опускался низко, очень низко, а водил его всюду Лебо, в царстве парижского порока чувствовавший себя как дома и частенько ранним утром доставлявший своему господину чемодан в какое-нибудь злачное место. Это было самое настоящее падение, с каждым днем становившееся все менее болезненным для мягкотелого сластолюбца Христиана, а его тихий и печальный дом не заключал в себе ничего притягательного. Без Меро и без княгини в особняке на улице Эрбильона стало еще скучнее, чем прежде. Леопольд V поправлялся медленно, и впредь до окончательного выздоровления его воспитание было снова доверено г-же Элеоноре Сильвис, которая теперь с удвоенным рвением принялась втолковывать ему советы аббата Диге относительно шести способов узнавать людей и семи способов избегать льстецов. Грустные это были уроки: больному ученику мешала повязка, и он смотрел на учительницу, склонив голову набок, а королева, по-прежнему присутствовавшая на уроках, не отводила скорбного взгляда от clematis dalmatica - жалкого растеньица, родившегося в изгнании и теперь чахнувшего на окне. За последнее время францисканцы предприняли несколько попыток подыскать воспитателя для короля, но второго Элизе Меро не так-то легко найти среди современной молодежи. У о. Алфея было на этот счет особое мнение, но высказывать его он не решался, так как королева не позволяла произносить при ней имя бывшего наставника. Тем не менее обстоятельства сложились так, что однажды монах осмелился заговорить с ней о своем друге.

- Ваше величество! Элизе Меро умирает… - прочитав послеобеденную молитву, сообщил он.

Пока Меро жил в Сен-Мандэ, он в силу того же предрассудка, что

заставляет нас хранить в шкафу давно уже немодное платье, которое мы носили в молодости и никогда больше не наденем, оставил за собой комнату на улице Мсье-ле-Пренс. Он туда не заходил, - он предоставил забвению и тайне окутывать его рукописи и книги в единственно безмолвном и постоянно запертом уголке живших шумною жизнью меблированных комнат. И вот однажды он вернулся, постаревший, утомленный, почти совершенно седой. Толстая хозяйка дремала, но ее разбудило звяканье висевших на гвоздях ключей, и она с трудом узнала жильца, искавшего ключ от своей комнаты.

- Ну и загуляли же вы, господин Меро!.. Разве можно так истощать организм?

- Да, это верно, я немножко устал… - улыбаясь, ответил Меро и, пришибленный, сгорбленный, стал подниматься на шестой этаж.

Комната была все та же, с тем же унылым видом из запыленных окон: крыши, квадратные монастырские дворы, медицинский факультет, анатомический театр, холодные памятники, грустно задумавшиеся над своей участью; справа, ближе к улице Расина, - две огромные водокачки, сверкавшие своими каменными резервуарами, в которых отражалось серое небо и дымящиеся трубы. Ничто не изменилось, но свойственные юности благородные пылания, все вокруг себя окрашивающие и согревающие, от затруднений и невзгод только усиливающиеся, - эти пылания в нем уже угасли. Элизе сел, стряхнул пыль с неоконченных работ, попытался читать. Между его мыслями и страницами скользил укоризненный взгляд королевы; ему чудилось, будто на другом конце стола сидит его ученик и ждет, когда начнется урок. Ему стало так горько, что, не выдержав одиночества, он сбежал по лестнице и повесил ключ на гвоздь. С этого дня его высокая нескладная фигура со шляпой на затылке, с пачкой книг и журналов под мышкой снова замелькала в Латинском квартале, в галерее Одеона, на набережной Вольтера; его видели то склонившимся над брошюрами, еще пахнувшими типографской краской, то роющимся в

старье, которым были забиты грубые полки книжных лавок, то читающим на улицах или в аллеях Люксембургского сада, то прислонившимся в лютый холод к садовой статуе, напротив замерзшего фонтана, и размахивающим руками. В атмосфере умственного труда, среди той интеллигентной молодежи, до которой ниспровергатели основ еще не добрались и которую им не удалось окончательно устранить, он вновь обрел былую страстность и былое воодушевление. Вот только слушатели были уже не те, ибо в этом проходном квартале студенты - как волны в море: одна отхлынула, другая прихлынула. Собирались тоже не там, где прежде: времена кафе, куда приходили поговорить о политике, миновали, настали времена пивных, где прислуживали девушки в выполненных по эскизам какого-нибудь модного рисовальщика и блиставших изящной мишурой костюмах швейцарок, итальянок, шведок. О бывших соперниках Элизе, о лучших ораторах тех дней - о Пекиду из “Вольтера”, о Лармина из “Прокопа” - помнили только лакеи, да и те помнили их так же смутно, как смутно помнят сошедших со сцены актеров. Некоторые из ровесников Меро занимали высокие посты в правительстве, играли видную роль в общественной жизни. Иной раз, когда Элизе шел мимо книжных лавок и на ходу читал, не замечая, что ветер треплет его волосы, какой-нибудь именитый член Палаты депутатов или столь же именитый сенатор, ехавший в экипаже, окликал его:

- Меро! Меро!

Старые товарищи останавливались поболтать.

- Что поделываешь?.. Служишь?..

Элизе, наморщив чело, весьма неопределенно говорил о каком-то грандиозном замысле, который ему “не удалось осуществить”. В подробности он не вдавался. Не раз предпринимались попытки вытащить его отсюда, найти применение для этой бесполезно растрачивавшей себя

силы. Но он не изменил своим монархическим взглядам, он все так же ненавидел революцию. Он ни о чем не просил, ни в ком не нуждался. Почти все жалованье, которое он получал в Сен-Мандэ, осталось у него нетронутым, так что он даже не искал уроков; он гордо замыкался в своем горе, таком большом и таком глубоком, что он не мог рассчитывать на понимание, и лишь изредка - это было его единственное развлечение - ходил к францисканцам не только из-за того, что ему хотелось узнать, нет ли чего-нибудь нового в Сен-Мандэ, но и потому, что он любил своеобразный подземный придел в храме, любил иерусалимский склеп с кровоточащим Христом из раскрашенного воска. Эта наивная мифология, эти почти языческие представления должны были на заре христианства приводить в восторг верующих. “Философы поставили Бога слишком высоко… - говорил иногда Меро. - Его уже не видно”. А вот он его видел во тьме подземелья, и среди всех этих изображений чудовищных мук, там, где Маргарита Осунская бичевала свои мраморные плечи, ему мерещился Рождественский сочельник и иллирийская королева у самых яслей, молитвенно и вместе с тем оберегающе обвившая сына руками и скрестившая их у него на груди…

Однажды ночью Элизе внезапно проснулся от странного ощущения жара, медленно, как вода во время разлива, спокойно и безболезненно подступавшего к горлу, сопровождавшегося крайним упадком сил и наполнявшего рот чем-то приторно красным. Это было загадочно и зловеще: болезнь подкрадывалась, точно убийца, бесшумно, в полной темноте отворяющий двери. Элизе не испугался, но все же посоветовался со студентами-медиками, с которыми он вместе обедал. Студенты сказали, что дело его скверно.

- Что же у меня?

- Да все, что угодно!

Он дожил до сорока лет - до критического возраста богемы: в это время недуг подстерегает, подкарауливает человека и заставляет его дорого платить за все излишества, за все лишения молодости. Время опасное, особенно если душевные силы убиты, а воля к жизни сломлена. Элизе остался верен своим привычкам: ему не сиделось дома ни в дождливый, ни в ветреный день; зимой из жарко натопленной, душной комнаты он выходил на холод поздно ночью, когда всюду уже гасли огни, и до самой зари разглагольствовал, шагая по тротуарам. Он все чаще харкал кровью. После кровохарканий наступала страшная слабость, тоска одиночества угнетала его, и он, вместо того чтобы лежать в постели, целыми днями сидел в пивной “Риальто”, по соседству с меблированными комнатами, читал газеты, мечтал в уголке. В этом помещении, которое оживляли столики, стулья из светлого дуба, стены с намалеванными на них видами Венеции, мостами, башнями, из-за нарушения перспективы возносившимися выше тусклой радуги, было тихо до самого вечера. Даже сами венецианки, шустрые по вечерам, когда их кожаные сумочки так и порхали между столами и когда в пустых кружках отражались их красные бусы, в эти часы дремали, уронив головы на стол, смяв кружево и пышные рукава батистовых платьев, или же что-нибудь шили у печки, прерывая это свое занятие лишь для того, чтобы распить бутылочку с только что вошедшим студентом. Одна из них, высокая, сильная девушка с густыми русыми волосами пучком, с плавными, величавыми движениями, время от времени клала руки на шитье и вся превращалась в слух… Меро любовался ею часами, пока она однажды не заговорила грубым, хриплым голосом, спугнувшим его мечту. Но вскоре он почувствовал, что ему уже трудно сидеть в пивной у окна, отодвигать скользившую по пруту занавеску и смотреть на улицу. Он уже не мог двигаться - он вынужден был обложиться книгами и газетами и не вставать с постели, а дверь оставлял полуотворенной, чтобы до него доходила жизнь меблированных комнат, ее копошенье. Тяжелее всего для южанина было то, что ему запретили говорить. Тогда он решил вознаградить себя писанием и взялся за свою неоконченную книгу, пресловутую книгу о монархии, и писал он ее с увлечением, дрожащей рукой, сотрясаемой кашлем, от которого рассыпались по одеялу листки. Теперь он боялся только одного: умереть, не дописав книги, уйти таким же, каким он был при жизни, - никак себя не проявившим, невысказавшимся, безвестным.

Его часто навещал Совадон, дядюшка из Берси, непомерно раздувшееся, неуемное тщеславие которого страдало оттого, что его наставник живет в конуре. Тотчас после катастрофы он по примеру прошлых лет прибежал к нему с раскрытым кошельком за “взглядами на вещи”.

- Дядюшка! У меня их больше нет… - упавшим голосом объявил Меро.

Дядюшку пугала апатия Элизе, и он уговаривал его поехать на юг, в Ниццу, и поселиться там в великолепном доме, где жила Колетта со своим маленьким W.

- Мне это расходов не прибавит, а вы поправитесь, - в простоте душевной пояснил он.

Но Элизе вовсе не желал поправляться; ему хотелось кончить свою книгу здесь, где зародился ее замысел, в безбрежном парижском гуле, в котором каждый улавливает нужную ему ноту. Пока он писал, Совадон, сидя у него в ногах, рассказывал одно и то же про свою душку-племянницу и злился на старого сумасброда генерала за то, что тот продает дом на острове Св. Людовика.

- Ну, скажите на милость: что он будет делать с такими деньгами?.. Маленькими кучечками в ямки их зароет?.. А впрочем, это его дело… Колетта достаточно богата, обойдется и без него…

Выпятив животик, тугой, как набитая мошна, виноторговец похлопал себя по карману.

В другой раз он бросил Элизе на кровать пачку газет.

- Кажется, в Иллирии начались волнения… На выборах в люблянский сейм большинство голосов получили монархисты. Сейчас вот как нужен был бы настоящий человек!.. Но Леопольд слишком молод, а Христиан совсем опустился… Бегает с камердинером по кабачкам, по вертепам.

Элизе слушал, дрожа всем телом. Бедная королева!..

Не замечая, какую острую боль причиняет он Элизе, Совадон продолжал:

- А все же изгнанники наши не унывают… Недавно на улице Антена было раскрыто одно грязное дело, и в нем оказался замешан принц Аксельский… Семейные номера, патриархальная вывеска, а там, можете себе представить, совращали малолетних… Скандал! Хорош наследный принц!.. Но вот что меня удивляет: в самый разгар истории с семейными номерами я получил от Колетты письмо, и она мне пишет, что его высочество в Ницце, что он нанял для нее яхту и она участвовала в гонках… Тут, наверно, какое-нибудь недоразумение. Я был бы очень рад, если б это выяснилось, потому что, между нами говоря, дорогой Меро…

Тут старик с весьма таинственным видом поведал своему другу, что принц неравнодушен к Колетте, а она не из таких женщин, чтобы… Понимаете?.. Так что, очень может быть, немного погодя…

Простое широкое лицо выскочки озарилось улыбкой.

- Вы только подумайте: Колетта - финляндская королева!.. А дядюшка Совадон из Берси станет дядюшкой самого короля!.. Но я утомил вас…

- Да, мне хочется спать… - сказал Элизе; он уже закрывал глаза - это был вежливый способ избавиться от тщеславного болтуна.

Когда дядюшка ушел, Меро взял рукопись и кое-как приладился писать, но его вдруг охватило такое глубокое отвращение и такая невероятная слабость, что он не смог написать ни одной строчки. Ему было тошно от всех этих гадких историй… Он посмотрел на разбросанные по постели листки, потом обвел глазами свою дрянную комнатушку, в которой он, убеленный сединою старого студента, ради того, чтобы защитить идею монархии, сжигал последние остатки жизни, представил себе, сколько им растрачено душевного пыла, сколько загублено сил, - и в первый раз его посетило сомнение, в первый раз он задумался: не была ли вся его жизнь сплошным самообманом?.. Он - поборник, он - приверженец королей! А короли опускаются ради низменных наслаждений, короли дезертируют, когда нужно защищать свое же собственное дело!.. Взгляд его все еще печально блуждал по голым стенам, на которых, отражаясь от окон противоположного дома, догорали лучи заката, и вдруг задержался на старой реликвии в пыльной раме - на листе с красной печатью: Fides, spes, некогда висевшем над кроватью отца. В тот же миг перед ним возникло прекрасное лицо старого Меро, напоминавшее лица Бурбонов, такое, каким он видел его на смертном ложе: застывшее, уснувшее, но и в смерти сохранявшее выражение беззаветной преданности и неизменной верности, возникли остановившиеся прямые станки, вдали - сухой каменистый холм, на нем - ветшающие мельницы, а над мельницами - беспощадная голубизна южного неба. Это была минутная галлюцинация: вслед за Королевским заповедником в уже туманившейся памяти Элизе промелькнула вся его юность…

Но вот отворяется дверь, слышится шуршанье платья и чей-то шепот. Элизе думает, что это соседка, какая-нибудь добрая девушка из “Риальто”, зная, что у него сильная жажда, принесла ему попить. Он прибегает к испытанному средству - сейчас же закрывает глаза: сон выпроваживает назойливых посетителей. Но нет! По холодным плитам пола приближаются чьи-то мелкие нерешительные шажки. Чей-то тихий голосок лепечет:

- Здравствуйте, господин Элизе!

Перед ним его ученик - застенчивый, немного прибавивший в росте, он с боязливостью калеки глядит на изменившегося до неузнаваемости, мертвенно бледного учителя, лежащего на узкой кровати. А за порогом стоит стройная, гордая женщина в шляпе с опущенной вуалью. Она пришла сюда, она поднялась на шестой этаж по лестнице, куда отовсюду доносится шум разгула, ее чистое платье касалось дверей с зазывающими надписями: “Алиса”, “Клеманс”… Она не могла допустить, чтобы он умер, не повидавшись с маленьким Царой. Сама она не вошла в комнату, но детская ручка, протянутая Элизе, - это знак того, что она его простила. Элизе Меро берет детскую ручку, прижимает ее к губам, а затем, повернувшись в сторону царственного видения, о присутствии которого он скорее догадывается, вместе с предсмертным вздохом, предсмертным напряжением жизненных сил, предсмертным усилием речи тихо произносит в последний раз:

- Да здравствует король!

XVIII

Конец династии

В то утро в клубе шла азартная игра в мяч. На огромной утрамбованной, убитой, точно арена, площадке, которую отгораживала высокая частая сетка, шесть игроков, в белых куртках, в фехтовальных туфлях, подпрыгивали, горланили, орудовали тяжелыми ракетками. Яркий свет, падавший из громадных окон, натянутая сетка, хриплые крики, мельтешенье белых курток, слуги, сплошь англичане, мерным шагом расхаживавшие около сетки, их безукоризненно бесстрастные лица - все это создавало впечатление, что вы на манеже во время репетиции гимнастов и клоунов. Одним из наиболее шумных клоунов был его высочество принц Аксельский, которому врачи предписали благородную игру в мяч как средство от его комы. Накануне он вернулся из Ниццы, где провел целый месяц у ног Колетты, а сегодняшняя партия вводила его в парижскую жизнь, и сейчас он подавал мяч, хекая, как мясник, размахивая руками так, что эти взмахи могли бы вызвать восторг на бойне, и вдруг в разгар игры ему доложили, что его спрашивают.

- К чертям! - даже не повернув головы, ответил претендент на престол.

Однако упорный слуга прошептал на ухо его высочеству чье-то имя, - принц удивился, но сменил гнев на милость.

- Хорошо… Попросите подождать… Я скоро кончу…

Войдя в одну из тянувшихся вдоль прохода кабинок с холодными ваннами, обставленную бамбуковой мебелью и кокетливо обтянутую японскими циновками, принц увидел, что на диване, съежившись и понурив голову, сидит его друг Забавник.

- Ах, принц! Ну и происшествие!.. - с убитым видом начал бывший иллирийский король, но в эту минуту вошел лакей с простынями, с шерстяными и волосяными перчатками и принялся обтирать и растирать принца, от которого валил пар, как от мекленбургского жеребца, только что взбежавшего на гору.

После того как над принцем было проделано все, что полагается, Христиан заговорил снова.

- Так вот что со мной случилось… - бормотал он, и его помертвелые

губы дрожали. - До вас там дошли слухи насчет family?..

Высочество уставило на него тусклый взгляд:

- Попались?..

Бывший король, отведя в сторону свои красивые несмелые глаза, утвердительно кивнул головой. После некоторого молчания он продолжал:

- Рисуете себе картину?.. Ночь, и вдруг - полиция… Девочка плачет, катается по полу, впивается ногтями в полицейских, обнимает мои колени: “Государь!.. Государь!.. Спасите меня!” Пробую заставить ее замолчать - поздно… Срочно придумываю себе фамилию - комиссар хохочет: “Напрасно стараетесь… Мои подчиненные узнали вас: вы - принц Аксельский…”

- Очень мило!.. - проворчал в умывальник его высочество. - Дальше!

- Понимаете, мой дорогой, я так растерялся, так опешил… Были тут и еще некоторые причины, но о них я скажу потом… Одним словом, комиссар принял меня за вас, а я не стал разубеждать его, тем более что я был уверен, что об этом происшествии скоро забудут… Не тут-то было. О нем опять заговорили, вас могут вызвать к следователю, и вот я и пришел вас просить…

- Предстать перед уголовным судом вместо вас?..

- О, до этого дело не дойдет!.. Поднимут шум в газетах, назовут имена, и только… Но в Иллирии как раз сейчас назревают события, зашевелились монархисты, скоро нас снова возведут на престол, а этот скандал может иметь самые нежелательные последствия…

Какой жалкий вид был у незадачливого Забавника, ожидавшего решения своей участи от аксельского кузена, который молча приглаживал перед зеркалом три рыжих волоска! Наконец наследный принц соблаговолил раскрыть рот:

- Так вы думаете, что в газетах… - И вдруг сонным и тягучим голосом чревовещателя изрек: - Шикарно… Очень шикарно… Воображаю, как обозлится мой дядюшка…

Он оделся, взял тросточку, надвинул на ухо шляпу.

- Едемте завтракать…

Пройдя под руку по галерее фелланского монастыря, они, оба - в мехах, так как был настоящий зимний день, прекрасный день, светивший холодным розовым светом, сели в фаэтон Христиана, дожидавшийся у тюильрийской решетки, и легкий экипаж вихрем помчал наших неразлучных друзей - успокоившегося, сияющего Забавника и менее вялого, чем обычно, Куриного Хвоста, разгоряченного игрою и мыслью о шалости, героем которой он прослывет в Париже, - по направлению к кафе “Лондон”. Когда они проезжали Вандомскую площадь, в этот час почти безлюдную, на тротуаре стояла, держа за руку мальчика, молодая элегантная женщина и вглядывалась в номера домов. Наследный принц, с высоты своего сиденья не пропускавший ни одного смазливого женского личика и рассматривавший их с жадностью бульварного завсегдатая, который постился целых три недели, вздрогнул, заметив ее.

- Смотрите, смотрите, Христиан!.. Вот это я понимаю…

Но Христиану, правившему лошадью, которая сегодня тоже находилась в каком-то особенном возбуждении, было не до того, и он не сразу расслышал, что говорит принц. Когда же они оба, сидя в узком фаэтоне, обернулись, чтобы посмотреть на прекрасную незнакомку, она вместе с мальчиком уже скрылась в воротах дома рядом с министерством юстиции.

Быстрым шагом, но слегка смущенная и нерешительная, опустив вуаль, она шла как на первое свидание. Ее пышное темное платье и ее таинственный вид могли внушить на секунду некоторые сомнения, но после того, как она голосом, полным глубокой грусти, назвала швейцару имя одного из светил медицинского мира, для игривых мыслей уже не оставалось места.

- Доктор Бушро?.. На втором этаже, дверь прямо… Но только если вы не записаны, так незачем и подниматься…

Ни слова не сказав в ответ, она, увлекая за собой мальчика, побежала вверх по лестнице, - она словно боялась, что их сейчас окликнут и не пропустят. На втором этаже она услышала то же самое: если она не записалась накануне…

- Я подожду… - сказала она.

Слуга не стал с ней спорить - он провел ее через первую приемную, где пациенты сидели на деревянных скамьях, потом через вторую, тоже набитую битком, наконец торжественно отворил дверь в большую залу и, как только мать с сыном вошли, тотчас же затворил ее за ними, как бы говоря: “Вы согласны ждать?.. Ну так и ждите!”

Эта большая комната с очень высоким потолком - так строился второй этаж любого дома на Вандомской площади - поражала богатой отделкой: росписью на потолке, панелями, панно. К отделке не подходили свободно расставленные, провинциального вида диваны и кресла, обитые гранатовым бархатом, такие же занавески и портьеры, стулья, пуфы с ручной вышивкой. Люстра в стиле Людовика XVI над круглым ампирным столиком, часы с фигурками, стоявшие меж двух канделябров, и наряду с этим отсутствие подлинных произведений искусства обличали в хозяине скромного врача, труженика, к которому известность пришла неожиданно и который, не успев к ней приготовиться и должным образом принять ее, не произвел ради нее никаких затрат. Но какая это была известность! Только Париж, если уж он возьмется за дело, может одарить ею человека, и тогда она распространится во всех слоях общества, от высших до низших, докатится до провинции, хлынет за границу и разольется по всей Европе. И у Бушро это продолжается уже десять лет, не ослабевая и не утихая, при единодушном одобрении собратьев, подтверждающих, что на сей раз успех выпал на долю настоящего ученого, а не ловко маскирующегося шарлатана. Бушро обязан славой и необычайным наплывом пациентов не столько своему чудодейственному таланту хирурга, своим изумительным лекциям по анатомии, своему знанию человеческого организма, сколько своему ясновидению, своей проницательности, еще более светлой и более прочной, чем сталь инструментов, своему гениальному глазу, глазу великого мыслителя и великого поэта, глазу, который творит чудеса в науке и который видит далеко вглубь и далеко вокруг. С ним советуются, как с ворожеей, слепо веруя и не рассуждая. Стоит ему сказать: “Это не беда…” - и безногие начинают ходить, и умирающие выздоравливают. Вот где источник его популярности, подавляющей, угнетающей, тиранической, которая не оставляет ему времени жить и дышать. Директор огромной больницы, он каждое утро делает обход палат, и делает он его крайне медленно, кропотливо, в сопровождении внимательных учеников, которые смотрят на него как на Бога, эскортируют его и подают ему инструменты,

так как у Бушро своих инструментов нет и он берет их у кого придется и всякий раз забывает возвратить. После обхода - визиты. Затем он возвращается домой, в свой кабинет, и, часто не успевая перекусить, начинает прием пациентов и заканчивает его поздно вечером.

В тот день, хотя еще не было двенадцати, его приемную уже заполнили люди, с озабоченными, сумрачными лицами, сидевшие вдоль стен или же склоненные над столиком с книгами и с иллюстрированными журналами и почти не оглядывавшиеся на вновь входящих, так как здесь каждый был занят самим собой, своей болезнью, каждый с волнением ждал, что проречет кудесник. Удручающе действует это молчание больных, у которых лица изборождены страдальческими складками и чей безжизненный взгляд вдруг загорается зловещим огнем. Женщины еще не утратили кокетства, некоторые из них надели на свои страдания личину высокомерия, тогда как мужчины, оторванные от повседневной работы, от жизнедеятельности, кажется, утратили сопротивление, на все махнули рукой. Среди этих эгоистически страдающих людей мать и сын производят трогательное впечатление: сын - худенький, бледный, у него потухший взор, на его маленьком личике с единственным живым глазом поблекли краски; мать сидит неподвижно: она как бы застыла в страшной тревоге. Мальчику надоело ждать, и он, неловкий, робкий, слабый, пошел к столику за журналом. Но, потянувшись к журналу, он нечаянно толкнул пациента, и тот бросил на него такой холодный, такой враждебный взгляд, что мальчик с пустыми руками вернулся на место и потом уже сидел не шевелясь, склонив голову набок, в неспокойной позе юного слепца, придававшей ему сходство с птичкой на ветке.

Жизнь поистине замирает во время таких ожиданий у входа в кабинет знаменитого врача, и это оцепенение прерывается лишь чьим-нибудь вздохом, кашлем, шуршаньем поправляемого платья, приглушенным стоном и звонками, ежеминутно возвещающими приход новых больных. Некоторые из вновь пришедших, отворив дверь и увидев, что все полно, тут же с испугом затворяют ее, но после собеседования, после непродолжительных пререканий со слугой снова входят в приемную и покорно ждут. Дело в том, что Бушро никому никаких льгот не предоставляет. Он делает исключение лишь для своих парижских или провинциальных собратьев, которые приводят к нему больных. Только они имеют право передать ему свою карточку, только их принимает он вне очереди. Они выделяются внушительным видом, непринужденной манерой

держаться, они нервно ходят по комнате, смотрят на часы, выражают удивление, что пробило двенадцать, а в кабинете еще никакого шевеления. Между тем больные разного чина и звания все подходят и подходят: тут и грузный, заплывший жиром банкир, которому слуга спозаранку занимает место на двух стульях, тут и мелкий служащий, который убеждает себя: “Сколько бы это ни стоило, а я непременно покажусь Бушро…” Тут выставка всевозможных туалетов, всевозможных форм одежды, тут и нарядные шляпы, и матерчатые чепцы, рядом с лоском атласа - реденькие черные платьишки. Но красные от слез глаза, нахмуренные лбы, страх и тоска, написанные на лицах, свидетельствуют о том, что в приемной знаменитого парижского врача все равны.

Одним из последних входит желтоволосый, загорелый, широколицый и широкоплечий крестьянин, сопровождающий маленькое рахитичное существо, одной рукой опирающееся на крестьянина, а другой - на костыль. Отец принимает умилительные предосторожности, сгибает под новой блузой свою и без того согнутую пахотою спину, шевелит своими толстыми пальцами, старается как можно лучше усадить ребенка.

- Так ничего?.. Сядь поудобней… Дай-ка я подложу подушку…

Он говорит громко, не стесняясь, всех беспокоит, если ему нужен стул или табурет. Зажав костыль между колен, кривобокий мальчик с облагороженными страданием чертами лица робко молчит. Наконец оба устроились, и крестьянин смеется, хотя у самого глаза полны слез:

- Ну, вот мы и добрались… Это, брат, всем врачам врач!.. Он тебя вылечит.

Затем он, улыбаясь, обводит глазами собравшихся, но его улыбка наталкивается на холодную жесткость лиц. Одна только дама в черном, тоже с ребенком, смотрит на него дружелюбно, и хотя вид у нее довольно гордый, все же он решается заговорить с ней и рассказывает ей о себе: его фамилия - Резу, он огородник из Валантона, его жена все хворает, и, на беду, дети пошли не в него, здоровяка, силача, а в нее. Трое старших умерли от какой-то костной болезни… Младший поначалу рос хорошо, а недавно и у него чтой-то случилось с бедром… Ну, тогда они положили на тележку матрас и поехали к Бушро.

Рассказывает он обстоятельно, с крестьянской степенностью, соседка, растроганная, внимательно слушает его, а в это время двое маленьких калек, которых болезнь сближает и, несмотря на то что один из них в блузе и шерстяном шарфе, а другой закутан в дорогие меха, придает им печальное сходство, с любопытством разглядывают друг друга…

Но вот по зале пробегает трепет, на лицах сквозь бледность проступает краска, головы поворачиваются к высокой двери, за которой слышатся шаги, стук передвигаемых кресел. Он здесь, он приехал. Шаги приближаются. Кто-то решительным движением распахивает дверь, и в ее проеме появляется человек среднего роста, коренастый, плечистый, лысый, с грубыми чертами лица. Его изучающий все эти недавние и застарелые недуги взгляд, которым он охватывает приемную, встречается со множеством устремленных на него беспокойных взглядов. Кто-то проходит к нему в кабинет, дверь затворяется.

- А он, видать, не больно ласков, - вполголоса замечает Резу и, чтобы придать себе бодрости, принимается рассматривать тех, кто попадет на прием раньше. До него еще уйма народу, и ждать ему еще много времени, а время здесь отмечается громким протяжным боем старинных провинциальных часов с фигурой Полигимнии да редкими появлениями доктора на пороге его кабинета. После каждого его появления чье-нибудь место освобождается, в зале возникает движение, какой-то проблеск жизни, а потом кратковременное оживление сменяется все той же угрюмой неподвижностью. Мать еще ни с кем не сказала ни слова, так и не подняла вуаль, и ее молчание, за которым, быть может, скрывается мысленная молитва, так внушительно, что крестьянин больше не решается к ней обратиться, - теперь он тоже молчит и лишь по временам тяжело вздыхает. Потом он лезет в один из бесчисленных своих карманов, вынимает бутылочку с молоком, стаканчик, медленно, аккуратно развертывает бумагу, достает сухарик и предлагает мальчику “пожевать”. Мальчик обмакивает губы в молоко, затем отталкивает и сухарь и стаканчик:

- Убери, убери!.. Я не хочу есть…

А Резу, глядя на это исхудалое, измученное личико, думает о трех старших детях, которым тоже не хотелось есть. От одной этой мысли на глаза у него навертываются слезы, щеки начинают дрожать, и вдруг он говорит:

- Сиди смирно, малыш… А я пойду посмотрю, как там наша тележка.

Он уже несколько раз выходил на улицу, чтобы убедиться, что тележка стоит на месте, у самого тротуара, и всякий раз возвращался улыбающийся, повеселевший, воображая, что никто не замечает, как покраснели у него глаза и как посинели у него щеки оттого, что он изо всех сил тер их кулаками, чтобы не видно было следов непрошеных слез.

Часы идут медленно и уныло. В приемной темнеет, от этого лица кажутся бледнее, раздраженнее, а в глазах, обращенных на бесстрастного Бушро, через некоторые промежутки времени вырастающего на пороге, читается еще более жаркая мольба. Валантонец сокрушается, что домой они попадут поздно ночью, что жена будет беспокоиться, что мальчишке будет холодно. Он так живо все это переживает и с таким трогательным простодушием, во всеуслышание выражает свои чувства, что, когда, по прошествии пяти бесконечных часов, очередь доходит до матери с сыном, они уступают ее славному Резу.

- Вот спасибо, сударыня!..

В это мгновенье дверь кабинета отворяется, и Резу не успевает излить

свою благодарность. Он подхватывает ребенка, сует ему костыль и, взволнованный, возбужденный, не замечает, как дама что-то кладет бедному калеке в руку.

- Это вам… вам… - шепчет она.

О, каким долгим кажется матери и сыну это последнее ожидание, еще более тягостное, оттого что уже вечереет, как леденит им душу страх! Наконец наступает их очередь. Они входят в просторный длинный кабинет, освещенный выходящим на площадь широким и высоким окном, несмотря на поздний час все еще светлым. Бушро принимает за простым столом - такие столы бывают у сельских врачей и у канцеляристов. Он сидит спиной к свету, падающему на вошедших - на женщину, у которой, как оказалось, когда она подняла вуаль, молодое энергичное лицо, румяные щеки и усталые глаза, усталые от бессонных, полных горестного раздумья ночей, и на мальчика, опустившего голову, по всей вероятности, оттого, что его раздражает свет.

- Что у него? - с участливой ноткой в голосе, отеческим жестом привлекая мальчика к себе, спрашивает Бушро, скрывающий под чисто внешней суровостью необычайную отзывчивость, которую не могла притупить даже сорокалетняя практика.

Мать, прежде чем ответить, делает знак мальчику отойти подальше, а затем красивым низким голосом, с каким-то непонятным акцентом, начинает рассказывать, как ее сын в прошлом году вследствие несчастного случая потерял правый глаз. В настоящее время внушает тревогу левый: наблюдается помутнение, мелькание, заметное ослабление зрения. Ей советуют во избежание полной слепоты удалить мальчику мертвый глаз. Соглашаться ли ей на это? Вынесет ли он операцию?

Бушро, облокотившись на ручку кресла, уставив свои маленькие живые глазки, глазки типичного туренца, на эту женщину, на презрительные складки в углах ее губ, ярких от природы, губ, к которым никогда не прикасалась помада, внимательно слушает. Потом говорит:

- Подобные операции, сударыня, делаются ежедневно и кончаются вполне благополучно, если не считать некоторых совершенно исключительных случаев… Я уже двадцать лет служу в Ларибуазьер, и за все эти двадцать лет я помню только одну, только одну такую операцию с неблагополучным исходом: бедняга не вынес ее… Но это был старик, несчастный тряпичник, алкоголик, питавшийся к тому же впроголодь… А тут совсем другое дело… Мальчик - не крепыш, но его мать - здоровая, сильная женщина, и она влила в его жилы… Одним словом, давайте посмотрим…

Он зовет мальчика, ставит его между колен и, чтобы отвлечь, чтобы занять его во время осмотра, с доброй улыбкой начинает задавать ему вопросы:

- Как тебя зовут?

- Леопольд, доктор.

- Леопольд? А фамилия?

Мальчик молча смотрит на мать.

- Ну хорошо, Леопольд, придется тебе снять курточку и жилетку… Мне нужно тебя осмотреть, выслушать.

Мальчик раздевается медленно, неуклюже, ему помогают мать, у которой дрожат от волнения руки, и добрый дядя Бушро, более ловкий, чем они оба… Бедное рахитичное тельце, с впалой грудью, согнутыми плечами, напоминающими крылья птицы перед полетом, и с такой белой кожей, что даже при слабом освещении ладанка и медальоны выделяются на ней, как приношения по обету на каменных стенах храма!.. Мать опускает голову, - она как бы стыдится своего произведения, а доктор между тем выслушивает, выстукивает, лишь по временам отвлекаясь для того, чтобы задать тот или иной вопрос:

- Отец, наверно, пожилой?

- Нет, что вы!.. Ему только тридцать пять лет.

- Часто болеет?

- Нет, почти никогда.

- Хорошо… Ну, одевайся, дружок!

Он садится поглубже в свое большое кресло и задумывается, а мальчик надевает синюю бархатную куртку, меха и, не дожидаясь приказаний, отходит в дальний угол комнаты и садится на свое место. За последний год

он привык к таинственным перешептываньям по поводу его болезни, - вот почему он не выражает сейчас ни малейшего беспокойства, он даже не пытается подслушать разговор матери с доктором, он думает о своем. Но зато мать!.. Как она волнуется, как она смотрит на доктора!

- Ну что?

- Сударыня! Вашему ребенку действительно грозит полная потеря зрения, - отчеканивая каждое слово, тихо говорит Бушро. - И все же… если б это был мой сын, я бы не стал делать ему операцию… Мне еще не вполне ясна эта детская натура, но я уже замечаю некоторые странные расстройства, расшатанность всего организма, а главное - кровь: такой гнилой, такой истощенной, такой худой крови…

- Он - королевской крови!

Фредерика вспылила и от возмущения даже вскочила с места. Но тут в ее памяти вырисовывается, ей чудится засыпанный розами гробик и в нем - восковое личико ее дочки. Бушро тоже встает; его вдруг осенило, и он узнает иллирийскую королеву; до этого он никогда ее не видал, так как она нигде не бывает, но ее портреты часто попадались ему на глаза.

- Сударыня!.. Я же не знал…

- Не смущайтесь, - быстро смягчившись, говорит Фредерика. - Я пришла к вам узнать истинную правду, ведь мы ее никогда не слышим, даже в изгнании… Ах, господин Бушро! Если б вы знали, до чего королевы несчастны! Мне же там не дают покоя, все ко мне пристают с этой

операцией! И ведь они прекрасно знают, что речь идет о жизни моего сына… Но - государственные соображения!.. Через месяц, через две недели, а может быть, еще раньше к нам должна прибыть депутация от иллирийского сейма… Она хочет посмотреть на короля… Больной - это бы еще ничего, но слепой! Слепого им не надо… Значит, операция, хотя бы с риском для жизни!.. Или царствуй, или умирай… И я чуть было не стала соучастницей этого преступления… Бедный маленький Цара!.. Боже мой, да зачем ему царствовать!.. Только бы он был жив! Только бы он был жив!..

Пять часов. Смеркается. По улице Риволи, запруженной в эту пору, когда парижане возвращаются из Булонского леса к обеду, экипажи медленно двигаются мимо тюильрийской решетки, освещенной ранним закатом и как будто бросающей под ноги прохожим свои длинные перекладины. Та сторона, где Триумфальная арка, еще облита багрянцем, напоминающим свечение северных зорь, противоположную сторону уже окутали фиолетово-черные тени, особенно густые по краям. В том направлении катится тяжелая карета с иллирийским гербом. При повороте на улицу Кастильоне королева видит балкон гостиницы “Пирамиды” и припоминает мечты, волновавшие ее в день приезда в Париж, летучие и певучие, как музыка, игравшая тогда в зелени парка. Сколько разочарований постигло ее с того дня, сколько ей пришлось побороться! Ну, а теперь всему конец, всему. Династия угасла… Могильный холод охватывает ее плечи, а карета углубляется в мрак, все дальше и дальше в мрак. И поэтому королева не видит того нежного, робкого, умоляющего взгляда, каким смотрит на нее мальчик:

- Мама! Если я не буду королем, ты меня не разлюбишь?..

- Дорогой ты мой!..

Она крепко сжимает протянутую ей ручку… Полно! Жертва

принесена… Согретая, ободренная этим пожатием, Фредерика теперь только мать, и больше никто. И когда, словно для того, чтобы напомнить ей прошлое, перед ней вырастают позлащенные лучом заката мощные развалины Тюильри, то, глядя на них, она не испытывает волнения и уже ни о чем не вспоминает, - так смотрят на руину Ассирии или Египта, свидетельницу исчезнувших нравов и племен, ибо древняя эта громада мертва.

Комментарии

Эдмону де Гонкуру, историографу королев и фавориток… - Гонкуры - авторы исторических работ о Франции XVIII века - “Г-жа Помпадур”, “История Марии-Антуанетты” и др.

…все, что осталось от Тюильрийского дворца. - Дворец Тюильри был сожжен в мае 1871 года, а его развалины разобраны в 1882 году.

Вальдтейфель, Эмиль (1837-1915) - французский композитор, автор многочисленных вальсов; при Империи был дирижером придворного оркестра бальной музыки.

Максимилиан Габсбург (1832-1867) - младший брат императора Франца-Иосифа. Французские интервенты, действовавшие против молодой Мексиканской республики, в 1864 году сделали его императором Мексики; после победы республиканцев Максимилиан был расстрелян.

Шарлотта (1840-1927) - жена Максимилиана, дочь бельгийского короля Леопольда I; во время революции в Мексике сошла с ума.

Пандуры - полурегулярные венгерские и далматинские части в австро-венгерской армии XVII - XVIII веков.

…галереи Одеона… - В галерее театра Одеон было расположено множество книжных ларьков.

Санта Эрмандад - объединение горожан, несшее в средневековой

Испании полицейскую службу.

…жаккардовы ткацкие станы - станки, позволявшие одному рабочему выделывать многоцветные материи со сложным тканым рисунком; названы по имени изобретателя, французского механика Жозефа Жаккарда (1752-1834).

…румяный, пухлый человек… - Имеется в виду последний представитель старшей ветви Бурбонов, граф Шамборский (1820-1883); после смерти Карла X в 1836 году - претендент на французский престол. Легитимисты называли его Генрихом V; в годы Империи он не предпринимал попыток реставрации.

Крест Андрея Первозванного - крест в виде буквы X; по преданию, на таком кресте был распят апостол Андрей.

Антонины - династия римских императоров (конец I-II век н. э.).

Герцог Ангулемский, Луи-Антуан де Бурбон (1775-1844) - сын Карла X, командовал войсками, действовавшими в 1814-1815 годах против Наполеона на юге Франции.

21 января - день казни Людовика XVI.

…изречение о курице в горшке у каждого крестьянина… - то есть приписываемые Генриху IV слова: “Я хочу, чтобы на празднике у каждого крестьянина был на столе горшок с курицей”.

”Про Волокиту” - восходящая к XVI веку народная песня о Генрихе IV.

…одержимых на могиле дьякона Париса. - Дьякон Парис (1690-1727) - парижский клирик. В 1732 году распространился слух, что на его могиле происходят чудесные исцеления; десятки фанатиков бросились туда, на его могиле они бились в конвульсиях, “пророчествовали” и т.п.

Фросдорф - местечко в Австрии, близ Вены, где жил граф Шамборский.

Марото, Рафаэль (1785-1847) - командующий армией Дон Карлоса. В 1839 году из-за разногласий с претендентом перешел на сторону мадридского правительства, состоявшего из противников Карлоса.

Сюло, Франсуа (1757-1792) - французский публицист, во время революции выступил как защитник королевской власти.

Кадудаль, Жорж (1771-1804) - один из предводителей бретонских шуанов (мятежников-монархистов), впоследствии организатор двух монархических заговоров против Наполеона; казнен после раскрытия второго заговора.

…вандейских боев. - Департамент Вандея на Атлантическом побережье Франции был в 1793-1795 годах центром контрреволюционного мятежа отсталого крестьянства.

…и попавших в скорбные списки “Поля мучеников”. - Имеются в виду участники роялистского мятежа 13 вандемьера IV года (5 октября 1795 г.); мятежники были в упор расстреляны пушками генерала Бонапарта.

…из итальянских походов… - Имеется в виду австро-французская война 1859-1860 годов, победоносная для Франции.

Тевтат - божество древних кельтов, которому якобы приносились человеческие жертвы.

…деревяшка старика Доменилля… - Доменил, Пьер (1777-1832) - наполеоновский генерал. После того как он потерял ногу при Ваграме, его назначили комендантом Венсенского замка. В 1814 году, защищая его от союзников, он заявил: “Я отдам замок, когда мне отдадут мою ногу”.

…как смотрела лишившаяся отчизны Андромаха на поддельный Симоис. - Андромаха, вдова Гектора, при разрушении Трои взятая в плен греками, после долгих злоключений стала женой своего деверя Гелена и вместе с ним основала новый город, который они назвали Троей; реку, протекавшую рядом, они назвали Симоисом - по имени реки под Троей (Вергилий. Энеида, книга III).

Гарпагон - герой комедии Мольера “Скупой” (1668); его имя стало нарицательным.

Дом Ламбера - один из выдающихся архитектурных памятников Парижа; построен в 1640 году архитектором Лево для председателя парижского суда Ламбера.

Буше, Франсуа (1703-1770) - французский художник, создатель нового направления в декоративной настенной живописи.

Дюбари, Жанна Бекю - графиня Дюбари (1743 - 1793), последняя фаворитка Людовика XV; никогда не пыталась вмешиваться в политику.

Шатору, Мария-Анна (1717-1744) - фаворитка Людовика XV; хотела сделать этого слабовольного и ленивого короля великим монархом, заставила его против воли возглавить действующую армию, занимала пост суперинтенданта дома дофина.

…сопровождать своего Лару… - Лара - герой одноименной поэмы Байрона (1814), корсар, вернувшийся на родину в сопровождении возлюбленной, переодетой пажом и делившей с ним все опасности.

Спенсер - короткий жакет.

Палимпсест - пергамент, на котором поверх стертого первоначального текста написан новый.

…статуэток Танагры… - Танагра - город в Беотии (Средняя Греция), в древности славился изготовлением раскрашенных терракотовых статуэток.

Франкони - династия французских циркачей, дрессировщиков лошадей; их именем был назван цирк в Париже.

Де Местр, Жозеф (1753-1821) - французский реакционный публицист, противник революции и ярый защитник королевской власти и церкви.

…Hortus Cliffortianus Линнея… - Карл Линней (1707-1778) получил на несколько лет в свое распоряжение для наблюдений сад своего друга, голландского банкира Клиффорта и издал в 1737 году в Амстердаме описание собранных там растений.

Цивильный лист - сумма, ежегодно отпускаемая из казны королю на его личные расходы и содержание двора.

…Луи-Филиппа, незаконно завладевшего престолом… - Луи-Филипп принадлежал к младшей, Орлеанской ветви Бурбонов. С точки зрения легитимистов - сторонников старшей ветви, - он незаконно завладел

престолом Карла X, сброшенного Июльской революцией 1830 года.

”Фаворитка” - опера Доницетти (1840).

”Трубадур” - опера Верди (1853).

…”мобилей” 48-го года… - Во время революции 1848 года “мобильная гвардия”, брошенная против восставших рабочих, вербовалась из городских подонков.

Классический дворец - дворец Мазарини.

Боссюэ, Жак-Бенинь (1627-1704) - французский писатель и проповедник.

Массильон, Жан-Батист (1663-1742) - французский писатель-моралист и проповедник.

Сюлли, Максимилиан де Бетюн (1560-1641) - министр Генриха IV, много сделавший для восстановления и развития экономики Франции.

Королева Помаре (1813-1877) - королева Таити; при ней остров попал под протекторат Франции.

Ракан, Онорэ (1589-1670) - французский поэт, один из первых членов Французской академии.

Монтионовская премия (или премия за добродетель) - награда в 20 тысяч франков, учрежденная в 1820 году по завещанию филантропа Монтиона и присуждавшаяся Французской академией “бедному французу, совершившему самый добродетельный поступок за весь год”.

Помните в “Лукреции Борджиа”… - Имеется в виду драма Виктора Гюго (1833), часть II, явление 3-е.

…Эсфири, уверенной в победе над своим Артаксерксом. - Эсфирь - в Библии красавица-иудейка, ставшая женой персидского царя Артаксеркса.

Капитан д’Асса, Луи (1733-1760) - французский офицер. Во время Семилетней войны в Вестфалии, будучи в разведке, натолкнулся на вражескую засаду; захваченный в плен и принуждаемый под страхом

смерти к молчанию, он все же кряком предупредил своих товарищей и был убит.

”Готский альманах” - ежегодный генеалогический справочник, выходит в германском городе Гота на французском и немецком языках с 1763 года до наших дней.

”Ботен” - “Ежегодный бюллетень торговли и промышленности”, выходивший в Париже с 1819 года и названный по имени его основателя - статистика и экономиста Себастьена Ботена (1764-1853).

Ларжильер, Никола (1656-1746) - французский художник, один из крупнейших мастеров портретной живописи.

Самсон, Жозеф-Исидор (1793-1871) - знаменитый французский актер. Одна из его коронных ролей - маркиз де ла Сельер в пьесе Жюля Сандо, старый аристократ, в XIX веке сохраняющий все привычки двора Людовика XVI.

”Мадемуазель де ла Сельер” - инсценировка одноименного романа французского писателя Жюля Сандо (1811-1883), с огромным успехом поставленная в 1851 году.

”Племянник Рамо” - диалог Дени Дидро (1760). Его герой - обнищавший талантливый музыкант, ставший паразитом, - отличается крайним цинизмом.

Шенонсо - замок в Турени, построен в 1515-1522 годах в стиле итальянского Ренессанса.

”Царица Савская” - опера Гуно (1862).

”Продавщица духов” - модная песенка.

Иоанн Богемский (1296-1346) - сын германского императора Генриха VII Люксембургского, король Богемии, участник многих феодальных войн в Средней Европе. В конце жизни он ослеп. Вмешавшись в Столетнюю войну между Англией и Францией, погиб при разгроме французов под Креси.